

В.В.
КРЕСТОВСКИЙ

**ТОРЖЕСТВО
ВААЛА**

«СИНДИКАТЪ»

ДЕДЫ

[Сочинения]. Том 2. Торжество Ваала ; Деды //Камея, Москва, 1993
ISBN: 5-88146-017-0
FB2: Isais, 14.10.2014, version 1.0
UUID: AC5212A3-5F38-4293-9946-48166CDA88E3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Владимирович Крестовский

Торжество Ваала (Тьма египетская #3)

Роман «Торжество Ваала» составляет одно целое с романами «Тьма египетская» и «Тамара Бендавид».

...Тамара Бендавид, порвав с семьей, поступила на место сельской учительницы в селе Горелове.

Содержание

I. НОВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА	0005
II. НА ПЕРВЫХ ПОРАХ	0043
III. У «БАТЮШЕК»	0050
IV. С КРЕСТЬЯНСКИМИ МАТКАМИ	0078
V. ПРОБНЫЙ УРОК	0086
VI. В ОБЛАСТИ ЗЕМСКИХ ПРЕЛЕСТЕЙ	0111
VII. В ПРАЗДНИК НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ	0160
VIII. НА ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ	0189
IX. Г-Н АГРОНОМСКИЙ	0214
X. СРЕДИ СОМНЕНИЙ	0248
XI. МАЛЕНЬКИЙ СЪЕЗДИК	0263
XII. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАЗВИВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	0288
XIII. ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ	0316
XIV. ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ	0331
XV. ПУТАННОЕ ВРЕМЯ	0361
XVI. «ДИКТАТУРА СЕРДЦА»	0412
XVII. ВОЖДЕЛЕНИЯ Г-НА АГРОНОМСКОГО	0445
XVIII. «ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ»	0469
XIX. НОВЫЙ ИНСПЕКТОР	0482
XX. ЛЮДИ, ПОЗНАВШИЕ «В ЧЕМ СУТЬ»	0527
XXI. СРЕДИ ДЕБРЕЙ «ПРОПОЙСКОГО КРАЯ»	0547
XXII. В ЖЕЛТОГОРСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ	0587

В. В. Крестовский

Торжество Ваала

I. НОВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Мод вечер сырого октябрьского дня, по скверной, раскисшей от дождей дороге, добралась наконец Тамара на земско-почтовой паре до села Горелово, составлявшего цель ее путешествия. Село большое, длинное; избы стоят в два порядка, вытянувшись вдоль одной широкой улицы; позади дворов идут огороды, амбары, сарайчики и овины. Большинство изб в старом великорусском стиле, с резными подзорами и надоконниками, но есть уже несколько домиков и в новом «городском» вкусе: иные с мезонинами, другие даже в два этажа. Видно по всему, что было когда-то село зажиточное, но теперь в упадке. За исключением этих «городских» домиков, большая часть изб стоит покосившись, осунувшись от ветхости, с обломившимися коньками и гребнями, с выкрошившимся узором на поломанных подзорах и балкончиках. Иные избы даже подперты с боков бревнами, чтоб окончательно не завалились; на других давно прогнившие тесовые крыши забраны соломой, а то и сплошь перекрыты под

соломенную кровлю; третьи уныло глядят на улицу своими наглухо заколоченными окнами, точно бы выморочные, — печальное свидетельство того, что хозяева их в отходе всей семьей, или пошли на переселение, искать себе по дальним окраинам России иных мест и угодий, где в берегах кисельных текут реки молочные. Понурые, тощие коровы, слабые шершавые лошаденки виднеются кое-где по дворам и задворкам; босые крестьянские ребятишки в одних рубашонках, со спущенными от холода рукавами, бродят около заваленок перед избами. Все эти признаки видимо говорят о бедности и захудалости, а земский ямщик, между тем, уверяет Тамару: «Как можно! Село самое богатеющее»!

— Да почему ж ты так думаешь?

— Еще бы!.. Сама разочти! Три лавки — одна суровская, да две мелочных, — два кабака, одна портерная, трактир при том же!.. Кабы бедные были мужики-то, нешто б они вытянули столько заведеньев!.. Нет, это что говорить! По нынешним временам, село богатое... Каждую неделю по воскресеньям торг бывает... Надо же с чего пить-то...

По распоряжению Бабьегонского училищного совета, Тамаре было назначено место сельской учительницы в этом самом селе Горелове. Проколесив добрую половину улицы, ямщик подвез ее к чистенькому, крытому тесом домику из числа «фасонистых», «городских», где виднелись даже кисейные занавески в окнах. На белой доске, прибитой над крылечком этого домика, Тамара прочла черную надпись: «Волостной Старшина». Выкарабкавшись из высокой телеги, она вошла в незапертые сенцы и толкнулась в одну из боковых дверей, которая подалась, под ее нажимом, — и девушка очутилась за порогом просторной комнаты, оклеенной разными остатками дешевеньких «шпалерок» и мебелированной не по-деревенскому. Старинный диван с высокою выгнутою спинкой из красного дерева, такие же кресла и стулья с тонкою резьбою, массивный овальный стол, покрытый синею камчатною салфеткой с узорами, буфетный шкаф со стеклянными верхними створками, наполненный разною расписанною фаянсовою посудой и чайными чашками, — вся эта обстановка, несвойственная

крестьянскому быту, видимо попала сюда за дешево, «по случаю», из какого-нибудь помещичьего гнезда. В этом предположении убеждали Тамару и потемневшая от времени картина на какой-то мифологический сюжет, висевшая на стене в старинной золоченой раме, и пустая клетка из-под попугая, в углу на столике. Передний угол был занят полкою с образами, под которой пестрели приклеенные к стене портреты императорской фамилии и разные рыночные фотографии, повсюду заменившие собою ныне лубочные картинки доброго старого времени. В простенке между двумя окнами стоял большой письменный стол, на котором лежали новые хомуты, наполнявшие комнату запахом юфти и ворвани, а под хомутами — какие-то деловые бумаги и счетные книги. Над столом висели в том же простенке костяшковые счеты, линейка и настенный календарь из «приложений» к «Ниве». Часы с пунцовым розаном на деревянном циферблате скучно отбивали размахами маятника секунду за секундой.

Осмотревшись в этой комнате и видя, что в ней никого нет, Тамара нарочно откашля-

лась погромче, чтобы подать какой-нибудь живой душе знак о своем присутствии.

— Кто там? — окликнул ее из смежной комнаты не совсем-то довольный мужской голос, как бы спросонья.

— Учительница новая, — отозвалась девушка. — Господин старшина дома?

За перегородчатой стеною послышался треск деревянной кровати под встававшим с нее человеком и заскрипели половицы под чьими-то грузно-мягкими шагами, а затем, кряхтя и зевая, в дверях показалась дородная, коренастая фигура заспанного мужика, из так называемых «белотелых», лет пятидесяти, в резиновых калошах на босу ногу и в ситцевой рубахе навыпуск с низко пущенной по чреву опоясочкой.

— Вы это что ж без доклада? Так нельзя! — внушительно, почти тоном выговора обратился он к Тамаре.

Несколько опешенная таким приемом, девушка объяснила, что если она вошла прямо сюда, то это по незнанию, так как никого не встретила в сенях, к кому могла бы обратиться с вопросом, и что, приехав лишь сию мину-

ту в село, она не могла еще ознакомиться со здешними порядками настолько, чтобы знать, что можно и чего нельзя.

— То-то, что нельзя!.. Это совсем не порядок. Тут мало ли каких государственных делов у меня, — пояснил старшина, кивнув головою на письменный стол, — и ежели, скажем так, каждый будет без доклада лезть прямо в зал, так это совсем не модель. Вам что же надо? — спросил он в заключение своей речи уже более мягким образом.

Тамара объяснила, что когда ее отправляли сюда из Бабьегонской земской управы, так там ей было сказано господином де-Казатис, чтобы, по прибытии на место, она обратилась к волостному старшине, который-де укажет ей квартиру и все, что требуется по ее должности.

— Это точно-что, — согласился старшина, — бумагу из управы насчет вас мы получили еще вчера, и распоряжение сделано. Однако, поэтому рекомендую вам — к старосте, он уж там укажет.

И затем прибавил он тоном снисходительного внушения:

— Вам, барышня, спервоначалу к старосте-то и следовало бы явиться, — по инстанции, значит, а уж потом ко мне представиться. Ну, да все равно! — махнул он рукою.

«Ого, да это совсем по-чиновничьи, строгости какие! — подумалось Тамаре. — Точно бы и в самом деле начальство!» Однако она ничего не сказала ему на это последнее замечание и с молчаливо сухим поклоном повернулась к выходной двери.

— Ты чего, дурья голова, барышню припер сюда? — накинулся волостной старшина выговором на ямщика, выйдя вслед на Тамарою на крылечко. — Порядков не знаешь?.. А?.. Сколь много должен я учить вашего брата, вахлака сиволапаго, и нее ни к чему! — Народец тоже... Андельскаго терпения, и того с вами не хватит!.. Веди к Фадей Саврасову, болван, скажи, старшина, мол, приказали учительницу препроводить по назначению.

Опять взобралась Тамара на облепленную снаружи густою грязью телегу и снова тяжело заколесила вдоль села по колдобинам развороченной мостовой, мимо трех лавок, двух кабаков и портерной с трактирным «заведе-

нием», взапуски сопровождаемая хриплым лаем презлющих кудластых собак, исползавших из-под каждой подворотни навстречу громыхающей телеге. Старосту Фадея Саврасова застала она дома, в избе, за самоваром, в самый приятный для него момент, когда, рассевшись в красном углу, рядом со своею бабой, он только-что приготовился было схлэбывать горячий дымящийся паром чай с ловко установленного на всей пятерне блюда. Поэтому Фадей Саврасов вовсе не чувствовал себя в расположении прерывать ради посторонней посетительницы свое приятное занятие.

— Это не ко мне, это вам к сотскому надо. — Он уж там анает. Он и препроводит куда следувает. — К сотскому отправляйтесь, — предложил он Тамаре, которой становилось уже несколько досадно, что все от нее точно бы отпихиваются и никто ничего не хочет объяснить толком, а заставляют ее только попусту колесить по глубокой грязи вдоль села то в ту, то в другую сторону.

Но нечего делать, опять взбирается она на свою телегу, и везет ее ямщик, с неудоволь-

ствием ворча себе под нос, к сотскому. Тот, слава Богу, вышел к ней сам, на оклик ямщика, постучавшего в окно кнутиком, и принялся неторопливо и раздумчиво расспрашивать сначала у него, а потом у нее, — как, что, зачем и почему, и наконец, выслушав до конца и взяв себе в толк все сказанное, почесался в видимом затруднении — как тут быть, староста де ничего ему на этот счет не приказывал.

— Ну, да все едино!.. Васютка! — кликнул он своего мальчонку, — садись на облучок, проводи барышню в училищу... Скажи там сторожу Ефимычу, учительницу-де новую прислали... так пуцай он там, как знает... Это евойно дело... Вы уж там к нему, барышня, он вам все покажет. — Ефимыч, значит, — он знает.

Поехали с Васюткой на облучке к училищу. На селе, между тем, заметили кое-где, что какая-то новая барышня все колесит из конца в конец, и это последнее обстоятельство вызвало в обывателях некоторое любопытство, — кто, мол, такая могла б это быть и чего ей тут надо? Одни из любопытных проводжали ее глазами из окошек, другие выходили

с той же целью даже на улицу и удивленно глядели ей вслед, но все это с какою-то тупою и совершенно равнодушною апатией.

Сторожа Ефимыча не оказалось дома, все наружные двери заперты.

— Надо быть, в трактире, — догадался Васютка и побежал его разыскивать.

Усталая, голодная и вся разбитая от долгой тряской дороги, Тамара присела пока на крыльце, куда ямщик сложил все ее пожитки, и осталась одна, после того как тот, получив с нее на водку, направился на своей тощей паре к тому же трактирному «заведению».

Гореловская школа — одноэтажное бревенчатое здание под тесовою кровлей — одиноко и как-то недомовито торчала особняком на пустой и голой площадке, против церковной ограды. За этой оградой белелась старинная каменная церковь с высокою колокольней, а вокруг нее виднелось под березами несколько надгробных плит и два-три памятника. С противоположной стороны ограды, из-за ее решетчатого частокола и выбеленных кирпичных столбиков, выглядывал на школу своим мезонинчиком скромный старенький до-

мик, сопровождаемый крышами хозяйственных надворных построек и небольшим садом. Тамара сообразила, что там, должно быть, живет здешний священник.

Вечерело. Стая галок, оседая на ночлег, с непрерывным, сливающимся криком кружила над церковными крестами и оголенными вершинами садовых деревьев, в ветвях которых чернели вороньи гнезда. Небо сплошь было затянуто серыми тучами, скрывавшими за своею холодною, непроницаемою мглою все краски заката, и оттого наст^{ав}павшие бесцветные сумерки казались еще серее и скучнее. В окрестности, куда ни глянь, — нее одна и та же плоская, однообразная равнина, изрезанная по всем направлениям полосами распаханых полей, и эта тишь да гладь полевая как будто полна какого-то дремотного недоумогания и мертвого спокойствия. Было что-то невыразимо тоскливое в бедном пейзаже, окружавшем село Горелово, что в особенности живо чувствовалось Тамаре, привыкшей на юго-западе России совсем к другой природе, к другим, более разнообразным и ярким краскам.

Васютка давно уже запропал куда-то в поисках Ефимыча, а вокруг ни души, ни голоса человеческого, — и Тамара в долгом и тщетном ожидании возвращения мальчика или сторожа, среди всей этой монотонной и неприветливой картины, невольно поддалась в душе тоскливому чувству одиночества и скуки.

Так вот где предстоит ей жить и работать!.. Что-то ожидает ее на новом поприще, среди совершенно чуждых и неизвестных ей людей? Как-то они к ней отнесутся? Освоятся ли с нею, полюбят ли ее, или же останутся для нее совсем посторонними, равнодушными к ее печалям и радостям, к ее заботам и стремлениям на пользу их же ребятишек?.. Да и как-то еще сама она примется за дело, знакомое ей до сих пор только в общих своих чертах, да и то лишь теоретически? Не слишком ли самонадеянно было с ее стороны взяться с легким сердцем за такое серьезное и нравственно ответственное дело? Справится ли она с ним, будут ли понимать ее, а главное, сама-то она верно ли поймет сразу, что именно здесь надо?.. Как бы не стать не на ту доро-

гу, на какую нужно, не взять фальшивую ноту, которую сразу можно испортить все дело? — А какая именно должна быть эта дорожка и эта верная нота, — для нее самой еще было не вполне ясно, и ей казалось, что если она и угадывает их, то это скорее чувством, чем отчетливо поставленным «на научных основах» сознанием.

Первые минуты пребывания в этом, совершенно новом для нее, месте несколько разочаровали Тамару. Едучи сюда, она представляла себе это село совсем не таким, каким оно казалось в действительности, и почему-то ожидала совсем иного, более приветливого и теплого к себе отношения со стороны его обывателей; ей казалось, что здесь будет ей гораздо веселей, что приезду ее обрадуются, что встретят ее добрые, радушные люди, обласкают, обогреют, приютят ее, — и вдруг, вместо всего этого, полное равнодушие, полное безучастие, как словно бы никому до нее и дела нет никакого! А вдобавок ко всему, со стороны этого толстого старшины даже начальнический выговор какой-то получила здорово-живешь, по первому же шагу!.. Неужели и

впредь пойдет все так же?!

Среди этих печальных размышлений Тамара и не заметила, что к ней со стороны священнического дома приближается какая-то серенькая, несколько сторбленная фигурка, и только тогда очнулась от своего сосредоточенного раздумья, когда услышала вблизи себя слова:

— Здравствуйте, сударыня!

С удивлением подняв глаза, она увидела пред собою старенького священника, в ватном демикотоновом подряснике, с реденькою бородкой и с заплетенною седою косицей на затылке. Старичок ласково приветствовал ее, приподняв свою широкополую, порыжелую от времени шляпу.

— Верно, новая учительница наша? — спросил он, глядя на нее своими обветренными слезящимися глазками, в которых тихо светилась добрая улыбка, и получив от Тамары утвердительный ответ, — я так и думал! так и думал! — продолжал он, закивав на нее сивенькою бородкой. — Вижу, подъехала к школе молодая особа, — кому бы, думаю, быть, как не учительнице? Наверное учи-

тельница! — Ан оно так и есть!.. Очень ради, очень ради вам, сударыня!..

— А вы, батюшка, верно, священник здешний? — спросила в свой черед Тамара.

— Бывший, сударыня, бывший... Сорок пять лет на приходе сидел... ну, а ныне на покое живу... отпущен. Вот, от третьего Спаса четвертый год пошел, как на покое. Владыко тогда в Бабьегонске был, — объездом по епархии, значит, — ну и меня к себе вытребовал. «Пора бы, говорит, тебе, отец Макарий, и на покой, стар уж ты стал и немощен, послужил, будет с тебя! Надо бы молодому место уступить». — Что ж, говорю, владыко, оно и точно, человек я вдовый, одна дочь у меня, девица на зрелом уж возрасте, и кабы ей жених подходящий по нашей линии, по священству, значит, я готов ему с вашего архипастырского благословения приход уступить. — «Ладно, говорит, ступай с миром, я пришлю жениха.» И точно: месяца не прошло, как прислал, не оставил в забвении. Ну, порешили мы тогда свадьбу, и вот, таким-то родом, я и живу теперь при зяте... Он уж теперь священствует, а я так только, в доброхотную помощь ему, в

роде как викарный, скажем. Вот, и в школе заместо его закон Божий преподаю ребятам, — совместно, значит, с вами подвизаться будем, учительствовать...

Словоохотливый старичок сразу понравился Тамаре своим неподдельным добродушием. — «Слава Тебе, Господи, хоть одна живая душа, кажись, будет!» — подумалось ей в эту минуту.

— Да что ж вы сидите-то, сударыня, тут, на дворе? — спохватился он наконец. — В комнату бы пожаловали... Э, да никак и дверь на замке?.. Ну, так и есть!.. Ай-ай, как же это так?.. Пойдемте хоть к нам пока, — предложил он, — обогреетесь, по крайности.

Тамара поблагодарила, объяснив, что рада бы душевно, да не может отойти от вещей, которых не на кого покинуть, — сторож запропастился куда-то.

— Ну, вот! Ах, уж этот Ефимыч! — досадливо закачал головой священник, — беда с ним!.. И ведь хороший человек, сударыня, совсем хороший... Одно горе: выпивать любит. А кабы не это, работник-то какой золотой, я вам доложу, — на все руки!.. Он у нас и сапож-

ник, он и башмачник, и столяр, и маляр, на всякую поделку домашнюю первый человек, одно слово!.. Ну, только чуть зашиб копейку, сейчас в трактир, и непременно это чтобы в компании...

— Семейный? — спросила Тамара, заинтересованная в этом более со стороны возможности найти в его семье кого-нибудь для своей домашней услуги.

— Нет, куда ему! — безнадежно махнул старичок рукою, — бобыль, старый солдат в отставке, жить негде, — ну, и пристроили сторожем при школе, так, Христа ради... Из-за одного лишь теплого угла живет. У нас-то, сударыня, — начал священник, помолчав немного, — вот, хоть школьное здание приличное есть, и то благодарение Господу, — хорошее здание, что и говорить! — при старых помещиках строено, лет двадцать, а то и поболее, назад. Все же некоторое удобство вам будет, потому как тут и комната особливая для учителя полагается, и сторож для услуги есть. А вот, как в других-то селениях, я вам доложу, так и не приведи Бог, сколь плохо! Школы-то земские помещаются больше все по наемным

летним избам, — теснота, холод, сырость, воздух спертый, да как еще на зиму печурку железную приладят, совсем смерть! — Учительницы всю зиму так и не вылезают ни днем, ни ночью из овчинного тулупа... Многие все здоровье потеряли на этом.

— И где же они помещаются? — участливо спросила девушка. — Неужели в этих самых школах?

— Нет, куды там в школах! В школах негде, — и без того теснота, а так, больше все по крестьянским светелкам, либо на задворках, в банях ютятся, за угол платят хозяевам... Один учитель, так тот целую зиму в амбаре выжил. А у нас еще что! У нас, слава Богу, жить можно! Да и лавки есть на селе, — того-сего купишь под рукою, а в другой-то деревне — не угодно ли верст за пятнадцать на своих на двоих за четверкой чаю бежать! Шутка-ль!..

Наконец, Васютка разыскал и привел старика Ефимыча, немножко под хмельком и потому не совсем довольного, что его оторвали от приятной компании в трактире. Впрочем, увидев новую учительницу вместе с отцом

Макарием, он перестал ворчать, сейчас подбодрился и браво, «по-николаевски», выпалил им свое «здравия желаю».

Старый «батюшка» начал было слегка журить его, что как же де можно так бросать без призора школу и пропадать невесть где столько времени, — хоть бы ключ оставлял ему, что ли, когда уходит! по тот только головой мотнул ему на это, как лошадь в хомуте, — не замай, мол! — и повернулся к девушке.

— С приездом честь имею проздравить!.. Вы наши наставники, мы ваши слуги, это я значит, должен понимать... и со исем моим почтением... А батюшка это напрасно... потому я святым духом знать не мог и к месту тоже человек не пришитый. Верно! А ежели виноват, — виноват, одно слово!.. Прошу любить да жаловать... Уж извините, смерзлись, чай, без мёня-то? Ну, да ведь не ждали вас сегодня, потому как...

— Отворите, пожалуйста, — перебила его Тамара, предвидя, что если не напомнить ему об этом, так болтовне его и конца не будет.

— В секунт! — подхватил сторож, встрепе-

нувшись по-военному. — Будьте покойны, сейчас отворим, и чемодашки ваши перенесем, и все что угодно, — в один секунд!.. Это мы живо... А вы, барышня, никак, из жидов будете? — с добродушным и. наивным удивлением спросил он вдруг, взглядываясь в черты лица Тамары.

Та несколько смутилась от этого, совершенно уже неожиданного и не совсем приятного ей вопроса; но не решаясь ответить ни «да», ни «нет», с принужденной улыбкой спросила его в свой черед, почему он так думает?

— А с лица быдто похоже показалось мне, я и подумал себе... Мы тоже, вишь ты, в Польше в этой самой долго стояли, в Аршаве, значит, — пояснил он, — так там уж чего-чего, а жидов — хоть пруд пруди! И так нам эти самые жида примелькались, что вот и в гасее теперь кажиннаго, в какой он одеже ни будь, сейчас по лицу признаю... Верно!

— Ну, отворяй-ка, отворяй, брат, поскорее, нечем пустяки болтать-то! — внушительно понудил его батюшка. — Барышня, вишь, и то зазябла вся, а ты зря только мелевом мелешь!

— Зазябла? — предупредительно спохватился сторож. — Это ничего... Это мы мигом печку затопим! Вот только дровец-то где раздобыть, не знаю. К нам-то мужички еще не собрались доставить из лесу. Просил онамедни старосту, обещался распорядиться, ну, а только еще не привозили... Да ничего, как-нибудь и так согреемся!.. Пожалуйте! — обратился Ефимыч к Тамаре, отворив ей наконец дверь. — Сюда- сюда, налево, — тут вот и будет эта самая ваша фатёра, а направо — там классная.

Через темные сени вошла Тамара в небольшую прихожую, или кухню, с широкою русскою печью, откуда одностворчатая низковатая дверь вела в следующую комнату о двух окнах.

— Вот здесь, значит, я, а тут, значит, вы, — пояснил Ефимыч, указывая ей в дверях на оба смежные помещения.

Такое непосредственное соседство со сторожем, не всегда к тому же трезвым, показалось девушке не совсем удобным; но, очевидно, делать было нечего, приходилось мириться с тем, что есть, и тем более, если это поме-

щение, по словам священника, считается еще, сравнительно с другими, чуть не роскошным. Учительская «фатера», однако, произвела на нее не очень-то приятное впечатление: тускло, голо, да и холодно, как в погребе; на стенах местами облупилась штукатурка, на окнах и по углам протянулась пыльная старая паутина, в воздухе отдает какую-то затхлостью нежилой каморы, которая давным-давно уже не проветривалась и не подметалась. Ни мебели, ни вообще из предметов домашней обстановки не было ровно ничего. Выхода особого тоже не оказалось, — приходится, значит, ходить через помещение сторожа.

— На чем же я спать тут буду? — спросила Тамара, оглядывая вокруг всю комнату, с недоумевающим и несколько брезгливым выражением.

— А вот! — показал ей сторож, похлопывая ладонью по кирпичной и когда-то даже выбеленной лежанке; — коли-ежели истопить печку, тут пречудесно! И снизу припекает, и от стены дух идет, — первый сорт!.. Я то сам тоже на печи сплю, — лучше не надо!

Но у Тамары имелась при себе только одна подушка; тюфяка не было, да и при школе, говорит Ефимыч, такового не полагается.

— Это ничего! — утешал он девушку, — можно сенца либо соломки раздобыть, — это мы подстелем! И ежели что насчет стола или скамейки, так это тоже можно из классной захватить пока, — столу ничего с того не сделается. Это мы все можем и всем распорядимся.

Вещи Тамары были перенесены с крыльца в ее комнату, после чего отец Макарий счел своевременным откланяться ей, сказав на прощание, что не смеет долее стеснять ее собою, так как она, конечно, устала с дороги и наверное желает отдохнуть, а в случае если нужно будет самовар, или другое чю, так уж пожалуйста присылайте Ефимыча к нам, дочка отпустит все, что понадобится.

Старичок удалился, а за ним вприпрыжку побежал домой и Васютка, получив от Тамары за свои хлопоты целый пятак па гостинцы. Вслед за тем ушел и Ефимыч добывать для нее где-нибудь охапку дров или хвороста, да соломы на подстилку, а кстати купить для нее же в лавке сальную свечку.

В ожидании его возвращения, Тамара не раздеваясь присела на лежанку и, в раздумьи, тупо как-то и неподвижно уставилась глазами в тусклые окна своей, все более и более погружавшейся во мрак, комнаты.

На дворе, между тем, совсем уже стемнело; в оконцах изб, по ту сторону площади, замигали там и сям огоньки, уличные звуки дневной жизни мало-помалу затихли, — и в самой комнате установилась та мертвая тишина пустоты, при которой каждый случайный шорох, подпольный скребок мыши, или меткий треск половицы гораздо чутче улавливаются ухом, кажутся громче обыкновенного и, как-то невольно останавливая на себе внимание, заставляют настороженно к ним прислушиваться. Жуткое чувство одиночества впотьмах еще тоскливее, чем давеча на крыльчке, охватило девушку; грустные мысли сами собою лезли в голову, и перспектива будущей жизни ее в этой школе стала представляться далеко не столь светлую, какую казалась ей еще сегодня утром. Полное одиночество — вот как теперь — и материальное, и нравственное; не с кем ни мыслью поделить-

ся, ни душу отвести... Нужда, лишения, может быть, болезнь... Никакого-то близкого и чего-то своего у нее нет, — ничего, даже из числа самых необходимых вещей, — всем, значит, надо обзаводиться, а средств на это так мало... Да и когда-то еще, и где она успеет обзавестись всем, что нужно!.. То ли дело было в Украинске, в дедушкином доме, под крыльшком у «бобе Сорре», которая ее так любила, так пестовала!.. Да, была там у нее когда-то своя уютная комнатка с окнами прямо в сад, под которыми росли кусты сирени; была своя любимая библиотечка, своя мягкая, пластическая постель под снежно-белым кисейным пологом... И как тепло и светло было в этой комнатке, как хорошо и беззаботно жилось в ней, и как ее все там любили!.. Кто-то теперь живет в ней, и что-то там делается?.. Вспоминают ли порою о ней, о «фейгеле-Тамаре», о «Тамаре-лебен», как звала ее, бывало, бабушка?.. Но что ж это? Неужели сожаление о прошлом? Неужели это оно незаметно закралось к ней в душу и вдруг такую щемящую болью заговорило в ее сердце;!. Господи, да что ж это с нею?! С чего это вдруг?.. Нет,

нет, не надо!.. Не надо вспоминать об этом... Все это было когда-то, давно уже, и все минуло, прошло, как детский сон... Со всем этим раз навсегда уже покончено, — зачем же напрасно беречь старую рану!.. Лучше думать о чем другом, — о настоящем, о сегодняшнем... О чем-бишь она думала?.. Да, о том, что ничего-то у нее нет и что всем надо будет обзавестись. И точно: нет вот ни стола своего, ни стула, ни постели, не говоря уже о самоваре, о чашках, тарелках и прочей посуде, — а где все это достанешь в деревне, и чего все это будет стоить!.. А потом еще вот что: где и что она будет есть, и кто станет готовить ей пищу? Кто стирать белье? Неужели все тот же Ефимыч?.. Кабы вот у священника, что ли, можно было столоваться... Хорошо, если там согласятся принять ее на хлеба за плату, а если нет, тогда как? Искать по крестьянам — не возьмется ли кто из них, или же брать обед из трактира? Но последнее, вероятно, будет ей не по карману... Не надо забывать, что отныне ей предстоит жить всего лишь на пятнадцать рублей в месяц, удовлетворяя из этого скудного жалованья, как знаешь, все свои жи-

тейские нужды и потребности.

В первый раз еще такие насущные и чисто практические вопросы нужды и жизни встали пред Тамарой, во всей своей наготе и неотразимости, и она невольно терялась пока пред их разрешением, сама еще не зная, как и что это будет завтра. На войне было куда лучше и легче! Там хотя и много было трудов и лишения, но зато не приходилось самой заботиться ни о куске хлеба, ни о ночлеге, ни об остальных всех нуждах, — там за них, за сестер, заботились об этом другие, уполномоченные «Красного Креста», а здесь теперь все сама обо всем подумай и сама все себе сделай, — за всякую работу другим ведь не накланяешься и не наплатишься. — ни поклонов, ни денег не хватит! Но, впрочем, что ж! Это ее не особенно еще пугает: живут же другие учительницы, да еще — вон сказывают — много хуже, чем ей здесь приходится. Чем же она лучше их? Назвался груздем, говорит поговорка, полезай в кузов! — Даст Бог, проживет и она как-нибудь, пока есть молодость да силы. Энергии пока, слава Богу, не занимать-стать, да и характер, и сила воли най-

дутся. В этом отношении она, как видно, вышла в своего покойного отца: тому не раз уж как ведь плохо приходилось в жизни! совсем прогорал человек, а все же духом не падал, — и каждый раз одна только собственная своя энергия спасала!.. О, да, это был настоящий боец жизни, думалось Тамаре, — боец до конца, пока смерть не сразила... И будь он жив, — как знать! — ей сдается, ей чувствуется, ей верится, что он не отнесся бы к ней, к своей Тамаре, так бессердечно и беспощадно, как другие, за то, что она поступила так, а не иначе, в силу своего глубокого внутреннего убеждения. Недаром же евреи всегда называли его вольнодумцем!.. Но дедушка? Неужели он, этот умный, добрый, сердечный дедушка не в состоянии понять и простить ее?.. Правда, она много причинила ему горя, но все же она ведь родная ему, самая близкая, единственная родная теперь на свете, — и неужели же он, в самом деле, способен искренно ненавидеть и проклинать ее?!.. О, чего бы она не дала, чем бы не пожертвовала, чтобы видеть и обнять его христианином, настолько же убежденным и искренним, насколько теперь

он убежденный еврей!.. Дедушка наверное полюбил бы тогда Атурина, благословил бы их, и все жили бы вместе и все были бы счастливы... Сколько добра можно бы было делать!.. Однако, что ж это? Блуждающие мысли ее опять незаметно возвращаются к прошлому, к родному гнезду, к дорогим ей лицам. — Опять она ловит себя на этом. Да что с нею сегодня делается?!. А, всему этому одна причина: ее одиночество... Да, одиночество, — это так понятно. Скорей бы что ли за дело приниматься, отдаться ему всею душой, всеми помыслами, всей, всей, как есть, уйти в него, в это дело, встряхнуться нравственно, — и всю эту блажь как рукою снимет!.. Борьба? — Что ж, будем бороться и с голодом, и с холодом, если уж судьба такая! Стало быть, для чего-нибудь это так нужно.

Но обращаясь мысленно к сегодняшней действительности, одно только находила Тамара ужасно для себя неприятным, — это то, что Ефимыч угадал в ней еврейку. Обстоятельство само по себе совершенно пустое, но неприятно оно было тем, в особенности, что подавало ей повод тревожиться за будущие

отношения к ней деревенских детей, а главное, их родителей. Ах, этот Ефимыч противный!.. И нужно же было!.. Пойдут теперь «жидовка» да «жидовка»!..

И что это, в самом деле, за печать такая на их племени! Ничем ее не изгладишь!.. Уж кажется, в ее лице так мало этих резких, типично еврейских черт и особенностей, — сами евреи не раз, бывало, при ней высказывались об этом, иные даже удивлялись «такой странности», а другие сожалели, что в ней, «в отпрыске корня Давидова», на их взгляд, совсем ничего нет «нашего», и за глаза не без ехидства называли ее за это «венским продуктом», желая набросить такую кличкой сомнительную тень на самую чистоту еврейского ее происхождения. Разные жидовочки-сверстницы еще в гимназии дразнили ее из зависти этими самыми словами, что в детстве нередко до слез оскорбляло и огорчало Тамару, заставляя ее еще более сторониться от своих маленьких соплеменниц. И вот, поди ж ты! — для «своих» она — «венский продукт», а здесь — простой солдат сразу узнает в ней еврейку.

Происхождения своего стыдиться, конечно, нечего, да она и не стыдится, — она не виновата, что в ней течет семитическая кровь, — но тут досадно другое. Этот старый болтун уж наверное не утерпит, чтобы не разблаговестить по всему селу, что наша-де новая учительница «из жидов», и сделает это даже без всякого злого намерения, а так по тому же наивному добродушию, с каким он давеча задал и самый вопрос свой Тамаре. А между тем, молва с его слов пойдет все дальше да дальше, и не трудно предвидеть, что последствием ее на первых же порах явится у крестьян невольное предубеждение против учительницы и недоверие к ней, как «жидовке», которое естественным образом перейдет от родителей к детям, будущим ее ученикам и воспитанникам, а это уже совсем плохо, потому что сразу может поставить их в ненадлежащее к ней отношение. — Вот что приискорбно. Там поди еще, жди, пока-то отцы и дети разубедятся в своем предубеждении. Да и сколько нравственных усилий, сколько осторожности и такта придется приложить к делу, чтобы восстановить между собой и ими

доброе доверие и хорошие, простые отношения! Да и вопрос еще, — удастся ли это вполне, несмотря на все ее старания? — Можно скорее предполагать, что кое-какой осадок предубеждения все-таки останется в душе если не у всех, то у некоторых, и глядя на нее, они будут себе думать: «хороша-то хороша, и очень тобой мы довольны, а как-никак, все же ты из жидов выходишь, — значит, не наша», и будут от нее сторониться. Этого более всего опасалась Тамара, предчувствуя, что подобное положение в состоянии будет намного отравить ее существование в русской деревне. Раньше она и не думала об этом, ей и в голову не приходили такие опасения, — и вот один простодушный вопрос старого солдата вводит ее в сомнение и нарушает все ее радужные мечты о жизни в деревне и надежды на благотворность своей скромной деятельности, среди народа, который она успела так полюбить за время войны, в лице того же русского солдата, считая и самое себя так же «русской». Неужели же эта несчастная «печать жидовства» будет служить ей вечною помехою в жизни?!..

На лесенке школьного крыльца послышался наконец Тамаре тяжелый топот чьих-то всходящих шагов, сопровождаемый кряхтением человека, очевидно, тащившего на себе какую-то тяжесть, которую, вслед за сим, он грузно сбросил с плеч на пол в сенях; затем певуче закрипела отворявшаяся дверь из сеней, — и на пороге раздался в потемках добродушный голос Ефимыча:

— Ну, вот и я!.. Соскучились, чай!.. Сейчас свечку заправлю, светло будет. Староста вязанку хвороста отпустил! — продолжал он докладывая многодольным тоном, словно бы ему и самому радостно было, что хлопоты его увенчались успехом. — Эво-на, какая вязанка! Я уж постарался — благо, своя рука владыка! — чтоб и на завтра нам хватило. А вот тоже от сотского сейчас сенничек вам принесут, — у них, вишь ты, залишний нашелся, — пущай-де, говорит, барышня поспит, пока свой справит, нам ни к чему. Важно?

— Спасибо, голубчик! — от души поблагодарила его Тамара.

— То-то, «спасибо»!.. Ты спасибо-то вон кому, — Богу, значит, говори, да добрым людям, а мне что! — Я должность свою справляю... Вот, сожди малость, сейчас к батьке за самоваром сбегаю.

И невнятно ворча себе под нос, Ефимыч принялся шарить и копошиться над чем-то у себя на окне да на печке, после чего, спустя минутку, внес к Тамаре зажженную свечку, вставленную в горлышко пустой бутылки из-под пива.

— Ишь ты, лиминация какая! — похвалился он, высоко подняв в руке свой импровизированный подсвечник, и с основательным видом поставил его пока на окошко.

Через полчаса в комнате уже весело трещал и пощелкивал пылающий хворост в печке, и стоял между окнами крашеный «учительский» стол, на котором кипел и пыхтел поповский самовар, наполняя комнату горячим паром; и лежали тут же тюрички с чаем й сахаром, связка бубликов, холодная курица да ветчина с колбасою, припасенные Тамарой на дорогу еще в Бабьегонске, и сама Тамара сидела уже не на лежанке, где Ефимыч при-

лаживал ей теперь постель, а на стуле, позаимствованном все там же Ефимычем у «батюшки». Расположение духа ее приняло менее грустное направление, и сам Ефимыч повеселел еще больше, быть может, от предвкушения предстоящего ему удовольствия попарить нутро чайком и спать сегодня у себя на давно не топленной печи в более теплой температуре.

Чтобы достать себе чистую наволочку и простыни, пришлось Тамаре распаковать чемодан, и тут, разбирая в нем свое добро, она с грустной усмешкой созналась себе, что зря накупила в Петербурге перед отъездом много лишнего, бесполезного. — Ну, на что ей например, эти лайковые и шведские перчатки о шести пуговках, если здесь, в таком холоде, впору носить только вязаные варежки; на что этот красивый абажур при сальной свечке в пивной бутылке, эта изящная костяная разрезалка, хрустальная чернильница с бронзовой крышкой, баночка любимых духов, или эта пудра с лебяжьей пуховкой, — к чему все это, когда тут даже спать-то не на чем по-людски! Не лучше ли было приберечь лишнюю копей-

ку, да купить на нее железную кровать с матрацем... А теперь жди, пока-то еще накопишь денег на такую роскошь!.. Но что же делать, — на то и промахи, чтоб была вперед наука.

Зато давно уже не пила она чаю с бубликами и мясными закусками с таким удовольствием и аппетитом, как сегодня, после целого дня, проведенного на свежем, сыром воздухе, в дороге. Назябшие, обветрившиеся щеки и уши ее разгорелись теперь, после двух стаканов чая, и пылали ярким алым румянцем. Да и сама она после этого почувствовала себя гораздо благосостоятельнее, живее, спокойнее нервами, и потому заметно повеселела и уже не с таким мрачным сомнением и недоверием смотрела на свое будущее. Даже самая комната эта показалась ей теперь более приветливой и удобной. — Ничего себе, стоит только немного почистить ее, вымыть пол да стекла, обтереть углы и стены, — и будет, пожалуй, совсем сносно, особенно, если удастся со временем кое-какую мебелишку поставить.

«Нет», думалось ей в эти минуты, «свет не

без добрых людей. Найдутся они, без сомнения, и в Горелове. Да что ж, хоть этот отец Макарий, например, или даже этот Ефимыч, — в сущности говоря, ведь прекраснейшие люди. Да и сотский тоже, должно быть, хороший человек: и слора, вишь, не сказал, а сам еще охотно сенничек предложил, когда у него только соломы просили. Найдутся, верно, и другие хорошие, — стоит лишь пообжиться да приглядеться к ним поближе. А там, даст Бог, все хорошо пойдет, все наладится понемножку».

— Ну, барышня, спасибо, что остатки чайку старику пожертвовала, и на сахаре благодарствую, — поклонился ей солдат, прибирая со стола лишнее. — Вот, значит, я и побалу-юсть малость у себя в келье, за твое здоровье. Люблю я этта чаек-то, когда угостят!.. А ты запри-ко-ся на крючок, дверь-то, — тут крючок есть такой, — да и спи-себе с Богом! — прибавил он в тон наставительного совета. — Ишь ты, лежанка-то как нагрелась, — одна сласть!

Посидев еще немного после его ухода, Тамара почувствовала, как в согревшейся ком-

нате ее все сильней и сильней начинает раз-
бирать охота ко сну. Постель на лежанке, под-
чистым, свежим бельем и байковым одеялом,
показалась ей и оригинальной, и даже при-
влекательной. На войне и не так еще спать
приходилось, и ничего, спала же! — а тут и
подавно спать будет. Испытывая здоровую
физическую усталость и намного уже успоко-
енная нравственно, она не хотела ни о чем
более думать сегодня, ни загадывать о буду-
щем и, только ложась в постель, горячо помо-
лилась Богу, с полною верой и надеждой пре-
давая себя Его святой воле и прося устроить о
ней и о всем на благо, «яко же сам Ты, Госпо-
ди, веси!»

II. НА ПЕРВЫХ ПОРАХ

На другой день утром Тамара прежде всего поспешила ознакомиться со своею «классной», где, по выражению старого «батюшки», отныне предстояло ей «подвизаться». Три четверти комнаты были заняты ученическими «партами», а на остальном пространстве помещались учительский стол, книжный шкаф и большая черная доска на треноге. По стенам висели «естественно-исторические таблицы» с рисунками, карта обоих полушарий земли и карта России. Тамара раскрыла книжный шкаф и нашла в нем небольшую библиотечку, даже с каталогом книг, составленным ее предшественником. Это открытие очень ее обрадовало, и она с живым интересом принялась знакомиться по каталогу с составом школьной библиотеки. Там она встретила в довольно уже истрепанном виде несколько учебников, «Букварь» Тихомирова, «Родное слово» и «Детский мир» Ушинского, «Наш друг» барона Корфа и «Книги для чтения» Паульсона, Водовозова и др. Из книг религиозного и духовно-нравственного содер-

жания оказались только «Святой град Иерусалим» да «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Ни Евангелия, ни Псалтыря, ни Часослова, ни Четы-Минеи не было. Затем, в каталоге, под рубрикою «книги, пожертвованные почетным попечителем гореловской сельской школы, господином Алоизием Марковичем Агрономским», значились: «В чем вся суть?» Жемчужникова; «Дневник провинциала в Петербурге» М. М.; «Соль земли», роман; «Ташкентцы приговорительного класса» Н. Щедрина; «Артельные сыроварни», «Швейцарская демократия», «Благонамеренные речи» Н. Щедрина; «Русские женщины» Мордовцева и, наконец, разрозненные, за несколько лет, книжки «Отечественных Записок», «Дела» и «Современника».

«Неужели все это может быть занимательно и нужно для крестьянских мальчиков?»-подумалось Тамаре, невольно остановившейся в недоумении пред таким странным и смешанным выбором книг для скромной сельской школы. И в самом деле, что за странность! Она была уверена, что встретит на стенах классной комнаты изображения

библейских и евангельских событий рядом с картинками из русской истории, а вместо того находит котов, кур да лягушек на «естественно-исторических таблицах». Положим, и это, может быть, не бесполезно; но то, казалось бы ей, гораздо важнее, потому что нравственно ближе, доступнее, как и все религиозное, сердцу крестьянского ребенка.

Далее Тамара нашла в том же шкафу, на нижней полке, между пустыми чернильницами, тряпками, мелом и грифельными досками, засунутый в глубь шкафа портрет государя, в черной рамке под стеклом, очевидно, предназначенный для классной комнаты. Она позвала Ефимыча и сказала ему, что царский портрет надо пообчистить от пыли и мух и повесить на стену, на видное место.

— Надо-то надо бы, это точно, — согласился сторож. — Анадьсь он и висел тут, а только убрать приказали.

— Кто приказал? Зачем? — осведомилась девушка.

— Как кто! — Агрономский приказал, попечитель наш, барин, он самый. Убери, говорит, в чулан, сохраннее будет. А я себе думаю, за-

чем в чулан! — словно бы и непригоже как-то для царского-то лика, — да и припрятал его в шкаф.

Тамара предложила ему сейчас же повесить портрет на место.

— Нельзя без спросу, — отговорился сторож. — Забранится, — Агрономский-то, — потому он приказал вывешивать его, только как ежели начальство какое ожидается, а без того, говорит, не смей!

Сомневаясь в справедливости слов Ефимыча, девушка поглядела на него явно недоверчивым взглядом.

— Верно! — подтвердил ей старик, поняв значение этого ее взгляда. — Он не токма-что у нас, он и в других школах, по всей округе, слышно, царские патреты со всей фамилией, значит, как есть все со стен поснимал, — для сохранности, говорит.

— Что за вздор такой! — пожала плечами Тамара. — Что портрету на стене сделается?!

— Ну, вот поди-ж ты!.. Мужики и то говорят, что ребяткам бы даже и лестно было на лик-то царский взирать, а он — нельзя!.. Чтоб не спортился, говорит... А какая ему порча с

того, под стеклом-то!..

Тамара сказала, что сама сейчас же его почистит и повесит, — глупости, мол, все это, — и, взяв портрет, понесла было его к себе в комнату.

— Что ты, что ты, барышня! — замахал на нее руками сторож. — Господь с тобой! Али места своо не жалко?!

— Места? — удивленно оглянулась на него девушка. — Причем тут мое место?

— Эво-на! Причем!.. Попробуй-ка ему наперекор, али не уважить в чем, он тебя сейчас места решит.

— Это за портрет-то, что я повешу его куда следует?

— Не за патрет, — пояснил старик, — а за чем супротив его приказания, — вот!

— Приказания?.. Да что он за начальство такое, что может приказания отдавать?..

— Начальство ли, нет ли, а только сила, — это ты мне поверь. Ну, и заноза тоже!.. Чуть что не по-евоинному, — ни кричать, ни ругаться не станет, а только пожалеет-пожалеет головкой-то этта, поахнет над человеком, да сейчас и вон его, как пить даст!.. Это верно!

Учителей тоже, который ежели не потрафит ему, мигом сплавит!

— Пустяки ты говоришь, Ефимыч. — Извини, голубчик! — не поверила ему девушка. — Не он меня определил, не ему и смещать меня, — другие есть на то, посильнее.

— Толкуй тоже! — мотнул головой Ефимыч. — Не знаем мы, что ли!? Поедет этта в город, переговорит тихим манером с кем следует, а ты и собирай, значит, пожитки...

«Странный попечитель», — подумалось Тамаре. — «И имя какое-то странное, совсем не русское, — Алоизий... Откуда он, и кто и что он такое?» — задалась она вопросом, который, в виду последнего сообщения Ефимыча, показался ей существенно для нее важным. И в самом деле, что это за «сила» такая, которая играет учителями, как пешками, и ворочает всею судьбой их по своему капризу, если только это правда? Сообщение Ефимыча было далеко не из успокоительных, и она решила себе справиться обо всем этом, при случае, у священника, которому кстати намеревалась сделать сейчас же свой первый визит. Ей хотелось познакомиться с ним и его семьею по-

короче и разузнать от них об условиях местной жизни, о местных отношениях, о людях, с которыми так или иначе придется сталкиваться в своей деятельности, о помещиках и иных соседях, — есть ли между ними люди образованные, семейные, с которыми можно бы было и стоило бы познакомиться, а также можно ли где и через кого именно добывать для прочтения книги, журналы и газеты... Все это казалось ей нужным, даже необходимым, для того чтобы хоть сколько-нибудь на первых порах осмотреться и приспособиться к обстоятельствам в новом и совершенно незнакомом ей месте.

III. У «БАТЮШЕК»

У священника, отца Никандра, Тамара сразу натолкнулась на совершенно неожиданную для нее сцену. На ее вопрос, можно ли видеть батюшку и нельзя ли, мол, доложить о ней, простоватая батрачка, не уразумев даже смысла последней, совсем необычной для нее, фразы, добродушно сказала «пожалуйста» и растворила перед девушкой дверь из сеней в «чистую комнату».

Обстановка этой единственной в доме «чистой» комнаты, вообще довольно скудная, со старенькою сбродною мебелью, видимо, досталась отцу Никандру в приданое за женою от тестя. Здесь прежде всего бросился в глаза Тамаре переддиванный стол, и это потому, что на нем, казалось бы, совсем еще не ко времени, увидела он полуштоф водки, а рядом с ним миску, наполненную куриными яйцами и завязанную новеньким ситцевым платком с пестрыми разводами. Рядом с этою миской лежал большой кус вареной солонины на тарелке и целый каравай пшеничного ситника на белом полотенце с узорчатыми

концами.

Гореловский «батюшка», человек еще молодой, лет тридцати, с пушистою белокурою бородкой и такою же шевелюрой, которую его супруга собственноручно заплетала ему на ночь в мелкие косички, а поутру взбивала гребнем кверху «против ворса», отчего шевелюра эта, либерально подстриженная на затылке, являлась как бы неким пышным ореолом, разлетавшимся от чела его в стороны. Одет он был в коричневый подрясник, опоясанный ширтжим поясом, на котором все тою же супругой собственноручно были вышиты ему некогда гарусом ярко-пунцовые розы и бутоны с ярко-зелеными листьями. Из-под подрясника выглядывали у батюшки кончики «модных» триковых брюк, сереньких в клетку. В момент появления Тамары, он несколько нервною походкой шагал от угла до угла по комнате, заложив руки за спину, и горячо возражал что-то благообразному пожилому мужику в новой синей чуйке, который в свой черед что-то ему доказывал по пальцам, стоя у стола с закусками.

Тамара, мельком окинув взглядом всю эту

сцену и обстановку, в нерешительности остановилась на пороге. Священник быстро повернулся на ходу в ее сторону и уставился на нее вопрошающим взглядом. Несколько смущенная девушка отрекомендовалась ему в качестве новой учительницы и поспешила извиниться за то, что, кажется, она попала сюда не совсем-то вовремя и нарушила своим приходом деловую беседу. Он тоже как будто смутился в первое мгновение, не зная как быть с этою гостьей-невпопад, которую, вдобавок, и сплавить- то некуда, но затем сразу же оправился и изобразил на лице самую приятную улыбку.

— Нет, отчего же, милости просим! — приветливо успокоил он Тамару. — Нисколько не вовремя... напротив... Садитесь, пожалуйста; попадья моя сейчас придет, — она, кажись, там по хозяйству что-то с батюшкой на огороде копается... А меня прошу извинить пока, — любезно прибавил он с повинным поклоном. — Вот, с сим субъектом дело надо кончить.

— Я, может, мешаю вам? — предупредительно осведомилась девушка.

— Н...нет, отчего же... Дело житейское: сына женить хочет, — вот и ведем по сей статье дипломатические переговоры.

Благообразный мужик налил между тем стаканчик водки и, со степенным поклоном, осторожно, чтобы не расплескать, поднес его батюшке. — Пожалуйста-с!

— Да не угощай! — отбояривался тот. — Ведь сказано тебе, до обеда не приемлю.

— Пригубьте хоша! — вторично поклонился в пояс мужик. — Не обессудьте, батюшка! Не побрезгуйте!

— Да уж пригубил раз, будет с тебя.

— Вторительно-с! Не откажите... по чести просим.

— Да ты что ж это, Иван Савельев, себе думаешь?.. Ты думаешь, я на твою водку польщусь?.. а?..

— Пожалуйста! — снова поклонился мужик не отступая с полным стаканчиком от священника.

— Нет, постой... Ты думаешь, накачу, мол, батьку в мякоть, так он и сдаст? — Ни-и-и, друг сердечный, эту тактику брось!.. А сказано тебе четвертную, и шабаш!

— Помилуйте, батюшка, — взмолился мужик. — Отец Никандр, помилосердуй!.. Шутка ль сказать, четвертную... Отколь я тебе возьму четвертную!..

— Отколь? — с веселым лукавством подмигнул ему батюшка и перевел с него такой же взгляд на Тамару, точно бы заискивая в ней сочувствия и молчаливой поддержки. — Отколь, говоришь ты. А поищи за голенищем, там в тряпице найдешь.

— Да нет же у меня таких денег, — вот как перед Истинным...

— Не божись, не божись, брат, не бери греха на душу, — все равно не поверю.

— Верь, отец, по чести говорю! — убеждал мужик, положив руку на сердце. — Бери красненькую, как даю... Прошу тебя, бери! Сам разочти-ка: ежели теперича за венчанье четвертную, да тебе угощенье, да на причт еще водки особливо, да для сватов водка, да кумовьям водка, да всей родне угощенье, да подарки, так это что ж?! — ведь это же мужику за раз одно разоренье!.. Что ж, я для тебя в петлю полезу, что ли?

Но батюшка только улыбался на это шут-

ливо и недоверчиво, и изредка подмигивал на него Тамаре, — дескать, полюбуйте, какого сироту казанскую из себя строит!

— Зачем в петлю, — в карман полезай, — посоветовал он. — Там найдется.

— В карман! — с укоризненным взглядом покивал на него мужик головою. — ШутиЩь, отец Никандр, все-то ты шутишь, а мне не до шуток... По чести прошу: бери, Христа нашего ради красненькую, отпусти ты душу мою!.. По рукам, что ли?

— Нечего, нечего, Иван Савельев, Лазаря-то петь! — замахал на него священник рукою. — Кабы ты и в самом деле неимущий был, ну, тогда мы бы тебе и даром повенчали, а ведь ты только скарעד, жмот! Думаешь, не знаю я, как ты на селс кулачишь, последнюю меру овса с мужика за проценты выжимаешь? У тебя десять тысяч в банке капиталу лежит, а ты на причт каких-нибудь двадцати пяти рублей жалеешь, торгуешься, как жид какой, Лазаря из себя строишь!.. Нечего, брат, — мужик богатый, вытянешь!

— Легко сказать, вытянешь! Побыл бы ты в моей шкуре... Ну, слышь, отец, — решитель-

ным тоном заговорил он наконец после краткого раздумья. — Уж так и быть, два рублика накину! — Двенадцать... а?.. Бери двенадцать, по-божески, чтобы ни вам, ни нам не обидно...

— Сказано тебе «слово твёрдо», и не приставай — оборвал его речь батюшка. — Прощай, брат, — некогда мне тут с тобой бобы разводить, — отваливай с Богом!.. А на угощении твоём спасибо... Солонинка-то только, кажись, тово... Ну, да всякое даяние благо!

Иван Савельев, со вздохом сокрушения мотнув головою, осторожно поставил на стол невыпитый стаканчик и стал в раздумчивой нерешительности, потупясь в землю и переминаясь с ноги на ногу.

— Что ж ты стоишь? — воззрился на него священник. — Не до тебя, брат, теперь, — извини! И то вот сколько времени гостью ждать заставил... Уж извините, сударыня, — обратился он к Тамаре. — соскучились, пожалуй, приходские дразги наши слушать.

Мужик, отдав по поклону, степенно направился к двери.

— Слышь, Иван Савельев, раньше чем на-

думаешь, и не приходи, — напрасно будет! — проговорил вслед ему батюшка и затем, затворив за ним дверь и весело потирая себе руки, обратился в шутливом тоне к Тамаре, не то с похвальбой, не то с иронией над собою. — Каково вымогательством занимаемся?! Вас, поди-ка, удивляет?

Но та ничего не в состоянии была ему ответить.

— Н-да-с, что прикажете делать! — вздохнул он, пожимая плечами. — И сам понимаешь, что скверно все это, отвратительно, пастырское достоинство твое унижает, а ничего не поделаешь!.. Семья... Да и не своя одна: и за причт порадеть надо... ссть-пить всем тоже хочется... малютки... А жало- иаш. е наше, ссльско-духовное, какое оно?! На хлеб насущный, и то порой на хватает. Только и утешения, что не ты один такой-то, — дело заурядное, так что и скрывать-то тут нечего...

Последние фразы были произнесены отцом Никандром с оттенком горькой иронии и не без внутреннего раздражения. Тамара, видя, что попала сюда совсем не ко времени, что жене священника, вероятно, не до нее теперь,

потому что не выходит к ней так долго, не-
шхотела стеснять их дольше своим присут-
ствием и поднялась прощаться, отговарива-
ясь, что лучше уж зайдет как-нибудь потом, в
другой раз, когда и батюшке, и супруге его бу-
дет подосужнее. Но отец Никандр, как бы
вдруг спохватившись, настойчиво и притом
самым, по-видимому, дружеским и радуш-
ным образом воспротивился ее намерению
уходить.

— Нет, нет, что вы это?! Помилуйте, как
можно!.. Уж останьтесь, пожалуйста, прошу
вас! — захлопотал и засуетился он около
нее. — Попадья моя сейчас, сию минуту при-
дет, — замешкалась верно на огороде... Она
будет очень, очень огорчена, если я упущу без
нее такую милую, дорогую гостью... Позволь-
те — одну минутку! — я сейчас ее кликну...

И он торопливо вышел в соседнюю ком-
нату, плотно притворив за собою двери.
Оставшись одна, Тамара несколько внима-
тельнее окинула взглядом окружающую ее об-
становку. Единственной роскошью являлась
в этой комнате старинная двуспальная кро-
вать красного дерева, застланная поверх

пышной перины голубым атласным, стегаемым одеялом и увенчанная в головах целою пирамидкою подушек, покрытых прошивными наволочками с кисейными оборками. Но на этой кровати, как узнала впоследствии Тамара, никто никогда не спал и не ложился на нее, и даже с краю не присаживался, а стояла она здесь на самом видном месте, занимая весь угол и часть внутренней стены, исключительно «для параду». Ради того же «параду», над кроватью по стенке был прибит продолговатый бархатистый коврик, на котором два турка, голубой и пунцовый, гарцевали на вороном и сером конях, среди тропического сада, с неизбежным киоском и минаретом на заднем плане. На другой стене висели непременные премии из «Нивы» и литографический вид какой-то святой обители, с отверстыми над нею небесами. В переднем углу, под темными образами, на пузатеньком поставце, покрытом вязаною белою салфеткой, виднелись требник и крест, завернутые в старенькую епитрахиль, и несколько зачерствевших просфор. Диван, обтянутый зеленою клеенкой, несколько таких же стульев да пе-

реддиванный стол с закусками, принесенными в дар батюшке Иваном Савельевым, а на окнах пять-шесть бутылей с наливками и какими-то универсальными травными настоячками «от семидесяти семи недугов» довершали собою обстановку этой комнаты. Тамара не успела еще достаточно оглядеть ее детали, как к ней уже вошел с надворья вчерашний старенький батюшка, отец Макарий, экстренно направленный сюда своим зятем. Он поприветствовал ее по простоте, самым душевным образом, как особу совсем уже ему знакомую, предупредил, что Аннушка, дочь его, выйдет к ней сию минуту, только приберется'малость самую, — «потому как мы с ней на огороде, хозяйским делом, — извините, — картошку копали». И затем, стараясь «занимать» Тамару, он участливо стал ее спрашивать, — ну, как и что? хорошо ли спалось ей на новом месте, и не беспокоил ли ее ночью Ефимыч своим храпом и кашлем, и в пору ли подал он ей утром самовар и сливки к чаю, нарочито присланные для нее Аннушкой, и каково-то показалось ей сегодня при дневном свете ее обителище? — Тамара бла-

годарила и отвечала, что все хорошо и всем она пока довольна, и со школой уже несколько ознакомилась, и с ее библиотечкой, и даже успела узнать, что здесь большую роль играет какой-то господин Агрономский.

— О, да, да! — подхватил старичок, принимая вдруг значительный тон. — Еще бы!.. Очень даже большую!.. Очень! И знаете, — добавил он, нагнувшись несколько к собеседнице и понижая голос до некоторой таинственности, — по душе скажу, вам надо будет с ним ладить, — это примите к сведению.

Тамара сообщила, что на этот счет и Ефимыч говорил ей то же самое.

— Да, да, непременно ладить, — заботливо подтвердил отец Макарий, — потому как от него, можно сказать, все зависит: захочет, — прибавку к жалованью исходатайствует, захочет — на худшую школу сместят. Он ведь не токмо-что наш попечитель, он и член училищного совета от земства, и связи у него там большие... ну, и влияние...

— Да сам-то он кто и что такое, как человек-то? — спросила Тамара, которую начинал уже не на шутку озабочивать вопрос о госпо-

дине Агрономском и о том, каково-то, при таких условиях, сложатся их взаимные отношения?

— Мм... как вам сказать! — замялся несколько батюшка. — Человек он у нас из новых, недавний еще, — лет семь как проявился, не более. Бог его знает, техник он там какой-то, что ли, не то инженер, — не сумею уже доложить вам доподлинно, — а только дело в том, что как пролагали у нас по уезду чугунку, так он там при работах был чем-то, ну и нажился, надо быть, потому как вслед за окончанием работ, сейчас же в нашей вот стороне отменное имение приглядел, да и приобрел, по случаю, — наших же бывших гореловских помещиков имение-то, господ Гвоздово-Самуровых, — богатое имение!.. И ведь задешево что-то досталось, со всем как есть, с усадьбой барскою, и дом при ней с колоннами, и сад, и оранжереи... Ну, а затем уж, как сделался, значит, крупным помещиком в уезде, сейчас это, конечно, в земство баллотироваться, в деятели, к правящей партии примкнул, и теперь вот — сила, большая даже сила, скажу вам. Но только, ежели правду гово-

рить, — добавил, подумав, отец Макарий, — живет он в эдаком барственном доме, супротив прежних господ, — извините — свинья свиньею.

— Семейный человек? — спросила Тамара.

— Как вам сказать!.. Пожалуй, и семейный, коли угодно: скотницу свою — извините — к себе приблизил, в комнаты взял, да двух детей от нее прижил, — ну, вот и бегают теперь по двору, собак гоняют, совсем как последние мужицкие ребятишки... Ни воспитания это им надлежащего, ни присмотру, ничего, точно бы и не дети они ему, а щенята... Не хорошо все это! — вздохнул старичок, после некоторого раздумья. — Осуждать не желаю, но и одобрить не могу.

Тамара заметила, что фамилия у него какая-то странная, Агрономский, — точно бы деланная, искусственная какая-то.

— Фамилия? — Да, это точно, — согласился батюшка. — Фамилия такая, что с одной стороны как будто и по нашему сословию выходит, — семинарская то есть, а с другой стороны ежели рассмотреть, то может быть и польская, но возможно, что и еврейская даже.

— Разве еврейская!?! — усомнилась Тамара, но, подумав, тут же созналась про себя, что почему бы и нет: Ведь был же у них в Украинске один еврей, Янкель Окружноштабский, почему же не быть и Агрономскому? — Впрочем, и имя у него, — прибавила она, — тоже какое-то странное, как будто не русское.

Отец Макарий согласился, что, действительно, святого Алоизия в святцах греко-российской церкви не обретается и что имя это прямо католическое. — Вообще, — заметил он, — господин этот Агрономский, сдается мне, не то из полячков, не то из еврсичиков, а может быть, и то и другое вместе... Странное что-то, неопределенное.

Все эти сведения о человеке, от которого может каким-то странным образом зависеть ее участь, показали Тамаре далеко не успокоительными. Ей хотелось поэтому разузнать о нем еще что-нибудь более точное или характерное, но, к сожалению, разговор ее с отцом Макарием был прерван на этом месте появлением отца Никандра вместе с «матушкой», которая успела за это время наскоро поприбраться и переодеться, накинув себе на

плечи большую французскую шаль «на манер персидской». Отец Никандр тоже принарядился в самую парадную свою рясу, полуатласную синюю, из-под которой уже не было видно у него ни широкого пояса с розанами, ни кончиков модных брюк «в клеточку». Словом, супружеская чета эта вышла к Тамаре во всем своем полном параде, желая этим выразить ей не только свое внимание, но и дать понять, что мы-де тоже не какие-нибудь, показать себя можем не хуже других и светские приличия тоже довольно понимаем.

— Ну, вот вам и попадья моя, Анна Макарьевна, самолично-сГ— весело возгласил отец Никандр, подводя жену к Тамаре.

«Матушка» радушно подступила к девушке, взяла ее за обе руки и сразу расцеловалась. На вид, это была женщина энергичная, работающая, но далеко не из красивых собою и притом по крайней мере лет на пять старше своего супруга. Первым делом она сейчас же принялась угощать Тамару. Приношения Ивана Савельева были немедленно убраны со стола, при подручной помощи отца Макария, а на место их появились поднос с чашками,

кофейником и лоток со сдобными сладкими крендельками собственного печенья, в сопровождении маринованных грибков, моченых яблок и разных копчений, солений и варений домашней заготовки, на что Анна Макарьевна, видимо, была великою мастерицей. Она сразу же без всяких фальшиво-церемонных ломаний взяла с Тamarой естественную свою ноту по наиболее сродной себе части практической экономии и хозяйства, узнала, сколько та будет получать жалованья, расспросила, как она думает оборачиваться такими маленькими средствами, и преподала кстати несколько практических советов относительно того, каким образом распорядиться этими средствами наиболее экономным способом, где и что дешевле достать, у кого и как можно забирать в кредит на книжку, даже обещала устроить ей «по случаю» покупку постели и необходимых домашних вещей по дешевой цене и притом в рассрочку. Когда же Тaмaрa откровенно созналась, что главное затруднение — это насчет стола, где и как здесь кормиться, и спросила, не может ли Анна Макарьевна указать ей кого, кто согласился бы

взять ее на хлеба за известную плату, то «матушка» — чего же проще! — предложила ей столоваться у них же в семействе: чем богаты, мол, тем и рады, разносолов у нас-де не бывает, а сыты будете; что сами едим, то и вам дадим, и стоять все это будет шесть рублей в месяц, — чего нельзя уж дешевле, по двадцати копеек в сутки! Тамара нашла, что лучшего разрешения задачи ей и желать невозможно, и, конечно, сейчас же согласилась на эти условия, от души благодаря Анну Макарьевну за ее предложение.

— Да вот, с нынешнего же дня и начинайте, — пригласил ее отец Никандр, — милости просим чем Бог послал.

Большую часть этого дня Тамара провела или у них, или вместе с ними: вместе ходили гулять в сад и в ограду церковную, — благоденек выдался без дождя, — вместе осмотрели еще раз всю школу и все надворное хозяйство Анны Макарьевны, даже прошлись по сему, выбирая где посуше. Ходили, заодно уже, посмотреть и на барскую усадьбу господина Агрономского, расположенную чза селом особо, в полуверсте расстояния, и видели издали,

среди широкого, запущенного двора этот, некогда роскошный дом, с каменными львами на воротах, с облупленными колоннами на фронте, круглым куполом над бельведером без стекол и заколоченными боковыми павильонами, — убогий остаток времен старого барства. В одном из этих павильонов помещался теперь хлебный амбар, а в другом винный склад господина Агрономского. Старый батюшка во многом служил как бы живою хроникою тех, отошедших в вечность, времен и старых бар, и всей фамилии дворян Гвоздово-Самуровых. Но к удивлению Тамары, в воспоминаниях отца Макария о тех временах и людях не слышалось ни малейшего озлобления или укора, тогда как молодой зять его, напротив, отзывался о прошлом или с иронией, или прямо с недобрим, враждебным чувством, не испытав, впрочем, на себе лично ни одной из тягот этого прошлого.

— Все это в тебе, отец Никандр, книжная желчь говорит, — замечал ему старик.

— А в вас, батюшка, рабья отрыжка, закоренелая привычка к рабству, — парировал зятюшка.

Впрочем, отец Никандр, несмотря на маленькие споры и пикировку с тестем по вопросам отвлеченного характера, находился весь день в обычном своем благодушном и даже веселом настроении духа, брал на руки трехлетнюю свою девочку или годовалого сосунка-сынишку, возился с ними, тормошил, целовал и ласкал их, бережно подбрасывал смеющегося мальчонку вверх на руках, выкликая при этом «у-тю-тю! у-лю-лю!»— словом, являл собою нежнейшего и счастливейшего в мире родителя. Или вдруг начинал он зашучивать со своею «матушкой-попадъей», слегка поддразнивать ее «на вы» и дружески трунить над нею, по части ее хозяйственных наклонностей, говоря, что она у него «баба торговая», на рубль наторгуется, на два натараторит, а на копейку продаст или купит. А не то, порою, приняв вдруг надлежащую «позитуру», принимался в шутку донимать ее «стишком» собственного сочинения, декламируя его на манер Тредиаковского:

*Анна, желанна,
Богом мне данна,
Ты моя манна*

С небеси посланна.

И когда «матушка» начинала за это слегка на него хмуриться и усовещевать — хоть бы гости, мол, на первый раз постыдился, не конфузил бы сана! — «батюшка» не унимался, особенно после ооеда, и входя еще в пуций стиховный задор по части декламации, с комически нежным пафосом продолжал ей:

*Сердцем пространна,
Мною обожанна,
Люби же ты Анна.
Меня окаянна.*

А за послеобеденным чаем принес отец Никандр из спальни семиструнную гитару и, аккомпанируя себе на ней, уже «всерьез» спел с большим чувством «Ночи безумные» и несколько других цыганских романсов и русских песен. Хотя в манере его и слышался отчасти семинарский пошиб, тем не менее, песни его, а главное, хороший, свежий голос производили свое впечатление и очень понравились Тамаре, давно уже не слыхавшей пения, которое хватало бы за душу. Вообще, отец Никандр, видимо, был сегодня в ударе, особенно

после двух-трех рюмок сладкой наливки, которую и Тамара должна была отведать, уступая общим просьбам и гостеприимным настояниям.

За этот день, из общих разговоров и случайных рассказов членов этой семьи, ей удалось исподволь и ненароком познакомиться с разными сторонами местной жизни и быта. Все это было для нее ново и потому интересно. Ей хотелось поскорее приступить к своему делу и открыть в школе занятия хоть с завтрашнего дня, если это возможно. Но старый священник поохладил немножко ее пыл, сообщив, что ученье в школе обыкновенно начинается у них лишь с половины октября, когда у крестьян окончатся все работы в поле, на гумне, на огороде, — да и то хорошо, коли в первые дни явятся трое, четверо учеников, потому что ежели осень сухая да теплая, так подростки в это время еще скот пасут, или ездят с отцами в лес по дрова — заготавливать себе топливо на зиму, и вообще помогают старшим при домашних работах. Да и праздников крестьянских больше на осень приходится, и свадеб тоже, — тут еще не до ученья. А вот, к

1-му декабря, на св. Наума, в школе будет уже полно, пожалуй, и тесно, так что учительница поспевай только с делом справляться! А там, к весне, опять пойдет на убыль, и к маю месяцу — глядь — почти никого не останется.

Ввиду такого избытка свободного времени, Тамаре явилась мысль — нельзя ли воспользоваться им для частных уроков. Может быть, есть поблизости какие-либо помещичьи семьи, которые нуждаются в преподавательнице, в особенности для языков, для музыки, она охотно взялась бы учить там за самую умеренную плату, тем более, что, при ее скромном жалованьи, это было бы для нее большим подспорьем.

Но и в этой мечте пришлось ей сразу же разочароваться.

— Вот тоже захотели чего! — грустно усмехнулся в ответ ей отец Никандр. — Уж какие тут помещики! Разуваевы разве с Колупаевыми. Прежним-то помещиком, который нуждался в парлѐ-франсѐ, у нас в уезде уже и не пахнет. А если которые и уцелели еще кое-где неисповедимыми судьбами какими-то, — ну, так те прозябают по своим закутам враз-

дробь, так сказать, спорадически, как редкостное растение какое; их почти и не видно, и не слышно. А Колупаев, — ему что? — Он в ту же сельскую школу сына пошлет: все равно, и сельская школа хорошо подготовит хоть в гимназию, хоть за прилавок.

— Ныне, сударыня, и помещик здесь все новый пошел, другой формации, значит, — вставил в разговор свое слово и отец Макарий. — Да-с!.. Да еще такой, что мужик его и не любит, и не уважает. А по правде сказать, и не за что уважать-то! — Вот, к примеру, хоть бы тот же Агрономский: о народном просвещении печется — как же! — а сам такие контрактики с мужиками заключает, что почище всякого Колупаева!.. Каждая крестьянская работа оценивается у него не на деньги, а на водку. — Точно-с! С места не сойти!.. И все это самым формальным образом, по закону, — без закона он у нас ни на шаг!

Тамара, недоумевая, вскинула на него удивленный взгляд. — как это на водку?

— А очень просто-с. Крестьяне, например, обязываются по условию вывезти с его скотного двора, да с конюшни там, да от содержи-

мого им кабака весь навоз на его пахоту, а он за это обязывается, если работа будет сделана хорошо, выставить им три ведра водки. Крестьяне должны выкосить ему луг, выжать дочиста рожь, снять его овес, и так далее, а он за каждую из этих работ, буде найдет ее исправною, повинен поставить им столько-то ведер. Да это что еще! А вот, прошлым летом пожар случился в Огузкове, — деревня тут по соседству такая, и тоже кабак свой держит он там. — Ну, прилетел на пожар, и сейчас это к мужикам: «Спасай, братцы, мой кабак, отставивай, бочку водки за это вам выкачу!» — Ну, и выкатил, и что же? — Кабак-то отстояли, сами перепились, а деревня тем часом, как есть, вся до тла сгорела!.. Благодетель тоже называется, что ни есть первейший либерал в уезде!

— О, да! — подтвердил отец Никандр. — На всех этих съездах, на всех земских собраниях просто распинается за «мужичка», за «меньшого брата», а уж протестами так и сыплет: и против административного-то произвола, и против министра Толстого; все-то у него это «деспотизм» да «обскурантизм»... Такого греху да пыли каждый раз напустит, что дума-

ешь себе только: ну, брат, теперь шабаш! Посадят тебя, раба Божия, на цепуру! — Ан нет, глядишь, ничего, благоденствует и по сию минуту.

Изо всего, что пришлось узнать за нынешний день о господине Агрономском и его деятельности, личность эта обрисовалась пред Тамарой в крайне антипатичном свете. Еще не зная его лично и не видав его в глаза, она уже заранее составила себе предубеждение против этого человека, основанное на смешанном чувстве боязни его и нравственной к нему брезгливости. Он рисовался ее воображению чуть не Змеем-Горынычем каким-то, мрачною и злобною фигурой почти гигантских размеров, и она не на шутку боялась первой с ним встречи, заранее уверенная, что он отнесется к ней враждебным образом, грубо и резко, непременно оборвет, оскорбит чем-нибудь ее самолюбие, непременно постарается сделать ей какую-нибудь мерзость, и что поэтому ей надо ожидать себе в близком будущем всяческих неприятностей.

По возвращении вечером к себе домой, наедине сама с собою, она стала разбираться в

своих впечатлениях нынешнего дня. Ей живо чувствовалось, что в семье священника к ней отнеслись хорошо. Несмотря на то, что она для этой семьи совсем посторонний и почти неизвестный человек, с нею не стеснялись особыми церемониями, и никакой натянутости по отношению к себе Тамара в этих людях не заметила. Обыкновенная жизнь их и взаимные отношения продолжали и в ее присутствии идти своим обычным порядком, и это служило ей лучшим знаком того, что на нее сразу взглянули здесь просто, без затей и без предубеждения, как на ближайшую свою соседку, почти как на нового члена своей собственной семьи, от которого нечего замыкаться в своем внутреннем мире и домашнем быте, так как, все равно, ни этого мира, ни этого быта, ни характера повседневной своей жизни и отношений к миру окружающему от нее не скроешь: не сегодня — завтра она их, все равно, и сама узнает. Не на один же день они познакомились, — ближайшая, почти совместная жизнь их будет продолжаться не неделю, не месяц, может, и не один даже год, — стало быть, чего же тут стеснять чело-

века излишними церемониями и самим ради него стесняться в своих порядках и привычках! Ей были даже рады, как новому, свежему человеку, с которым можно будет хоть лишнее слово перемолвить, среди однообразной деревенской скуки.

IV. С КРЕСТЬЯНСКИМИ МАТКАМИ

На следующее утро Тамару разбудил говор нескольких детских голосов под ее окнами. Окончив свой утренний туалет, она вышла на крылечко и здесь, к удивлению своему, увидела трех женщин да штук шесть ребятшек, от семи до тринадцатилетнего возраста. Женщины оказались крестьянскими «матками», которые привели «в учебу» своих детей, узнав, что к ним на село прислали новую учительницу; а те мальчишки, что постарше, сами пришли, проведав о ее приезде. У каждой из трех женщин было в руках какое-нибудь «поклонное» для учительницы: у одной десяток свежих яиц, у другой моток суровых ниток и свежий медовый сот на тарелке, а у третьей даже живой петух, который никак не желал сидеть спокойно у нее на руках и все порывался как ни на есть выскользнуть из них на свободу. Все три матки сразу приступили к учительнице со своими поклонами и приношениями: прими-де, голубуш-

ка, дары наши крестьянские, это тебе от нас, от маток, поклонное за учебу, для того чтобы ты до ребяток наших ласкова была, в книжку читать научила бы, уму-разуму наставила.

Тамара попыталась было отказаться от поклонного, но матки и слышать не хотели об отказе.

— Нет, уж, желанная, не брезгуй!.. Как можно!.. Не обиждай ты нас... Это нам за большую обиду будет, потому как мы от всего сердца, чем богаты... Ты не сумлевайся, это уж так завсягда положение у нас такое, — без поклонного нельзя.

Нечего делать, пришлось подчиниться обычаю и принять приношения.

— Только что ж я с петухом делать буду? — спросила девушка, очутившись вдруг в большом затруднении с живою птицею в руках, которая продолжала громко и энергично протестовать против своего плена.

— А ничего, милая, пушай его погуляет, — уговаривали ее бабы, — другие матки придут, может, курочками поклонятся, хозяйство будет.

«Ах, хозяйство?! В самом деле, у меня

вдруг свое хозяйство будет, это прелестно!» — весело подумалось Тамаре.

— Которые же тут ваши детки? — спросила она, оглядывая обступивших ее ребятешек.

Матки указали, каждая на своего мальчика. Оказалось, что двум из них по семи, а третьему всего только шесть лет. Относительно этого последнего учительница выразила сомнение — не слишком ли рано сажать его за грамоту, больно мал еще, да и остальные двое тоже не велики, — погодить бы лучше.

— И, что ты, голубушка! Чего там малы?! Куда годить-то? — вступились за всех трех все матки разом. — Нечем дома-то баловаться, пуцай лучше в школу ходят: скорее кончат учебу. А то постарше станут, тогда уж не до учения, недосужно будет. Ты уж так приснорови, родная, чтоб ко Святой покончить с ними.

Тамара, однако, усомнилась, чтобы можно было таких маленьких обучить всему, что следует, в столь короткий срок, когда на обучение в сельской школе обыкновенно полагается от двух до трех лет.

Но бабы этим не убедились.

— Зачем так много? — возразили они. — Нам много не надо, умели бы только во всякой книжке разобрать да по родителям Псалтырь почитать, и за то спасибо! С нас и того довольно! Куда нам столько ученья! — Им ведь не в попы идти, а был бы только билет на льготу.

Тамара сначала не поняла было, о каком это билете речь, но из дальнейших объяснений оказалось, что матки подразумевают билет на право льготы по 4-му разряду в общевойсковой повинности. Пришлось растолковать им, что для этого мальчикам необходимо окончить полный курс сельской школы и выдержать экзамен в комиссии.

Мать шестилетнего мальчугана, — нечего делать, — согласилась, что ежели нельзя иначе, пускай кончает, — все же по девятому году, значит, освободится, и то хлеб!

— Но ведь до жребия пройдет для него еще целых одиннадцать лет, — возразила Тамара, — Ведь за такой долгий срок он, пожалуй, перезабудет все, чему учился.

— Это ничего! — хором принялись уверять ее все бабы. — Пускай его забудет, лишь бы

билет!.. Расчет ведь тоже, шесть ли лет тянуть солдатску лямку, аль четыре года, сама рассуди... Другие тоже забывают, да ничего, сходит, — это уж мы знаем.

Нечего делать, пришлось и тут уступить настойчивым просьбам.

— Ну-с, как же вас зовут? — ласково обратилась учительница к младшему из мальчиков.

— Нас-то? — подхватила его matka, — Агафьей, матушка, Агафьей, а ее Матреной, — кивнула она на соседку.

— А меня Марьей звать, — откликнулась третья. — Телушкиных Марья, значит.

Тамаре совестно стало в душе и смешно на самое себя, что она к шестилетнему ребенку обратилась вдруг на «вы». Уразумев из наивного ответа непонявших ее маток всю ненужность и фальшь и всю чуждость их быту подобных «цивических» обращений, она дала себе слово — впредь никогда не употреблять «вы» с учениками.

— Ну, что ж, очень рада, приступим к учению, хоть завтра, — сказала она, стараясь поскорее отделаться этим от собственного сму-

щения, вызванного своею же маленькою неловкостью.

Но тут одна из маток обратилась к ней с совсем неожиданною просьбой, рассказать им, как и чему именно думает она учить их ребятишек. Та с улыбкой ответила, что это уже ее дело.

— Нет, ты, голубушка, не обиждайся, это мы не зря пытаем, — ласково заметила ей, в оправдание свое, одна из женщин. — Мужик-от мой наказывал просить, чтоб ты Ванюшку-то нашего спервоначалу по церковному обучила.

— Да уж и мово тоже! — поклонилась в пояс Телушкина Марья. — И мой хозяин тоже, значит, просит: пуцай, мол, песням да побаскам не учит, этому ребята и сами научатся, а пусть, говорит, настоящему делу учит, — крестному знамению, да молитвам, да по святцам святых разбирать, какой день какого святого, — вот!

— Это уж-чего чудесней бы! — умильно согласилась и третья матка. — А то у нас допрежь тебя был уже такой учитель... Как ни идешь, бывало, мимо, остановишься послу-

хоть, — все-то у них там песни да припевки!.. Сказки да побаски, бывало, учат, а воскресной молитвы не знают.

— Какое уж это ученье! — осудили «систему песенок» и остальные бабы. — Чтоб уж воскресной-то не знать — самое последнее дело! Грех один, а не ученье!

Но Тамара и сама не знала, что это за «воскресная молитва» такая, или, по крайней мере, что именно подразумевают они под нею? Совестно было признаться, а спросить все-таки надо, хотя бы во избежание недоразумений на будущее время. Оказалось, что это «Да воскреснет Бог», — и она обещала маткам, что в свое время школа всему научит ребят, что следует знать добрым христианам.

— То-то, голубка, пожалуйста! — снова принялись кланяться ей бабы. — А главное, чтобы билет-то выправить им... на льготу-то. А уж мы тебе за то во как благодарствовать будем! По весне опять с поклонным придем, хслстов принесем.

Остальные мальчики оказались уже не новичками: они отбыли в школе прошлую зиму и заявили, что читать и даже писать еще не

разучились за лето и хотят продолжать уче-
нье. Но едва Тамара разговори-лась с ними,
как сзади побежал к ним какой-то мужик и, с
налету, прямо цап одного из них за шиворот!

— Ты это что, пострел, а?.. Из дому сбег?.. В
школу тебе, а?.. Дома работы полны руки, а
ты в школу?! Сестренку в зыбке покачать
некому, а тебе шалберить!? Я те дам!.. Я те по-
кажу школу!.. Пшел домой, паршивец!

Двенадцатилетний мальчик и опомниться
не успел, как родитель отта-скал его за вихры
и погнал перед собою до дому, продолжая по
пути накладывать ему по загривку.

Тамару до такой степени поразила эта
неожиданная сцена, что она не нашлась да-
же, что сказать, а не то чтобы вступить за
мальчика. Но случай этот самым наглядным
образом объяснил ей, почему крестьянские
матки торопятся приводить своих ребят в
школу такими еще малы-ми: и билетом на
льготу заручиться-то им хочется, и помощник
по домашней работе нужен в семье, между
тем как школа отрывает его от дому.

V. ПРОБНЫЙ УРОК

На следующий день у нее в школе прибавилось еще несколько учеников, так что всех собралось человек четырнадцати разных возрастов, и из них более чем на половину прошлогодних. Это был для Тамары уже большой и неожиданный успех, объясняемый, впрочем, более интересом к ее собственной личности, как новой учительницы, чем стремлением к учению. Последнее подтверждалось и еще одним обстоятельством, которого она тоже никак не ожидала: вместе с учениками пришло и несколько взрослых, преимущественно отцов, из числа степенных мужиков, нарочно явившихся послушать, как и чему будет учить новая учительница. Они так прямо это ей и высказали, — пришли-де послушать, и степенно расселись себе рядом на одной из задних скамеек. На такое внимание к себе и к учебному делу со стороны отцов Тамара никак не рассчитывала. Это была для нее совершеннейшая новость. — «Неужели, думалось ей, темный мужик может интересоваться таким делом и что-нибудь пони-

мать в нем?» Однако же она и виду не подала им о своем сомнении и тотчас же принялась за первый свой урок, достав предварительно из шкафа несколько учебных пособий для классного чтения.

— Ну, садитесь, дети, — предложила она ребятишкам, разделив их по возрастам и заняв сама место за учительским столом, против передних парт.

Дети гурьбою, теснясь и толкаясь, споря из-за мест и шагая по скамейкам один через спину другого, расселись наконец за четырьмя передними партами. Говорок и перешептывание между ними мало-помалу затихли, все успокоились и приготовились слушать.

Учительница раскрыла одно из пособий и уже хотела было начать, как вдруг на задней скамье поднялась во весь рост почтенная фигура пожилого крестьянина.

— Извините, госпожа, на мужицком нашем слове, — начал он, слегка запинаясь, очень сдержанно и вежливо, но не совсем довольным и даже как будто обиженным тоном, — на селе вот болтают, быдто ваша милость того... маленько... из жидов быдто буде-

те.

Тамару точно бы что в сердце кольнуло. — Опять это ее вечное жидовство... Господи, да доколе же! — Она невольно вспыхнула и, не понимая, к чему могла бы вести эта прелюдия, вопросительно смотрела на говорившего встревоженными и растерянными глазами.

— Мы-то и не поверили было, — продолжал тот, — мало-ль какой пустяковины пустельга мелет! — Ан выходит иначе же, быд-то оно и на правду похоже, не в обиду вам будь сказано.

Оскорбленная и смущенная до крайности девушка, пересиливая свое волнение, просила его высказать яснее, чем это вызвано с ее стороны такое обидное для нее замечание.

— Да как же, сами подумайте, — заговорил мужик, но уже с более мягкой укоризной в голосе. — Мы хоша и простые люди, а почитаем так, что школа — дело, значит, Божье, святое дело, и надо бы ему, по-нашему, по мужицкому разуму, зачал-то класть с благословения да с молитвой, а не то что... У нас так не водится.

— Да, вы правы, — покорно согласилась, спохватившись про себя, Тамара, и чтоб ско-

рей поправить свой существенный промах, сделанный ею чисто по недомыслию, от непривычки к новой своей роли, тотчас же пригласила детей встать и повернуться лицом к иконе, а сама громко и внятно прочитала затем на память «Царю небесный», «Отче наш» и «молитву перед учением», истово осеня себя по временам крестным знамением. «Пускай же видят, что я такая же, как и они, христианка и православная!»-думалось ей при этом.

— Вот теперь как след! — удовлетворенно заметил ей мужик, с благодарным поклоном.

По выражению лиц его и остальных родителей, Тамара поняла, что после этой молитвы они совершенно примирились с нею и что подозрения их насчет ее жидовства рассеялись. Это намного успокоило и, в свой черед, примирило и ее с ними, тем более, что в душе она сама признавала себя виноватою, и ей стало очень на себя досадно за свою оплошность.

Прежде чем приступить к обучению, ей хотелось проверить знания учеников прошлогоднего курса, чтобы знать, с чего отправляться с ним далее... Поэтому она попросила их

показать ей наперед чему и как они обучались.

Старшие ребята пошептались между собою, сговариваясь и подбодряя друг друга, и затем все разом, в один голос и такт, заговорили нараспев скороговоркой:

*Шли сорок мышей,
Несли сорок грошей.
Две мыши поплоче
Несли по два гроша.*

— Это что же такое? — с удивлением оглядела их девушка, как бы огорошенная всеми этими «мышами» и «грошами».

— Вона, слышь, чему учили! — сдержанно и вполголоса послышалось замечание между взрослыми на задней скамейке.

— Это так в книжке прописано, — доложил учительнице один из мальчиков постарше и, для пущего убеждения ее в справедливости своих слов, отыскал в «Родном Слове» надлежащую страницу и подал ей раскрытую книжку.

Та прочла и собственными глазами убедилась, что стишок про сорок мышей, точно, в ней находится.

— А то мы еще учили про «кота и козла», — заявил тот же бойкий мальчик и, моргнув товарищам, сделал им жест на манер запевалы, после чего весь хор старших учеников подхватил за ним разом:

*Идет козел мохнатый,
Идет бородатый.
Рожищами помахивает,
Бородицей потряхивает и т. д.*

Окончив же эту «занятную» песенку, хор сразу перешел на следующую, с притоптыванием каблуками об пол:

*Тук, тук, тук! черный дятел стучит,
Носом кору добит,
Длинный язык в дыры запускает,
Мурашей словно рыбку таскает.*

— Ну, хорошо, — похвалила Тамара. — А пропойте-ка мне хором «молитву Господню», — вы так хорошо поете.

Мальчики переглянулись между собой и замялись: никто не хотел начинать первым. Они только подталкивали локтем один друга, — начинай, мол, ты! — Нет, ты!..

— Что же вы, милые, призадумались?.. Ну-ка ты, бойкий? Как тебя звать-то?

— Петра Чалых, — отозвался мальчик.

— Ну, Петра, начинай-ка первым, а другие за тобой подтянут.

Тот затынул было неуверенным голосом «Отче наш», но едва дойдя до «иже еси на», запнулся и стал: остальные не подхватывали. Сконфуженный запевало, извиняясь, объяснил, что молитву Господню они хотя и знают, но хором петь ее не умеют, — никогда-де не пробовали, потому что нас этому не учили.

— Ишь ты, смекай-ка!.. Хорошо? — снова слышалось вполголоса на задней скамейке у взрослых между собою.

— Ну, даст Бог, научимся! — ласкою ободрила учеников Тамара. — А гимн народный знаете? — спросила она.

Те опять стали в тупик, и только переглядываются между собою, недоумевая, о чем это еще их спрашивают? Самое слово «гимн» оказалось им совершенно неизвестным.

— Да это «Боже, Царя храни», — пояснила девушка, — неужели не слыхали?!

— Слыхать-то слыхали, только в книжках

у нас этого нигде нету, — отозвались некоторые из мальчиков. — Нас не учили этому.

— Придется, значит, научиться; этого стыдно не знать русскому мальчику, — заметила Тамара. — А еще чему же вы учились?

— Учили мы, как «жил себе дед да баба, у них курочка ряба».

— Вот как, а еще?

— А еще «тюшки-тетюшки, овсяны лепешки», и про «прилежного барина» тоже учили.

— Про «прилежного барина»? — переспросила она, — это что же такое?

— А это про то, как жил-был один такой барин, что завсегда говорил своему лакею: «раздень меня, уложи меня, закрой меня, перекрести меня, а усну я уже сам», — больно умный, знать, барин был.

Мальчики рассмеялись.

— Помещик то же, барин-то! — раздался чей-то иронический голосенок, покрывшийся новым общим смехом.

— Почему же ты думаешь, что это был барин и помещик? — обратилась к мальчику Тамара.

— Иван Павлыч так объясняли нам, — учи-

тель, что до вас был, потому, сказывали, никто окромя барина таким дураком и лентяем не может быть, особливо как в крепостное время, когда крестьян помещики угнетали.

Тамара захотела удостовериться, насколько ученики умеют читать по печатному, и обратилась к крайнему на парте мальчику, раскрыв перед ним книжку на первой попавшейся страница. — Читай!

— «Грязна наша хавроньющца», — зачитал тот, несколько заикаясь, — «грязна и обжорлива, все жрет, все мнет, об углы чшштся, лужу найдет, как в перину прет, хрюкает, нежится».

— Что же это прочитал ты, про кого, можешь объяснить? — спросила учительница.

— Про свинью читал, — отозвался чтец и пошел, как пописанному. — Свинья есть животная четвероногая, млекопитающая, принадлежит к числу всеядных, бывает очень полезительна в домашнем хозяйстве, но по неряшеству, свиньями называют также и некоторых людей, как ежели например, напьется кто пьян, — мужик ли, поп ли, барин ли, — все они одинаково будут свиньи. Поэто-

му крестьянин никогда не должен пить водки, хотя пьянство ему и прощительнее, чем протчим, по бедности состояния его и по необразованности, почем-как деревенский мужичок лишен пока всяких образовательных и пользительных развлечений, как например, народных киатеров, лекиратурных чтений, а так же как туманные картины и протчее: но со временем, конечно...

— Это вам тоже Иван Павлович все объяснял? — перебила его Тамара.

— Они самые-с, — подтвердил мальчик, и опять, как заведенная машинка, принялся было тем же тоном продолжать прерванную фразу, — «но со временем, конечно»...

Однако, Тамара прервала это «со временем», перейдя к его соседу. — Следующий!

Сосед принялся несколько бойчее, без запинок.

*«Серед моря овин горит,
По чисту полю корабль бежит,
Мужики на улице заколы бьют,
Они заколы бьют, рыбу ловят,
По поднебесью медведь летит,
Длинным хвостиком помахива-*

ет».

Мальчик кончил, и когда учительница спросила его, понял ли он прочитанное, тот решительно стал в тупик, боясь ответить не-попад и думая про себя: «кто его знает, что оно такое! Может, так хитро, что сразу и не разберешь».

— Не могу ответить... не знаю... Небывальщина какая-то, — оробело проговорил он наконец вполголоса, видимо боись, как бы не пристыдили его за тупость.

— Следующий! — перешла учительница к его соседу.

Плаксиво и как-то уныло раздалось новое чтение, на сей раз по Паульсону:

— «Птичка летает, птичка играет, птичка поет, птичка летала, птичка играла, птички уж нет... Котик усатый по садику бродит, козлик рогатый за котиком ходит, лапочкой котик»...

В эту минуту вдруг распахнулась с шумом дверь — и в классную комнату авторитетно вошел сам волостной старшина, в сапогах со скрипом и с глянцевыми бураками, в синей поддевке тонкого сукна и с присвоенным

по должности «знаком» на груди. Он с достоинством и несколько свысока протянул учительнице свою жирную руку и снисходительным кивком головы ответил на поклон привставших ему мужиков.

— Вот и мы зашли, значит, посмотреть на нашу молодую сельскую телигенцию, како-во-то вы тут с ними справляетесь, — обратился он в благосклонно покровительственном тоне к Тамаре и тут же прибавил ей дружески внушительным образом: — А вы, барышня, напередки, коли ежели начальство в класс входит, должны в тотчас же крикнуть мальчишкам «встать», — это примите к сведению... и к исполнению. А то я вхожу, а вы сидите, и они сидят, — нёшто это порядок?!

Опять пришлось Тамаре несколько сконфузиться и извиниться за свою оплошность, оправдываясь новостью дела и недостаточным знакомством со здешними порядками.

— Ну, да это я только к слову, — успокоил ее старшина, важно рассаживаясь на поданный ему сторожем стул, подле учительницы.

— Ну-с, продолжайте премудрость-то вашу, — предложил он ей надлежащим жестом,

очевидно, перенятым у «начальства». — Продолжайте, а мы послушаем.

Тамара развернула одну из книг «для чтения в народных школах». Ей хотелось теперь самой прочесть ученикам несколько коротеньких статей, чтоб заставить их потом рассказать себе прочитанное и посмотреть, насколько легко усвоят они себе смысл читаемого наслух... Попались ей статьи: «Хлеб», «Стол», «Огород», где излагалось, что хлеб, «прибавляющий силушки», пекут из теста, тесто месят из муки, воды и дрожжей, муку мелет мельник на мельнице из хлебных зерен, зерна созревают на полях, а поля обрабатываются крестьянами. О столе повествовалось, что он сделан столяром из дерева, у него-де есть верхняя доска, ящик и четыре ножки, а относительно огорода объяснялось, что огороды бывают возле домов, удобряются навозом и обносятся плетнем, что в огороде копают грядки и садят на них овощи: картофель, лук, морковь, капусту, из которой варят щи; для гороха и бобов ставят тычинки и вешают пугалы; в засуху грядки поливают водою и т. д. По мере того, как читала все это Тамара, ей

инстинктивно все более и более начинало казаться, что как-то неловко и совестно приставать с подобными вещами к крестьянским ребятишкам, — точно бы они и сами всего этого не знают! Во всем этом книжном «развивательном методе» ей смутно чувствовалась какая-то фальшь, — чувствовалось, что для крестьянских детей, для сельской народной школы как будто бы нужно совсем не это. А что именно нужно, — увы! она ни сама ясно представить себе не может, ни в «рекомендованных» учебниках и «книжках» этого не находит. Печальное внутреннее сознание, что занимается она, кажись, не серьезным делом, начинало с каждою новою строчкой этих «огородов» проникать в нее все более и действовать на ее душу угнетающим образом. Вздор ли все это, она еще не знает, да и боится так думать; но что это непроходимо скучно, ей не трудно было убедиться по апатичной зевоте и скучающим лицам своих слушателей. Она прекратила чтение и молча, тоскливо, пытающим взглядом обвела свою аудиторию. И ей стало вдруг почему-то ужасно совестно. Общее и притом какое-то пришиб-

ленное и недоумевающее молчание было ей ответом на ее вопрошающий взгляд. Видно было, что не только ей, но и всем взрослым тоже как-то не по себе, — не то совестно, не то странно и дико слушать то, что сейчас читалось. Старшина, упершись фертм в колени, потупленно сидел с опущенными в землю глазами и как-то сомнительно улыбался.

— Н-да, ученье свет, неученье тьма, — поучительным тоном, но ни к кому собственно не относясь, проговорил он наконец. — более для того, чтобы хоть чем-нибудь прекратить это подавляющее молчание, — и слова его точно бы прорвали плотину.

— Да какое же это ученье! — запротестовали вдруг на задней скамейке отцы, и в особенности тот, что напомнил Тамаре о молитве в начале урока. — Чего им читать-то про хлеб, да про огороды?! Они и сами тебе еще лучше расскажут, что там посеяно и что к чему!.. Эка невидать какую нашли, как корова мычит, да как лает собака! Всякий и без того знает, что корова мычит, а собака лает!.. Стихиры тоже учить затеяли, а какие это стихиры? — Те стихиры, что в церкви поют, — Богу поют, а эти-

ми стихирами разве беса тешить! Медведь, вишь, по поднебесью летал, — нашли чего сочинить тоже, глупостей каких!.. Где б от писания почитать что, как Бог небо-землю сотворил, как Христос с апостолами ходил по свету, цари какие древние были, а им про курицу-рябу!.. Вот, кабы обучали, как на крылосе петь да по божественному в храме Божиим читать, ну, это точно что школа была бы, либо-дорого было бы послушать, да и спасибо великое мужики сказали бы вам. А то все про козлов, да про котов! — Что им в котях-то!..

Под градом этих негодующих единопутных протестов Тамара только молча голову потупила, тем более, что все они обращались прямо к ней, точно бы она одна повинна в том, зачем существуют на свете такие книжки и зачем преподают по ним в школах. Но непосредственное, возмущенное чувство отцов этого не разбирало. Да и сама она смутно чувствовала в этих простых и грубо выражаемых порицаниях какую-то внутреннюю правду, против которой ей не под силу подыскать никакого веского, основательного возражения, тогда как у них эти их взгляды, очевид-

но, общие и коренятся глубоко. Разве вчерашние матки крестьянские, в сущности, говорили ей не то же!

— Ну, однако, почтенные, вы тово... полегче! — вступился наконец в дело старшина. — Нечего вам учительнице тыкать в глаза, как и что ей делать! Про то начальство знает. Не от себя она книжки сочинает, а какие начальство прислало, те и есть. По ним и учи, коли велено! Не глупее вас тоже люди, — поди, чай, тоже рассуждали, что к пользе, а что нет. Стало быть, так надо, коли приказ такой, — ну и молчи, не путайся не в свое дело! Дело ваше темное!

Но отцы плохо соглашались с доводами старшины и продолжали между собою порицать «земскую учебу».

Воспользовавшись минутой, когда взволнованный и ворчливый говор их несколько стих, Тамара высказала им, что охотно бы готова учить детей и по-церковному, насколько сама знает (а знала-то она плохо, но надеялась про себя, что у отца Макария успеет подучиться), да та беда, что в школе у них нет ни одной церковно-славянской книги. Поэтому

она предложила им, пускай крестьяне сложатся и купят на общий свой счет несколько экземпляров Псалтыря и Евангелия.

Но против этого предложения, как один человек, восстали все наличные отцы, да еще пуще прежнего. Как, мол, так?! Земская управа každогодно деньги с нас дерет на школы, да мы же еще и книжки на свой счет покупай?!.. Нет, уж это управа пуцай сама покупает! У нас и без того довольно есть куда платить, и то хребты трещат уж! Скоро, гляди, последнюю корову со двора сведут за недоимки!.. Последнюю копейку, и за тою чуть не с ножом к горлу пристают, — подай да подай! — то на подати, то на земство, а с чего подать-то?.. Нет, уж это вы сами с управой, как знаете, так и ведайтесь! А нет, мы и ребят в школу посылать больше не станем, — лучше к хожалым учителям отдавать, чем так-то!.. Да и впрямь лучше! — Хожалому-то я за ученье цалковый-рупь, а много, коли полтора заплачу, он мне за зиму-то выучит мальчонку не по-вашему, а по Часослдву... Ну ее к ладу, земскую школу! Пропадай она и совсем! Один грех только с нею!

И разобиженные отцы прямо из-за парт погнали своих ребят по домам и сами удалились следом, — прощайте, мол, да больше и не ожидайте!

— Что же это такое!? — обратилась к старшине огорчен — ная до глубины души Тамара. — За что это?.. — Что такое я им сделала или сказала обидного?

— Ничего, поартачатся да таковы же будут! — флегматично успокаивал ее тот. — Завтра, гляди, сами пришлют ребятишек, — матки заставят. Солдатскою-то льготой, небоись, каждому заручиться лестно.

* * *

Распустив столь неожиданно расстроившийся класс, Тамара пошла к священнику поделиться с его семьей своими сегодняшними впечатлениями и рассказать все, как было.

— Вот пустяки-то! Есть из-за чего огорчаться! — воскликнул, выслушав ее[^] отец Никандр. — Смотрите вы на все на это легче и спокойнее, получайте свое жалованье, благо вам пока его платят, и делайте то, что от вас требует училищный совет, — чего там!?

— Не знаю, может быть, крестьяне и пра-

вы, — проговорила она в раздумьи.

— И даже не «может быть», а наверное правы, в этом вы можете не сомневаться, — уверил ее отец Никандр. — Но что ж из этого?

— То, что если это так, то я начинаю сомневаться в себе, гожусь ли я для своей роли, — пояснила она.

— А почему бы нет? — Девица вы образованная, диплом имеете, охота есть к тому же... Правда, для этого дела, если хотите, нужно особое призвание, талант; но где же набрать все талантов? Большинству наших сельских учительниц и даже учителей далеко до вашего образования, да ведь учат же, ничего-себе!

— Да, учат, — согласилась Тамара; — но если крестьяне, как вы говорите, правы, то к чему все это наше учительство?

— Ах, вот что! — улыбнулся отец Никандр, — Ну, да пускай себе правы, вам-то что?!. — пожал он плечами. — Не вы ведь завели такие порядки и такую систему!

— Да, но если они в самом деле не станут детей в школу пускать, тогда что?!

— Ну, и Бог с ними, пусть их не пускают! —

Худа от этого для них не будет, а вам то же, чем меньше с этой шершавой детворой возиться, тем легче. Есть о чем беспокоиться! — Ведь не переделаете!

— Одна, конечно, не переделаю, — согласилась девушка, — но если бы нас, думающих как вы вот, что в этом деле следовало бы прислушиваться к желаниям и требованиям самого народа, — если бы нас, говорю я, было больше, ды если бы к нашим голосам присоединилось сельское духовенство, — вы, например, первый могли бы...

— Мы? Духовенство? — перебил ее отец Никандр. — Покорнейше благодарю! Будет с нас уже!.. Довольно!.. По крайней мере, что до меня лично, я умываю руки. Я попытался учить в отсутствии вашего предместника, — арестовали тут, было, его с жандармами за какие-то там знакомства, — и что же-с? — Кроме неприятностей с земской управой да запросов и глупой переписки с училищным советом, ничего не нажил! — По какому-де праву позволил я себе преподавать, не испросив, видите ли, предварительно у них разрешения! Даже вознаграждения никакого не да-

ли... Да мало того-с: возбудили даже сомнение в моей благонамеренности! Вопрос подымали! — Ну их! — махнул он рукою.

— Наши земские воротилы нынешние, — вступил в разговор отец Макарий, — изволи-те ли видеть, желают как можно дальше держать сельскую школу от духовенства, лишить его там, по возможности, всякого влияния; поэтому, между прочим, и плату нищенскую за преподавание Закона Божия назначили, да еще ограничили его одним платным уроком в неделю, а в остальные дни если хочешь, то безвозмездно.

— Я уж и не зарюсь на нее, на плату-то, всю батюшке предоставил, — кивнул отец Никандр на тестя. — Надо же и ему, старичку, иметь какую-нибудь свою копейку.

— Ну, да это что, не в деньгах суть! — перебил его отец Макарии, — а главное, что разные господа Агрономские — вот — считают себя призванными мешаться в школьное дело. Крестьяне, например, особенно любят, чтобы детки их дома читали им что-нибудь духовно-нравственное, или историческое, — ну, а из школы, благодаря Агрономским, под-

совывают им о швейцарской демократии, или больше все по естественной истории, про разные там суставчики, членики да щупальцы у насекомых, — ну, и не читают, конечно. А которые учительницы просят управу пополнить им библиотечки согласно желаниям крестьян, — отказ: денег, мол, нет. А жертвовать из земского сундука на женские курсы в Петербург, по сту рублей, да на издание каких-то там учебников на грузинском языке, на это, сделайте ваше одолжение, денег всегда сколько угодно!.. Ну, и понятно, если крестьянин такие школы не больно-то жалуется.

— Но ведь нельзя же и без них, — возразила Тамара, — нужна же наконец хоть какая-нибудь школа.

— Она и есть! — подтвердил отец Макарий, — не думайте, есть! Народ, я вам скажу, — продолжал он, — стремится к грамоте помимо земской помощи и независимо от земства: он заводит себе свои собственные школы грамотности с хожальными учителями. Нужды нет, что учит там какой-нибудь отставной солдат, или дьячок заштатный, — ему верят. А почему? — потому что не верит

мужик земской школе. Даже более: многие волостные правления избегали и извещать-то о них управу, — потому, значит, боялись, как бы деятели наши да сеятели не внесли и в эти их школки своих нынешних начал, — вот что-с!

— Да что же это за начала такие особенные? — спросила недоумевающая Тамара. Ведь то, что преподается в школах — утверждено правительством, и по правительственным же программам, и по рекомендованным пособиям, — так в чем же дело?

— А вот, поживете — увидите, — уклонился от прямого ответа Макарий. — И что замечательно, — продолжал он, — школок этих больше всего оказывается в тех местностях, где больше земских школ, а это что значит? Это значит, что против каждой земской школы крестьяне ставят свою контрашколу, — вот оно что-с!

Все это, в связи с сегодняшнею сценою в классе, послужило для Тамары поводом к новому и еще более горькому разочарованию. А она-то так надеялась на свою новую деятельность, на ее плодотворность, и что же? С са-

мого первого шага уже приходится с горечью убеждаться, что все это чуть-ли не одно громадное недоразумение, или — еще хуже, — одна фальшь, которая если еще и держится кое-как, то лишь чисто искусственной приманкой для крестьянских маток на совсем постороннюю льготу по воинской повинности. Неужели и везде так? Неужели и повсюду то же самое?.. Что ж будет далее? Как идти у нее делу, если в ней самой уже подорвана в него вся вера?.. Поневоле руки опускаются.

— Э, полноте, чего там! Есть о чем печалиться! Пойдем- те-ка лучше обедать, а то щи простынут, — предложил ей молодой «батюшка».

VI. В ОБЛАСТИ ЗЕМСКИХ ПРЕЛЕСТЕЙ

В первый же воскресный день, как только раздался благовест к обедне, Тамара пошла в церковь. Она все эти дни даже с особенным нетерпением ожидала воскресенья, именно затем, чтоб отправиться к обедне. На это были у нею особые причины, казавшиеся ей чрезвычайно важными. Дело в том, что слухи о ее еврейском происхождении видимо успели уже распространиться по селу, и не чрез Ефимыча, как думала было вначале Тамара, а через волостное правление, или вернее, через писаря этого правления, и в этом не было ничего мудреного, так как самая фамилия «Бен-давид» указывала на се нерусское происхождение. Но самое невыгодное для нее в этих слухах и толках было то, что большинство крестьян отождествляло ее происхождение в религией: «коли, мол, из жидов, так, стало быть, она и жидовского закону, веры жидовской, значит». Намек на такое заключение она получила уже в самом начале своего пер-

вого урока, когда позабыла открыть его молитвой, и Тамара не сомневалась, что если всем этим толкам и сомнениям не противопоставить на первых же порах ясное, наглядное опровержение, то они будут распространяться все больше и дальше, в прямой ущерб не только ей самой, но и ее делу. Поэтому она и рассчитывала воспользоваться первым же воскресным днем, чтобы присутствием своим у обедни, воочию показать всем сомневающимся, что она такая же православная, как и они сами.

Еще в субботу, отпуская своих учеников после утреннего урока, Тамара наказывала им, чтобы завтра утром они собрались к ней в школу.

— Зачем? — удивились те, — нешто и в праздник учиться будем?

Она объяснила, что приглашает их не для ученья, а затем, чтобы вместе с нею идти всею школой к обедне, и спросила, почему они так удивлены? Разве прежде этого не делалось?

Оказалось, что нет.

— Ну, так отныне всегда будет делаться,

так вы это и знайте.

Ученики остались очень довольны таким нововведением и обещались прийти непременно. И вот теперь, когда вся ее школьная команда еще до благовеста собралась в классной комнате, одетая во все чистое, по-праздничному, с расчесанными и примасленными волосами, — Тамара начала с того, что громко прочла в русском переводе и растолковала мальчикам сегодняшнее евангелие, которое будет читаться за обедней, удостоверилась из своих вопросов и их ответов — достаточно ли они его поняли и затем, построив учеников попарно, что называется, лесенкою, малышами вперед, — чинным образом повела, их в церковь и поставила в порядке за правым клиросом, а сама стала позади своей школьной команды.

К началу обедни собралось довольно много прихожан, не только своих, гореловских, но и из соседних деревень, приписанных к приходу. Пели на клиросе дьячок с отцом Макарием да двое любителей из крестьян, но нельзя сказать, чтобы пение их отличалось благозвучием и стройностью: дьячок тянул

охриплым басом, отец Макарий старчески дребезжащим тенорком, а из любителей всяк старался сам за себя, не сообразуясь с остальными певцами, — было бы только погромче да позакатистей! Здесь у Тамары впервые явилась мысль, что не мешало бы ей воспользоваться своими музыкальными способностями и знаниями, для того, чтобы подготовить на первое время хотя бы небольшой хорик из способных учеников, — по крайней мере, в церкви у них будет хоть сколько-нибудь благообразное пение. Она надеялась, что ни тот, ни другой из «батюшек» не откажут помочь ей своим участием в этом деле. Да и крестьянам должно понравиться, — думалось ей, — они ведь так определенно высказывали ей в школе свои желания насчет «божественного». По временам она искоса и как бы невзначай оглядывалась в сторону, на молящихся крестьян, с целью удостовериться, видят ли, замечают ли они ее, обращают ли на нее и ее команду хоть какое-нибудь внимание, на этот раз не столько молитва сама по себе, сколько такие именно соображения наполняли ее мысли и волновали душу. Поэтому она

не забывала креститься как можно истовей и старалась не упустить ни одного случая, где следовало преклонить голову, или положить земной поклон, раза два поправила двух-трех мальчиков, небрежно и неправильно крестившихся, или оказывавшихся недостаточно внимательными к службе, а во время пения молитвы Господней заставила своих школьников опуститься на колени и сама, с несколько показным благоговением, сделала то же.

Отец Никандр, чтоб показать перед прихожанами свое внимание, — так сказать, отличить ее в их глазах, — нарочно выслал ей из алтаря в конце службы просфору на тарелочке, а когда она, вместе со всею школою, подошла прикладываться ко кресту, он поздравил ее с праздником и пригласил к себе на чай после обедни.

Тамара в том же порядке, попарно, вывела своих мальчиков из церкви и, проходя с ними по паперти, слышала сказанное кем-то во след ей замечание:

— Вишь ты, школа-то как важно! — Словно приютские в городе!.. И чего это зря болтают,

из жидов да из жидов, а она во-как, по правиле все это действует!

— Хорошо!.. Что хорошо, то хорошо — отозвался на это, в похвалу ей, чей-то другой голос.

При этих, случайно подхваченных ею словах, Тамара почувствовала в душе отраду первого нравственного удовлетворения. — «Сфарисействовала я сегодня, прости Господи!» созналась она себе, «и сильно-таки сфарисействовала, да что же делать! Чем убедить их иначе!?»

Доведя команду свою до школы, она выпустила ее по домам, дав наказ идти по улице чинно, без озорства и забиячества. а сама отправилась на чай к «батюшкам».

У «батюшек» в «чистой» комнате, на покрытом бумажнокамчатною салфеткой столе пыхтел уже большой, на славу вычищенный, ради праздника, самовар, около которого усердно хлопотала над разнокалиберным чайным прибором «матушка» Анна Макарьевна, в шуршащем праздничном наряде и даже с блондовою наколкою на голове, ы доме слегка припахивало ладаном, которым с

утра еще и тоже ради праздника не забыла, в силу старого обычая, покурить по комнатам га же «матушка». Здесь Тамара застала уже нескольких почетных гостей, имевших всегдашнее обыкновение заходить на чашку чая к «батюшкам», после обедни. На диване и креслах восседали тучный управляющий с женою, с соседнего стеклянного завода, сморчкообразный капитан-лейтенант в отставке, с Анною в петлице — мелкий землевладелец из ближней окрестности, да холостяк лесничий, живший тоже по соседству; а у стены, на стульях, сидели в ряд четверо почтенных основательных крестьян, из числа «прилежных радел ьцев храму Божьему», как рекомендовал их отец Макарий, — люди пожилые, почти старики, в синих, смурых и черных чуйках. То были Иван Лобан, Максим Липат, мельник Данило да Силантий кузнец, которого все звали «дедушкой», в виде ласкового ему почета. Все гости степенно кушали чай из стаканов и больших фарфоровых чашек, — господа «внакладку», а крестьяне «вприкуску». Разговор тоже весьма степенно, и вначале даже несколько натянуто, вращал-

ся в сфере хозяйственной, насчет того, каков у кого был умолот ржи да овса, сколько кто четвертей ссыпал к себе в закромы, сколько мер картошки накопили на зиму, каково где всходят озими и т. д.

Отец Никандр представил новую учительницу всему обществу своих гостей, и Тамара опять услышала похвалы себе за свое нововведение, особенно со стороны крестьян, — хорошо, мол, это вы делаете, что ребят ко храму Божию привлекаете и в струне содержите: мы-де сегодня очень хорошо примечали, что чуть который зазевается, сейчас вы это легонько до него доторкнетесь и поправите. — Ну, и насчет крестного знамения тоже, все это очень даже прекрасно, одобряли мужики. — А то здешние ребята и от храма-то совсем было отбились: с утра уже, в праздник, то в бабки, гляди, то в войну жарят промеж себя, а нет того, чтобы лоб-то хотя перекрестить бы.

Все эти похвалы были Тамаре тем приятнее, что из них она могла видеть, насколько начинает уже примиряться с нею гореловское общественное мнение, и что собственно требуется с ее стороны для этого.

От похвал учительнице общий разговор перешел опять на сельско-хозяйственную часть и ее нужды, да на тяготу нынешних времен, от которой самый естественный переход, конечно, и к «нынешним порядкам», и эта жгуче больная тема сама собою внесла в беседу значительное оживление. Максим Липат пожаловался на подесятинный налог, дошедший в последний год до восемнадцати копеек. — Восемнадцать? — остановил его Иван Лобан, — нет, брат, погоди! На нонешнем земском собрании, сказывают, порешили догнать до двадцати копеек с десятины, вот и вертись тут, как знаешь!

— Как так до двадцати?! Да не может быть?! Господи! — пришли в неподдельный ужас остальные крестьяне. — Что ж это совсем в раззор хотят, что ли?! Да нет Иван, ты это тово... верно ли слышал-то? от кого?

— Чего не верно! — Сам вчерась только, из городу вернулся, свои же гласные в управе сказывали.

— Эко дурость какая!.. Господи! И чего ж они смотрели-то, нашто соглашались? — возмутились старики. — Гласные гоже называ-

ются!..

— Что спрашивать зря! — досадливо усмехнулся Лобан. — Сами знаете, «нашто»! — Супротив непременно члена нетто пой-дешь? Куда захочет, туда и повернет.

Мужики не менее досадливо кряхтели только да головами потряхивали в неприятном раздумьи. — Вишь ты, грех какой!.. Одна напасть, да и все тут!.. И с чего же это, по двадцати-то?

— А с того, — пояснил Лобан, — что опять растраты большие по многим волостям объявились.

— Как? опять?! — удивились все собеседники, не исключая и «батюшек».

— Опять! — безнадежно махнул Лобан рукою. — Нынче один Свистунов, писарь песчанский, на пятнадцать, слышь тысьчев хватил и казенных, и общественных, да еще благодарность получил за это самое, — вот так дела!

— Ну!., уж и благодарность! Еще чего! — усомнились почтенные.

— С места не сойти! — подтвердил Лобан. — Да вот, их благородие третьева дни как

из городу^— сослался он на лесничего, — тоже, чай, слышали там. Спросите, они вам еще лучше доложат.

Лесничий подтвердил слова Ивана Лобана и рассказал, каким образом случайно раскрылась песчанская растрата. Песчанское волостное правление донесло-де по начальству, что все подати и недоимки взысканы у них в волости сполна и представлены уже в казначейство. Исправник с радости и донеси об этом губернатору, губернатор сейчас же формальную благодарность Песчанскому правлению, — ну, все и радуются, довольны, что без хлопот все обошлось, исправник спокоен, становой тоже, — ездить не надо выколачивать недоимку... Как вдруг требование к исправнику от казначейства, — понудить, наконец, Песчанское волостное правление к уплате одиннадцати тысяч казенной недоимки. Переполох, конечно. Как? Что? Какими судьбами? Поднялась суматоха, пошли писания да справки, да дознания, да то, да се, — ну, и дознались, что деньги эти с крестьян хотя и точно-что собраны, и даже сполна, но только в волостном правлении их нет, тю-тю, значит!

Стали проверять отчетность да кассу, ан тут и оказывается, что не хватает ни опекунских сумм, ни общественной сберегательной кассы, ни выручки за гульный скот, ни земского, ни страхового сбора, — словом, чисто!.. Выбрали на сходе учетчиков, а те и досчитались, что всей-то растраты за пятнадцать тысяч будет.

— Ай, Господи владыко! — ужасались и ахали крестьяне, качая головами. — Эки дела какия!.. Ну, а Свистунов-то что ж? А старшина-то как же?

— Старшина, да что ж старшина? — «Знать не знаю, ведать не ведаю, деньги, мол, непрменный член приказали Свистунову на отчете держать, он-де грамотнее», — а Свистунова просто от должности уволили, да и вся недолга!.. Но только он себе и в ус не дусть.

— Как же! видел сам его в городе, — заявил Лобан, — видел друга сердечного!.. Мне, говорит, ровно что наплевать, никого я не боюсь и ничего мне не будет, потому как в руках у меня, говорит, документы есть, что я делился и с непрменным членом, и с членами управы. — Сами себя, нсбойсь, под суд не потянут,

а на собрании большинство-то за ними, — замажут, как ни на есть, не впервой!.

— Врет, чай, Свистунов-то? — усомнились-некоторые.

— А ему что врать! Кабы врал, не то б ему и было, — возразил Лобан, — а то слышь, только и всего, что от должности уволили. Нашто ему с дсньгами-то должность! Невидаль какая!

— Ну, я как же теперича насчет растраты? — спросил дедушка Силантий, пополнять-то будет?

Лесничий пояснил, что это уже все члены управы с непременною промеж себя, на собрании, своим большинством порешили. — По бывшим, говорят, примерам, — как в других волостях случалось, так и теперь, — разложить, говорят, взыскание на всех крестьян Песчанской волости да и все тут!

— И разложили? — недоверчиво спросил отец Макарий.

— А то нет! — отзвался Лобан. — Известно, как порешили, так и разложили. Им то чтло! Не самим платить! А мужицкий хребет все вытянет!

— Ну, что ж, — рассудительно заметил Никандр. — Теперь, значит, этот господин Свистунов, того и жди, отъявится в наши Палестины именьяце себе приторговывать, землевладельцем сделается, — для ценза, значит, — а там, гляди, со временем и сам в члены управы проскользнет, — тоже «по бывшим примерам».

— Проскользнет! Как пить даст! — Это верное слово ваше, батюшка! — согласились мужики чуть не в один голос. — Еще бы ему-то да не проскользнуть! Парень дошлый, — мозговитый и линию свою ведет твердо, — одно слово, молодец!

Тамара слушала да слушала все эти происходившие при ней разговоры и только делала порою на собеседников, что называется, большие глаза, полные то недоумения, то удивления. Для нее все это было не только ново, но главное ужасно дико, тогда как здесь оно — самое заурядное дело или, в наибольшем случае, сенсационная новость дня, которая через неделю, много через две потонет и забудется в омуте подобных же земских уездных новостей, делишек и плутней.

За воскресным чаем у «батюшек» соби­рался своего рода дружеский клуб, для обмена всякими уездными и око­лодковыми новостями, а подчас и сплетнями— нельзя же без этого, дело житейское! Но господствующий тон беседы все же был у них солидный и вращался около предметов серьезных или прямо насущных, хозяйственных, иногда только заходя в отвлеченную и поучительную область «божественного», или сбиваясь на политику, насчет Бисмарка, турка и «англичанки». Тут нередко друзья-крестьяне спрашивали у «батюшек» и доброго совета, как им быть в том или другом случае. Вот и нынче подошло такое, например, дело, что без совета никак невозможно: надумались некоторые крестьяне прошение от целой округи подавать об освобождении их поголовно от обязанностей присяжных заседателей в суде. Тамара слушает и недоумевает, что это за дикие люди такие, что ищут зря, как бы отделаться от столь высокого гражданского права, как обеспечение правосудия своею же общественною совестью? Неужели же они-де до сих пор еще не постигли на самом деле на практике жизни,

все громадные преимущества и выгоды такого суда для себя же самих?! Но по мужицкой логике выходит, что этот суд у них уже на загривке десятипудовой гирей висит: дойдет до мужика очередь в присяжные, и изволь он за шестьдесят, а то и больше, верст переть в город на «сецью», отрываться от полевых работ особенно ежели еще в страдную пору, нанимать за себя батраков, харчиться в дороге, харчиться две недели в городе, и все это даром, ни к чему, — кто-то там проштрафился, уголовщину сделал, а ты за это расстройство в хозяйстве неси, да траться, — ну их, и с присяжством! — одно разорение. Тамара вдумывается в их мужицкие доводы, взвешивает их сама с собою и приходит в конце к заключению, что мужики вовсе не так глупы и дики в этих своих жалобах, как казалось ей всего лишь несколько минут Назад, по первому их слову. Так было с нею и во многом другом. Из тех же сегодняшних разговоров познакомились она со многими такими сторонами сельской и земской жизни, которая прежде, изпод призмы журнальных статей и разных «интеллигентных» разговоров, представля-

лись ей совсем иначе. Здесь довелось ей, между прочим, из уст самих же крестьян услышать и сравнение нынешнего положения деревни с прошлым «доземским» временем, и опять результат вышел для нее самый неожиданный. С их слов узнала она, что теперь на средний крестьянский двор не приходится уже и половины того количества скота, какое повсюду было прежде, что денежные повинности до земства были втрое ниже нынешних, да и отправлялись к тому же все почти натурой, а теперь платеж с одной только земли до того возвысился, что многие земские недоимщики даже вовсе от нее отказываются, — берите, мол, господа земство, ее всю и пользуйтесь сами, как знаете! Надельная крестьянская земля нередко сдастся кому хочешь, дешевле чем за половину повинностей, или за выплату казне только выкупа, да и то почти нет охотников; а есть наделы, которых и даром не берут больше в обработку: вся земля уже выпажана, скотина дробится на семейных разделах,дохнет от чумы, от язвы, от бескормицы, а нет скотины, нет, значит, и удобрения, — ну, и отказывается земля родить,

хоть брось ее! Поэтому с каждым годом растет и число бобылей, бросающих свои наделы, затем что оплачивать их нечем.

— Прежде содержали мы одних господ, — жаловались старики-крестьяне, — а ноне со-держим и чиновников, и земство, а мало того, содержим еще и несколько неоплатных волостей! Затянет ли волость за два-три года недоимки, аль просто запутается в долгах, сейчас с нее земство все податные платежи долой, да на других и разложит, плати, мол, и за себя, и за неисправного, на то, мат, и круговая порука.

Удивленная всем этим, Тамара решилась наконец скромно спросить отца Никандра, неужели содержание земства может и в самом деле так тяжело ложиться на все крестьянство?

— А вот сейчас мы вам сделаем маленькую справку, — отозвался священник и достал с книжной полки какое-то уездное статистическое издание губернской земской управы. — Вот, извольте ли видеть, — подал он девушке книгу, отыскав в ней нужную страницу, — вот тут пропечатано совершенно точно и яс-

но, что всего в нашей губернии служащих по земству лиц 858 человек, — чуть не целый полк! — и все они, в совокупности, получают 250 500 рублей жалованья, не считая всех остальных земских расходов. Вот и судите, во что оно обходится крестьянской-то шкуре!

— Да это что!.. Хоть бы какая-нибудь справедливость в раскладке соблюдалась, так и той-то нету! — заметил отец Макарий и, кстати, в подтверждение своих слов, рассказал, как земские дельцы в прошлом 1877 году, под шумок войны, делили все земли Бабьегонского уезда на шесть разрядов, для обложения их налогом, по качеству и доходности. Из этого рассказа оказалось, что некоторые беднейшие волости, только потому, что в них состоит несколько имений, принадлежащих лицам «противной партии», вдруг очутились в двух высших разрядах, тогда как несколько других волостей с лучшими, наивыгоднейшими во всем уезде землями, поступили, как наихудшие, в четвертый и даже в пятый разряд, если в них попадались имения разных господ Ширрингов, Морсаковых, Агрономских, де-Казатисов, Глагольцевых, — то есть

всех воротил торжествующей и потому правящей местной земской шайки, — и это все для того, чтобы всем этим господам самим платить поменьше, а врагам и противникам их побольше. А чтобы такой фортель прошел им глаже и удобнее, придумали воротилы собирать сведения и исследовать почву да покосы в декабре, когда в полях на два аршина уже снег лежал. Наезжали тогда ихние комиссии, стонялись крестьяне с нескольких волостей в одну какую-нибудь контору, где выставлялась им водка и где собирались у них сведения по расспросам; из этих сведений безапелляционно делался общий вывод, какой хотелось самим «деятелям и сеятелям», — «свой человек» записывал все это в изданную потом на счет земства статистику, — и вот, на основании этой-то книжки и зимних рассматриваний и исследований почвы, явилось, утвержденное земским собранием, разделение всей земли на разряды. А в результате — одна часть населения в уезде плати теперь более другой, без конца и за здорово живешь! Стон стоит по уезду, зато самим воротилам отлично!

— И чего-чего тут не затевалось, и над чем только они не мудрили! — с грустно-досадливой усмешкой покачал головой отец Макарий. — Как же! Мы-де земство, интеллигенция! Мы сами и без крестьян решим, что для них нужно, мы это понимаем лучше, чем они!.. Ну, и решили!.. Позаводили было сельские банки, деньги для этого с населения усиленно собирали; но не прошло, и. четырех лет, как всё эти банки полопались, за раздачей зря всех сумм, с которых даже и процентов не получалось. Позаводили тоже артели, — и ведь какую еще агитацию вели во всяких столичных газетах! — «Артели, артели одно-де спасение! Самоуправление, самопомощь! — Ничего, мол, народу кроме артелей не надо, ничего он больше не желает, одних артелей жаждет!» — Ну, и наустроили ему артелей — по всему уезду, по всей губернии, и гвоздарных-то там, и кузнечных/и сапожных, и смолокурных, и еще там каких-то, — и все это на научных, извольте видеть, основаниях, — словно бы помешались все на этих артелях да на артельном начале, пораспихали всем им в ссуду несколько десятков тысяч земских де-

нег; те, конечно, порасхватали деньги по рукам, всяк сам за себя; которые попропивали, которые на другое что ухлопали, — хватать за работу, — нет ни работников, ни денег!.. Артели поневоле пришлось закрыть, инвентарь пораспродать, за что ни дай, в вольные руки, а земская ссуда так по сей день и гуляет за нами, — поминай как звали!..

— А сыроварни-то, забыли? — подсказал, ухмыляясь себе в бороду, дедушка Силантий.

— Да, вот еще и это! — вспомнил отец Макарий. — От артелей в сыроварни ударились, и ну благовестить, — вот она где, Америка-то истинная!.. Опять пошел дым коромыслом, земские сыроварни, образцовые фермы и ученые сыровары, сыроварные школы со студентами, с барышнями, с земскими стипендиатками, — чего-чего только тут не было!.. Завели наконец на земские деньги сыроварни эти самые, ан глядь, — на месте-то молока не хватает, приходится выписывать его из других уездов, даже из другой губернии. И вот, с одной стороны, восторги учредителей, восхваления в газетах, а с другой — вопли крестьянских ребятишек, у которых эти самые сыро-

варни отняли последнюю их питательную пищу. Завопили было наши земцы и на собраниях, и в газетах против жестокосердия сельских отцов и матерей, лишаящих млека своих птенцов, да вдруг и язык прикусили. Смотрим, что такое? С чего вдруг такой внезапный молчок? — Ан оказывается, вспомнили голубчики, что деньги-то за молоко идут на пополнение им же самим земских недоимок. Ну, и пускай, значит, голодают деревенские дети, — было бы нам наше жалованье да разъездные с наградными!

— Ну, да все же, сыроварни-то хоть держатся еще покуда, — заметил молчавший доселе капитан-лейтенант.

— Так что ж, что держатся?! — возразил ему мужик Лобан, — эдак-то и ссудо-сберегательные товарищества ихние тоже, пожалуй, держатся, да что проку-то? Опутали только свыше пяти тысячей домохозяев в одной лишь нашей округе, да кулакам на пользу порадели... Только одни кулаки от них и пользуются, — нешто мы не знаем!

— Это верно, — поддержали Лобана остальные мужики, — потому кулак, он возъ-

мет ссуду, да успеет сделать с ней пять-шесть оборотов, пока-то ещё до отдачи, — тем же мужикам по мелочи раздаст на двойной рост, — ну, кулаку оно и на руку! А только ни один мужик, опричь кулака, не сказал еще, чтоб кассия эта самая хоть эстолько ему за правду помогла бы. Только запутаешься с ней на вечных процентах да на пересрочке расписок... Платишь, платишь без конца, а долг почитай что все тот же остается!

— Это вот Агрономскому хорошо, потому как земство его распорядителем кассы этой назначило, — заметил мельник Данило, — ну, он и пользуется за это своим процентом, за распорядительность, значит, да на книги там, да на письмоводителя вычитает себе из доходов, да сам от себя еще вклады на проценты, из двенадцати годовых, делает; ему оно и чудесно: весь доход к нему в карман уходит!

— Потому-то они при этих кассиях везде своих людей и насажали, — пояснил мужик Липат. — Небойсь, знают тоже, где раки зимуют, не ошибутся!.. И так-то все вот!

— Да, так-то все вот, — раздумчиво повторил вслед за ним дедушка Силантий, сложив

свои жилистые руки промеж коленей. — Трудно жить становится! — со вздохом трянул он головой. — Что год, то труднее! А тут еще выдумали — не надо общественных магазинов, пускай капитал продовольственный вместо зерна будет, — зерно, вишь, чего-то им помешало! Зачем?

— Да, уж это и я спрошу, зачем? Понять не могу! — сказал управляющий со стеклянного завода.

— Очень просто-с! — усмехнулся ему капитан-лейтенант. — Зерно в магазинах от времени портится, затхлеет, мышь его ест, крыса ест, а деньги-с крыса не съест.

— Крыса не съест, зачем крысе! — Деньги земство съест, — с юмористической серьезностью вставил слово лесничий.

Мужики слегка засмеялись степенным, наполовину сдержанным смехом.

— Нет, ведь это, в самом деле, курьез, но очень печальный, — обратился с пояснением к Тамаре отец Никандр. — Вместе с тем как порешить запасные магазины, учредили они земскую ссудную кассу и назвали ее кассой «для содействия народному хозяйству и про-

мышленности». Намерения-то ведь какие все благие! И все это на самых широких основаниях: приходи и бери всяк, кто хочет, на обсеменение и на прочие нужды! Мужик и рад: отчего не брать, коли дают! И пошли орать, — кто двадцать пять, кто сорок и пятьдесят рублей, — кому нужно, кому и не нужно, все!.. А тем часом сельские старосты да смотрители хлебных магазинов, самовольно, за штоф водки, без составления приговоров, без разрешения управы, давай раздавать из магазинов зерно направо и налево, — потому, говорят, куда его? Все равно, теперь у нас вместо зерна продовольственные капиталы будут, — ну, и роздали все, дочиста, в какие-нибудь две-три недели, а волостные правления не сочли нужным даже донести об этом. И что же вышло-с? Крестьяне зря растратили и зерно, и денежную ссуду на обсеменение, — ну, и лопнуло все сразу: ни зерна в магазинах, ни продовольственного капитала п кассе, ни возврата ссуды, ни процентов, — ровнехонько-таки ничего!.. И теперь из пустующих магазинов растаскивают мужики не только дерево, но и кирпич из фундамента, а хлеб запасный су-

ществует лишь на бумаге, в земских отчетах. Ну, а как ежели при этом да вдруг грянет заправский голод, тогда что?

Мужики только вздыхали да потряхивали головами: они сознавали неотразимую, грозную правду этих слов и чувствовали полное свое бессилие перед бедой, если, не дай Бог, она нагрянет.

— Простите, батюшка, но вы рассказываете что-то ужасное, невероятное просто! — сказала отцу Никандру Тамара. — Ведь есть же наконец и власть какая-нибудь!.. Что же власть? Что же земство, администрация, правительство?

— То-то и горе, что властей у нас как быдто и много, а настоящей-то, заправской, ни одной, — заметил кузнец Силантий.

Тамара перевела с него недоумевающий взгляд на отца Никандра, точно бы спрашивая, неужели оно и в самом деле так?

— Это он правильно, — подтвердил его слова священник. — Властей у нас в уезде действительно много, но к какой ни сунься мужик с любым своим делом, ни одна не даст ему ничего определенного, ни твердого. Каж-

дая власть у нас только отпихивается от дела, а особенно от мужицкого, — это-де до меня не касается, это надо к становому; а становой: ступай-де в земскую управу, это не наше дело; управа шлет к непременно члену, а непременный отпихивает к мировому, мировой, «за неподсудностью», к исправнику, или опять же к тому самому «становому, волостному, непременно» — куда угодно, хоть к архиерею, только отстань! — И бродит несчастный мужик вокруг да около властей, нигде не находя себе никакого распорядка, ни участия, ни решения.

— Напутать каждая власть может сколько угодно, а разрешить ни одна ничего на себя не возьмет, это верно, — согласился с отцом Никандром лесничий.

— Но как же жить при таких порядках? — спросила изумленная девушка.

— А вот, именно так, как живет теперь наша деревня, — уж на что лучше жизни! Превосходно! — пояснил он. — Конокрадство, поджоги, воровство, тайное корчемство, кляуза, сутяжничество, — вот главные прелести этой нашей жизни. Ну, вот и живем, пока Бог

на нас не оглянется...

— Поверите ли, — добавил к этим словам отец Макарий. — редко даже встретишь теперь такую деревню, где бы не было тайных кабачков и лавчонок, а ведь это все притоны для воров и склады для краденого. И все это знают, и никто пальца о палец ударить не хочет. Ведь вот, давно ли вы у нас, а сколько уже на ваших глазах было окрест пожаров!..

Тамара вспомнила, что действительно, за эту неделю село их три раза было будимо по ночам набатом, возвещавшим пожары в ближайшей окрестности. Горели крестьянские дворы и помещичьи усадьбы, горели овины и хлеонные амбары, горели скирды хлеба и стоги сена, и все это становилось жертвой «красного петуха», то от небрежности, то от неосторожности, то от поджога. Редкий вечер проходил без того, чтобы где-и-и будь на горизонте не виднелось отдаленное зарево.

— Которые хрестьяны, — заметил Иван Лобан, — по целым неделям об мну пору даже не раздеваются на ночь: боязно, вишь, как вдруг, не дай Бог, пожар али конокрады.

— «Конокрады», «поджигатели»! — пере-

дразнил его капитан-лейтенант. грустно и недовольно подфыркивая себе под нос. — А почему же у вас все эти поджигатели да конокрады остаются безнаказанными? Ну-тка? Ведь все они наперечет, и все вы очень хорошо каждого из них знаете! А попадетя который, вы же первые перед следователем в молчанку играете, — знать, мат, не знаем, ведать не ведаем!

— Ну, что не путем толковать-то! — возразил ему мельник Данило. — Знамо дело, хоща и знаешь, а молчишь, — боязно показывать-то. Ты на сво докажешь, а он тебя за это потом сожжет. Нешто конокрад боится суда? Что ему суд!.. В тюрьму приговорят? — Эка важность! Он же первый тебе бахвалиться будет, — кому-де тюрьма, а мне хоромы!.. Потому в тюрьме ему и тепло, и сыто, и компанство приятное, и заботы ни о чем никакой.

— И это тоже верно, — подтвердил отец Макарий. — А между тем, важно-то то, что безнаказанность всех этих ссль-чских преступлений плодит их число и усиливает дерзость злодеев, и что же выходит: — Выходит, что целые тысячи мирных и честных кре-

стьян живут под вечным страхом нескольких негодяев. Террор своего рода!

— Разве что своим судом-расправой, одно только и остается! — порешил мужик Липат, сопровождая свои слова выразительным и всем понятным жестом.

— Да, своим судом, легко сказать! — возразил дедушка Силантий. — А за свой-то суд что? — Самих на каторгу засудят... Нешто мало примеров! Нет, брат, тут как ни кинь, все клин выходит... Почему-то страху в людях не стало, а страху нет, затем что строгости нет... Построже-то лучше бы было, — вот что!.. А тегтсрь что? — Одно пьянство да озорство, да послабление. Жалятся, вишь, на безденежье да на нужду, — продолжал он, — а нужда-то, она в кабаке сидит, вон она где... Слыханное ли дело было, коша бы десять лет назад, чтоб у мужика приходилось продавать с молотка скотину за недоимки, а ноне сплошь и рядом... Теперича у нас вон целые десятки сел таких, что казенная недоимка зашла за двух-годовой оклад... Мирские-то капиталы порастряслись, магазинны пусты, скот ослаб... Дошло до того, что хрестьяны друг у друга хлеб

с полей по ночам воруют, — нешто прежде слыхано было такое зазорное дело!? Уж чего хуже и греха-то нет!

— Жид многому причина, — заметил Иван Лобан. — Без жиды куды легче было!

Тамару опять точно бы что в сердце кольнуло при этом «проклятом» слове.

— Какой жид? — не удержалась она, чтоб не спросить, стараясь казаться равнодушной и спокойной.

— Да всякий, какого хошь, — нешто мало сво тут!

— Это, видите ли, — пояснил ей лесничий, — причина вся в том, что благодаря нынешним деревенским порядкам мужики потеряли всякий кредит. Им дают теперь лишь ростовщики на пять процентов в месяц, то есть чисто уже на кабалу! А ростовщики эти — разные Разуваевы с Колупаевыми, даже из интеллигентных, да евреи из отставных барабанщиков, или фельдшера там, писаря, приказчики хлебные и тому подобная жидова.

— Но неужели и здесь есть евреи? — непритворно удивилась Тамара.

— А вы думаете нет?! — в свою очередь удивленно спросил лесничий!

— Да, но как же тогда черта-то оседлости? — возразила она. — Ведь существует же такая черта, я слышала, — как же это?

— Ну что ж, черта чертой, а еврейский наплыв — наплывом/Конечно, — продолжал он, — большая часть из них формально не имеет ни малейшего права на жительство в здешних местах, но ничего, живут себе припеваючи, благо полиция смотрит сквозь пальцы.

— А в земстве-то разве мало их! — напомнил капитан-лейтенант. — Посчитайте-ка: инспектор технологии Коган, инспектор сыроварения Миквиц, инспектор лесоводства Лифшиц, земский дорожный мастер Шапир, земский врач Гольдштейн, провизор земской аптеки Гюнцоург, а фельдшеров-то сколько — страсть!.. Да даже в волостных писарях сидит еврейчик Кауфман! — Что твоя Минская губерния!

— Но кто же их насажал сюда столько? — спросила, все более удивляясь, Тамара. — Мало ли тут!.. Один Агрономский, по своей про-

текции, скольких провел!

— Да и кроме Агрономского, — заметил отец Макарий. — Земство в нашем уезде, изволите видеть, считается либеральным, — обратился он к Тамаре, — ну, а в программу либерализма, это уж как хотите, а юдофильство входит обязательно.

Тамара почувствовала себя несколько неловко при этом обороте общего разговора, неосторожно вызванного, к ее сожалению и досаде, ей же самой. Почему знать, может быть, в глазах всех этих господ, и она такая же жидовка, как все эти Коганы и Миквицы; может быть, они думают, что и ее прислали сюда тоже по протекции какого-нибудь земского юдофила. Положим, если они думают так, то очень ошибаются, потому что теперь она скорее даже против жидов, чем симпатизирует им по крови; но все-таки ей оттого не легче, если эти господа заблуждаются на ее счет. Не пойдет же она ни с того ни с сего разуберять их, — нет, мол, я не такая, как вы думаете!.. Но как бы то ни было, а только она никак не ожидала, чтобы в Бабьегонском уезде, в глубине одной из центральных велико-

русских губерний, могло вдруг найтись столько евреев. Это открытие поразило ее крайне неприятно. Неужели и здесь не суждено ей от них избавиться! Она знала, что такое еврейская кагальная солидарность, и знала, как относятся евреи вообще к своим ренегатам, а потому с полным основанием могла опасаться с их стороны всяких для себя клевет, подвохов и подкопов под свою жизнь, под свой кусок хлеба и под доброе имя. Впрочем, никто, как Бог! Узнают ее покороче, тогда и взгляд на нее переменят, будут глядеть как на свою, на русскую, и не дадут в обиду. Значат же, наконец, что-нибудь русские в России!.. Да может быть, эти господа и теперь не глядят на нее как на «жидовку»... Может быть, это одно се воображение и собственная, чересчур уж чуткая, мнительность. Во всяком случае, все они знают, что она христианка и притом православная. Но дальнейший разговор о евреях в земстве был все-таки ей неприятен, и потому она поспешила переменить эту, неудобную для себя, тему, ухватившись, впрочем, за то же самое земство. Обратясь к лесничему, который, за последнюю свою поездку в Бабье-

гонск, несколько раз присутствовал на заседаниях земского уездного собрания, она выразила сожаление, что ей за спехом ни разу не удалось побывать там. — так торопили ее в управе с отъездом в Горелово! — а между тем ей так хотелось хоть раз заглянуть в заседание, чтоб иметь понятие о том, что это такое.

— Занимательного для постороннего человека мало, — отвечал ей тот, — да вам и не понравилось бы.

Тамара поинтересовалась узнать, почему он так думает, что не понравилось бы?

— Да чему там нравиться, особенно молодой девушке, как вы! — пожал лесничий плечами. — Ну, представьте себе большую комнату, вроде залы, с голыми стенами; в задней половине длинный стол под зеленым сукном, за столом — «интеллигентная» часть гласных, а позади них, на скамейках, — гласные от крестьян, больше все из волостных старшин, да частью из писарей и старост, — словом, все люд подначальный непременно члену, который и командует им по своему усмотрению, распоряжаясь за кулисами всеми этими крестьянскими голосами.

— Ну, а в другой половине залы? — спросила Тамара.

— А в другой публика: служащие в земстве, несколько любителей и любительниц «прений», в особенности стриженные барышни, — одна барышня интересуется таким-то хлестким оратором, другая таким-то, похлестче, — затем, несколько молодых «интеллигентов» из недоучившихся «учащихся», несколько «поднадзорных» и неприменный корреспондент-обыватель. Впрочем, публики вообще немного, но атмосфера невозможная, потому что все это заседает и постоянно пыхтит папиросами, так что даже неисходная пелена дыма стоит в комнате. Курят все: и гласные, и публика, и барышни, и даже сторожа с рассыльными, а от крестьян распространяется, сверх того, букет сивухи. Пока интеллигенты «дебатируют» или грызутся с «меньшинством», гласные от крестьян только потеют да икают, а больше все дремлют себе, с носовым присвистом, самым оезмятежным образом, и просыпаются только тогда, как приходит время баллотировать какой-либо вопрос, — ну, тут уж они, как бараны, только и глядят все

на непременною: подыметъ непременно с места, — подымаются враз и они, сидит он — сидят и они, как пришитые, станет непременно с правой стороны баллотировочнаго ящика, — значит, надо класть направо, станет с левой, — вали налево! Таким образом и получается «большинство». Механика самая нехитрая!

— И... и только? — удивилась Тамара.

— Да, и только, если не считать иногда скандалов и мордобитий, но это уже дело семейное: милые дерутся...

— А слышно было, и нынешнее собрание тоже чуть было не сокрушилось, — сообщил Иван Лобан всему обществу, что ж, дело заобычное! — нисколько не удивясь, заметили крестьяне.

Тамара, не совсем уяснив себе последнее выражение Лобана, спросила у лесничего, что это значит «сокрушилось», — передралось, что ли?

— Нет, — засмеялся тот, — чуть было не состоялось, значит, за неприбытием законнаго числа гласных.

— Ведь эти земские собрания у нас то и

дело крушатся, — пояснил ей отец Никандр, — то большинство не признает прав нескольких неудобных ему гласных, то вдруг гласные не придут, или сбегут куда-то, или разъедутся прежде времени, то одна «партия» явится в собрание в пьяном виде и с треском разнесет в зале все стулья и столы, так что трезвым давай Бог только ноги! — то вдруг председатель заартачится, председательствовать не захочет, или ни один из гласных не пожелает принимать на себя секретарских обязанностей... И все это якобы из-за «политической борьбы», а в сущности, из личных дразг и пререканий.

— Картинка, однако! — усмехнулась, качнув головой, девушка.

— А, зато это все «лучшие люди», — с иронической важностью заметил лесничий. — Все они сами себя так и величают, — дескать, сок и соль земли нашей, деятели и сеятели общественной нивы, пионеры правовых порядков.

— Хорошо, но ведь должны же эти деятели что-нибудь там делать, заниматься чем? — полюбопытствовала Тамара.

— О, всеконечно, заниматься!.. Но они и занимались, — тем же иронически важным тоном подтвердил лесничий. — Прежде всего, закусывали, каждый день закусывали неукоснительно (на земский счет, разумеется). Интеллигенция закусывала сама по себе, в особой комнате, наверху, с винами знаменитой кашинской фирмы братьев Змиевых. а серо-чуть внизу, особо, с водкой Агрономского (этот уже за свой счет угощал «меньшую братию»), потом задали в клубе, по подписке, свой «семейный вечер» с акушерками; потом, как и всегда, предлагали и постановляли единогласно благодарить от лица земства то того или другого, приятного себе, члена, то разные земские комиссии, — ну-с, затем награды управским назначали (это, конечно, главное), а потом «дебатировали» разные вопросы.

— Например? — осведомилась Тамара, начиная заинтересовываться этим своеобразным сообщением и не зная еще, верить ли ему или не верить.

— Например... — призадумался на минуту лесничий, — ну вот, например, порешили ходатайствовать перед правительством об уни-

чтожении зловредного института урядников, затем просить шзавительство о предоставлении земской управе возможности безостановочно взыскивать с крестьян понудительными мерами свою земскую недоимку прежде казенной; потом разбирали и одобрили проект о том, чтобы земство мировых судей выбирало, а правительство им жалованье платило; повысили подесятинный налог, установили также новый налог с крестьян за медицинскую помощь (сверх того, что уже ими платится), по пяти копеек за совет и доктору по десяти копеек за рецепт; далее подымали вопрос о наградах священникам законоучителям за их труды по школе...

— И конечно, по прежним примерам, решили отказать? — живо спросил отец Никандр.

— Ну, разумеется, отказать! О чем и спрашивать!? — развел руками лесничий. — Денег, мол, лишних нет на эта Затем, — продолжал он, — приняли предложение почтить литературную деятельность Щедрина и Некрасова учреждением стипендий их имени.

— А на это деньги, небойсь, нашлись? — с

грустно иронической усмешкой спросил отец Макарий.

— Как и всегда, конечно, коль скоро делается подобное предложение: ведь о прибавке законоучителям в газетах писать не станут, а об этом напишут и превознесут, — пояснил лесничий. — Ну-с, что же еще?.. Да! — вспомнил он, — выбрали ревизионную комиссию для проверки управских книг и отчетов; но ведь это, вы знаете, одна только дань форме, а суть-то самая — дело, так сказать, семейное и ладится оно всегда между приятелями.

— Ну, еще бы! — воскликнул капитан-лейтенант. — Рука руку моет, и обе чисты бывают.

— Затем-с, — продолжал лесничий. — Разъездные деньги распределяли: двум членам управы по полторы тысячи рублей, да председателю училищного совета две тысячи.

Капитан-лейтенант даже с места вскочил от удивления.

— Как?! Две тысячи! — всплеснул он руками. — Это за то, что всего три раза в год заехал в две ближние школы?!

— Да, но зато они натянули экономию на

земских врачей, которым отпущено всего по двести рублей на разъезды.

— Что такое?! Да не может быть!! — изумились уже все присутствующие. — Земским врачам, которые в постоянных разъездах?!

— Пускай, значит, меньше разъезжают, — зачем мужику врачебная помощь? — может и так себедохнуть!

— Но двести рублей и две тысячи, это... это, согласитесь...

— Ну, это там уже их дело! — махнул рукой лесничий. — Надо же было им из чего выкраивать, если назначили разъездные и нашему лесному ревизору, и акцизным чиновникам.

— Как?! — всполошились все разом. — Коронным-то чиновникам! Разъездные?.. От земства? — Да ведь они их и от правительства получают, разъездныс-то! С какой же стати еще и от земства? По какому такому праву?

— Ну, вот, еще права захотели! — засмеялся лесничий, как на речи уже совсем наивные. — Назначили... ну, просто, потому что назначили! По благоволению управы, и только!.. Это-уж акцизным Агрономский поусерд-

ствовал, — пояснил он, — чтоб подобрее к его заводу были.

— О-ох, трещат земскис денежки, трещат! — с кряхтеньем помотал сокрушенно головой дедушка Силантий.

— Благодетели тоже народу называются! Ироды! — с горечью и злобой воскликнул мужик Липат. — Взять бы этих самых благодетелей за шиворот, да всыпать хорошенько бы... И некому вот за хрестьянскую копейку заступиться!..

— Обидно! Это точно что обидно, — зароптали и остальные крестьяне. — С мужичьей шкуры, небойсь, последнее дерут, не жалеючи, передохнуть не дадут, а тут — вали! Накось!.. За какие заслуги?.. И за что это, право, за какие такие вины государские предали нашего брата земству этому самому? Что мы такого сделали, чем проштрафились?

— Э-ах, братцы! Всего не переговоришь и на всякое горе не наплачешься! — махнул рукой дедушка Силантий, подымаясь с места. — А и что толковать, коли помочь нечем! Себя травить только!.. Ну, их!.. Спасибо вам, отцы, на чае-сахаре вашем, да на ласковом сло-

ве! — истово поклонился он в пояс обоим священникам. — И матушке-хозяйке спасибо на угощении!.. А нам пора и ко дворам. Покалякали и буде! Прощайте!

Вслед за дедушкой поднялись и прочие крестьяне, а затем разошлись и остальные гости — до следующего праздничного чая.

— Что, поучительно? — с улыбкой обратился отец Никандр, по уходе их, к призадумавшейся девушке.

Та с грустью подняла на него глаза.

— Не поучительно, а... страшно! — промолвила она, стараясь дать самой себе отчет в своих впечатлениях. — За себя страшно становится, вот что!

— За себя-а? — удивился священник. — Да чего же вам за себя-то бояться?

— Как чего! Ведь если правда все то, о чем здесь говорилось...

— Правда ль? — перебил он. — Вы сомневаетесь, правда ль? Ну, так я вам скажу, не то что правда, а разве десятая доля всей правды-то.

— Тем хуже! — воскликнула она. — Ведь если так, то как же с такими людьми жить,

как с ними дело иметь?! Подумайте!.. С одной стороны, крестьяне смотрят на тебя как-то странно, чуть не враждебно, не доверяют тебе, выражают свое недовольство школой; с другой — эти все Агрономские, от которых зависит твоя судьба... Знаете, — схватилась она за голову, быстро вставая с места. — Я просто начинаю пугаться будущего, и... если бы только была мне возможность уйти куда от всего того, я бы, кажется, ушла хоть сию минуту!.. Мне все это представлялось совсем иначе — и деревня, и служба в земстве, и само земство...

— Эка вы, еще ничего не видя и не испытав, да уж и уходить, с одного послуху-то! — пожурил ее отец Никандр.

— Да что ж, если рвать, так уж лучше вначале и самой, чем ждать, пока тобой распорядятся другие.

— Уходить незачем и бояться нечего, — успокоил он Тамару, подумав над ее словами, — а надо только знать, с кем имеешь дело, и не строить себе напрасных иллюзий. Тогда и разочарований не будет.

— Совет, пожалуй, хорош, — согласилась девушка, — да не совсем-то по моей натуре.

— О, полноте! Смотрите на все на это несколько со стороны; представьте себе, — продолжал он, — что вы зритель в театре, и перед вами разыгрывается современная комедия из земской жизни, от которой вам порой смешно, или грустно, порой досадно, даже противно местами; но — какова бы ни была мораль пьесы — это все-таки не помешает вам возвратиться из театра домой такой, какая вы есть, и заняться своим собственным делом.

— То есть, другими словами, ваш совет — относиться ко всему и ко всем безразлично, — не так ли? — спросила Тамара.

— Ну, конечно, — согласился отец Никандр. — Было бы из-за чего копыя ломать! А то из-за плохих актеров и плохо поставленной пьесы!

— Да, но ведь я от этих актеров завишу, — возразила она, — и притом же, мне самой приходится играть некоторую роль в этой пьесе.

— Что ж делать! — пожал он плечами. — Все мы, более или менее, от каких-нибудь актеров зависим, — на то и жизнь, и с этим ни-

чего не поделаешь. А что до вашей роли, то извините, — поклонился он ей, — роль эта настолько маленькая, незаметная, что ею вам смущаться не приходится.

— Полно, отец Никандр! Не дело ты говоришь! — вступился не совсем довольным тоном старик Макарий. — И роль совсем не маленькая, и дело вовсе не ничтожное... И если не верить, что оно благое и большое дело, так лучше за него и не браться! А оне, — указал он на Тамару, — слава Тебе, Господи, принялись как должно... Тут, брат, смущать или проповедовать равнодушие не годится... Где бы поддержать, а ты...

— Да, но вот, если этому-то делу мешать станут, тоща что? — поспешила заговорить Тамара из опасения, как бы дальнейший разговор в этом роде не принял между тестем и зятем несколько острого характера.

— Мешать? — повторил за ней отец Макарий. — А вы все-таки продолжайте его по совести, как Бог велит... И ежели сознание в вас крепко, тогда нечего смущаться. Бог не выдаст, Агрономский не съест!

— И то правда! — беззаботно согласился

молодой батюшка. — Крестьянские батьки с
матками за вас будут.

VII. В ПРАЗДНИК НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ

После чая, пока до обеда, пошла Тамара вместе с обоими «батюшками» прогуляться по селу, посмотреть на базар, да на то, как в праздник народ гуляет, — благо день ему выдался сухой и солнечный. По оживленной улице носился смешанный гул голосов, торговых выкриков, хмельной ругани, визгливых девичьих песен и звуков нескольких гармонок, раздававшихся не только на базарной площади, но и в разных местах и концах селения. Несколько пьяных мужиков заметила Тамара еще утром, когда вместе со своей школой шла к обедне, а теперь число их значительно увеличилось. Попадались навстречу не только пьяные мужчины, но и пьяные бабы, и даже мальчики-подростки лет пятнадцати. Гнедки, савраски и серки, запряженные в пустые телеги, вытянувшись тесными рядами перед колодами и коновязями у трактира и питейных заведений, уныло ожидали без корма своих загулявших хозяев. На

инных телегах и возах, где была еще кое-какая кладь, купленная на базаре или привезенная с собой на продажу, сидят скучающие без отцов и матерей малые дети, или свои собаки, оставленные при клади для охраны имущества, пока батьки с матками гуляют в «заведениях». Перед крыльцом каждого из этих заведений стояло по отдельной толпе молодых парней, играющих в кругу между собой в орлянку, и неслись оттуда то победные возгласы, то азартные споры, доходившие иногда до взаимной потасовки. На площади, частью прямо с груженных возов, частью с рогожек, разостланных на земле, окрестные кустари продавали свои изделия; кадушки, коромысла и ведра, деревянные ложки и миски, ободья и новенькие санки, муравленные горшки, кувшины и глиняные уточки-свистульки, звуками которых мальчишки там и сям оглашали базарную площадь. Вот сбились в кучу овцы, пригнанные на продажу, мычит бычок на смычке и хрюкают молодые свинки, выведенные с той же целью. Вот стоят, окруженные пестрой толпой девушек, баб и ребятшек, телеги с «красным» и «панским» това-

ром и ятки с деревенскими лакомствами, здесь висят пестрые ситцевые платки и стеклянные бусы, связки баранок и бубликов, и выставлены ящички с мятными пряниками, рожками, леденцами, и холщовые мешки с калеными орехами и тыквенными да подсолнуховыми семечками. На женщинах и девушках — ни на ком не видать ни штофных шугаев, ни сарафанов, ни старинных головных уборов, составлявших когда-то роскошь и гордость каждой семьи и передававшихся из поколения в поколение, от бабушек внукам в приданое. Все это было когда-то, да сплыло... все давно уже перешло в руки ростовщиков и кабатчиков, и от них переправлено в жидовские лавочки, в Москву на Зарядье, или в Петербург, в Александровский рынок. Теперь уже сельские бабы и девушки «подражают моде». Теперь они все рядятся в ситцевые «немецкие» платья красного, желтого и розового цвета, с оборками, тесьмой и кофтами; на каждой из них непременно малиновый или ярко-зеленый передник: на головах у девушек пестрые ситцевые платочки, а у баб большие шерстяные платки; на ногах козло-

вые, а то и «прунолевые» ботинки, — даже башмаков носить они уже «не согласны»: башмаки да коты ныне только старухи носят. Крестьянские парни, все без исключения, щеголяют тоже на немецкий «скус», непременно в синих или черных суконных «спинжаках» и «жалетках», из-под которых алеют выпущенные наружу кумачовые или цветные ситцевые рубашки; на голове — суконный картуз с козырьком, а на некоторых даже котелки «городского фасону»; ноги обуты в высокие сапоги со скрипом, у иных же щеголей даже блестящие резиновые калоши поверх сапог наде-ты, хотя на дворе сегодня вовсе не грязно, так как легким ночным морозцем подсушило почву; но это и делается вовсе не из-за грязи, а ради «форсу». В руках у многих парней красуются нарядные «гармоники», хрипящими звуками которых они немилосердно оглаша-ют на разные лады площадь и улицу. Многие мужики, перевалившие уже за средний воз-раст, тоже из «подражания моде», облеклись в картузы и спинжаки. Одни только пожилые люди да старики придерживаются еще стари-ны, оставаясь верными зипуну да чуйке. Они

чинно сидят себе на завалинках перед избами, беседуя между собой, а старухи, ради воскресного дня, празднично выглаживают на народ из оконцев. На многих окнах видны белые занавески и горшки с цветами.

— Что же это старики-то говорят, что все в деревне пошло к худшему, на разоренье да на нищету? — заметила Тамара, обращаясь к своим спутникам. — Воля ваша, не вижу я этого! Напротив, поглядите вон: пестряди и поскони уже ни на ком не видать, а все миткаль, да кумач, да ситец; лаптей тоже не заметно, и босиком никто не ходит; лучины по вечерам в избах и в помине нет, а все керосин горет в лампах; на полках самовары, на окнах цветы... Все это, согласитесь, говорит скорее за общий подъем благосостояния и вкусов, чем за упадок. Как же так это?

— Да, вкусы действительно изменились, — согласился с ней отец Макарий — но вкусы-то эти уже не сельского, а более городского да фабричного характера... Старики за то-то и корят молодых, что позаводили непосильную себе роскошь и баловство, — ведь вот оно: вместо домашней пряжи, которой и сносу не

было, пошел красивый, да непрочный ситец, вместо своей махорки жгут покупные папиросы, самодельная балалайка заменилась городской гармоникой, и так-то во всем, и все это стоит денег, и немалых денег для крестьянина, а добывать их все труднее и труднее становится.

Вот перед волостным правлением виднеются две большие группы, состоящие исключительно из мужчин. Что там такое? — Оказывается, волостной и сельский сходы, которые собираются преимущественно по праздникам, когда у мужиков более досуга.

— Ах, это очень любопытно... Пойдемте туда, — просит Тамара своих спутников, — я никогда не видала.

Подходят, остановились за толпой. Тамара прислушивается, о чем эю там галдят по несколько голосов зараз? В чем суть? Из-за чего такие споры да покоры? — В сельском кругу идет, между тем, суд да дело. Судят миром двух мужиков, Мирона Сизого да Сазона Кривого. Мирон Сизой перепахал полосу Сазона Кривого, и хотя они еще до суда помирились между собой, но несколько наиболее галдя-

щих сходчиков находят, что, несмотря на мировую, оставлять поступок Мирона без возмездия все-таки нельзя, да и Сазон не имел права мириться с Мироном помимо схода. — Тащи, значит, к ответу обоих!

— Да в чем отвечать-то? — недоумевают обвиняемые.

— А в том, что ставь на мир оба по четверти, да и вся недолга!

Мирон с Сазоном не желают ставить, — ни за что, мол, братцы! — и честью просят их «ослобонить», потому как никакой вины за собой они не знают и друг на друга не жалятся.

— А, вы еще разговоры разговаривать! Помимо схода такие дела промеж себя вершить, да еще миру не поважать!.. Так вы эдак-то? — Ладно! Коли так, запродай их полосы! У обоих запродай, и кончено! — решают все те же несколько крикунов и приступают тут же к запродаже полос Мирона Сизого и Сазона Кривого. — Кто, мол, хочет взять за себя, тот ставь миру полведра в задаток.

Подсудимые горячо протестуют, говорят, что подадут жалобы непременно члену, до

самого губернатора, коли что, дойдут.

Но крикунов и на губернатора не подде-нешь. — Ладно! — машут они на них рукой, — подьте, жальтесь по начальству, сколько хотите! С мира взять нечего, мир за свой приговор ни перед кем не ответчик; мир — сила — как захочет, так и вершит, и никто ему не указ! А станете еще артачиться, выберем в бессменные караульщики на околицу, а то с обоих душу снимем, — вот и пляши тогда!

Нечего делать, помявшись да почесав затылок, раскошеливаются Мирон с Сазоном и ставят миру по четверти каждый, — и мир по отношению к ним сейчас же прелагает гнев свой на милость. — Ну, вот и хорошо, мужички поштенные! Это хорошо, что вы промеж себя сами помирились, — худой мир лучше доброй ссоры... По Божью-то куды лучше, без споров, без сумленья! А только мира свово забывать не след! Вы там миритесь как знаете, а миру уваженье завсягды, значит, сделать должны!

И начинается далее в кругу совещание, кого бы еще привлечь к ответственности, чтоб стянуть с него на сход хоть четвертную вод-

ки.

— Что это за крикуны такие, что одни все дела вершат? — спросила Тамара у «батюшек», отходя с ними от круга, в котором началось между тем поочередное распивание взысканной водки из одного общего стаканчика.

— Эти-то?.. Это «каштаны», — улыбнулся в ответ ей молодой батюшка, заранее уверенный, что ее поразит такое чудное и неожиданное слово.

— Каштаны? — переспросила девушка, думая, не ослышалась ли. — Какое странное название!.. Что ж это такое, каштаны, — кулаки, что ли?

— Нет, зачем кулаки! — Каштан не кулак, — пояснил ей отец Никандр, — каштан — это просто дрянной мужичонко, лентяй, мироед, горлопан, который в союзе с несколькими такими же каштанами-односельцами умеет громко и бойко орать и ворочать всеми делами схода.

Из дальнейших объяснений относительно каштанов и каштанства Тамара узнала, что делит ли сход землю, сдаст ли в аренду оброч-

ные статьи, снимает ли сам поля, луга и леса, — все это делается по усмотрению и благоизволению одних лишь каштанов, и все совершенно бесконтрольно, и все не иначе как с водкой. Нанимают общественного пастуха — дери с него водку, нанимают на селе въезжую избу — с хозяина ее водка; надо мужику получить ручательство общества на заем денег — опять-таки водка! Старому солдату не дадут без водки приговора о бедности, для получения от казны трехрублевого пособия. Нсподдающиеся разверстке клины и загоны при переделе земли непременно «пропиваются» миром на счет тех, кто желает ими воспользоваться. А уж при выборах сельских должностных лиц для каштанов великий праздник и раздолье: тут уж они тянут по ведру и с того, кто хочет быть выбранным, и с того, кто не хочет; волостные старшины иначе и не выбирают, как за несколько ведер водки.

В это самое время в присутственной комнате волостного правления шел суд. Тамаре захотелось поглядеть и на него, как и что там делается.

— Да чего там глядеть-то! — стал отговаривать ее отец Макарий. — У нас в волости, я вам доложу, отправление правосудия совершается наполовину в правлении, а наполовину — вон в том приятном заведении, наперекоски, — указал он на трактир по ту сторону улицы. — Там все желающие могут смягчать сердца судей посильными приношениями и угощениями; а как один из судей водки у нас не приемлет, так его ублажают пряниками и медом.

Тем не менее, Тамара с молодым «батюшкой» пробралась сквозь толпу, заполнявшую собой улицу перед правлением, равно как лесенку, крылечко и сени последнего. В этой толпе, на улице, она заметила какую-то небритую, полупьяную личность с помятым лицом и с кокардой на замасленной форменной фуражке. Личность эта с жаром внушала что-то двум каким-то обалделым от неразумения мужикам, ссылаясь на такие-то статьи и такие-то пункты. Другая, подобная же личность, только уже без кокарды, но зато с либеральным пошибом всей своей фигуры и физиономии, обросшей густой и неопрятной рас-

тительностью, терлась между мужиками в сенях и, рассматривая чье-то прошение, сильно критиковала его, тоже со ссылками на статьи и пункты. Вся присутственная комната дс тесноты переполнена была народом. В переднем углу, под образами и частью под портретом на боковом простенке, заседали за большим столом так называемые «старички степенные», — трое судей в чуйках, со знаками на груди, — а сбоку волостной писарь, достаточно уже наспиртованный, строчил на бумаге заранее predetermined решение, к которому судьям оставалось только, ничтоже сумняся и не мудрствуя, прикладывать печати. Двое из судей находились уже в некотором подпитии, а третий (Тамара не могла не улыбнуться, вспомнив слова отца Макария) действительно жевал медовую коврижку. Перед столом стояли двое тяжущихся со своими свидетелями, а между ними, выступив на шаг вперед, нагло и велеречиво ораторствовала какая-то подозрительная, испитая и цротягновенная личность с длинной шеей, что-то вроде городского забулдыжного мещанишки, в длиннополом сюртуке и с мировым уставом

в руках. О чем собственно судились тяжущиеся стороны, разобрать было невозможно, тем более, что Тамара пришла уже в середине дела. Видела она только, что пока длинношей мещанин витийствовал каким-то дьячковски-деланным голосом и проповедническим тоном, ссылаясь на статьи и пункты каких-то узаконений и кассационных решений, — «старички степенные» сонно моргают отяжелевшими веками посоловелых глаз и то и дело клюют носом, усиленно перемогая одолевшую их дремоту, а стороны и свидетели вполголоса считаются и переругиваются между собой, уличая в чем-то друг друга и не обращая ни малейшего внимания ни на судей, ни на нанятого витию. В нагретом и спертом воздухе присутственной комнаты, от множества скопившихся в ней людей, стояла ужасная духота и пахло пбтом, сапогами, луком и сивушными испарениями. Все это вместе составляло такой ошибающий букет, что Тамара не могла вынести его более двух-трех минут и поспешила выбраться из толпы на улицу.

— Скажите, пожалуйста, что же это за

странные личности такие, — в сенях один, и здесь вон другой, с кокардой, и там этот длинношей? — спросила она отца Никандра, очутившись уже на свежем воздухе.

— О, это одно из величайших зол крестьянской жизни! — отвечал он ей. — Это наши сельские, бродячие «аблокаты».

— Да из каких они? — поинтересовалась девушка.

— А всякие-с: какой-нибудь проворовавшийся писмоводитель, выгнанный полицейский чиновник, некончалый забулдыга-семинарист, пропойца-под надзорный из плутяг, и тому подобный беспардонный люд... И развелось их у нас по всем кабакам и трактирам видимо-невидимо.

— И что же они тут делают?

— А вот, шлятся да сутяжничают, как видите. Ведь он караулит мужика повсюду: в кабаке, и на базаре, и просто на улице; должника учит как отделаться от долга, кредитора — как содрать с должника вдвое. Так-то вот и сосут мужика, и развращают.

— И неужели их терпят и им верят? — удивилась Тамара.

— О, еще бы! Да и как не верить, если у всех на глазах живые примеры, как иной такой ловкач выигрывает заведомо неправые, даже темные, нечистые дела, пользуясь неопытностью противника и формальным отношением к делу мирового! Ведь этот-то формализм мирового суда, — пояснил священник, — совсем не свойственный ни складу мужицкого ума, ни мужицкому быту, — к несчастью, он-то и отдал всецело крестьян в руки аблокатов, а эта тля развила уже любовь к кляузам до того, что иные мужики судятся между собой по нескольку лет, просуживают все свое добро, остаются нищими и все-таки продолжают шляться по судам, за сто и более верст от дому, потому что аблокат науськивает.

— А вот и наш дедушка Силантий! — указал отец Макарий на кузнеца, сидевшего вместе с соседом, Иваном Лобаном, на завалинке своей избы.

— А что же вы, господа, на сход не идете? — любезно обратилась к ним Тамара. — Там вон судят и рядят теперь такие дела, что ваш голос, может быть, и пользу принсс бы.

При этом замечании, показавшемся обоим мужикам несколько наивным («вишь ты, мол, барышня, поучает тоже!»), они сначала переглянулись между собой, а затем Лобан, глядя на нее, даже снисходительно как-то улыбнулся.

— На схо-од? — удивленно поднял, между тем, на нее глаза Силантий. — пет уж, госпожа, не ходоки мы на сход- то, нечего нам делать там.

— Как так? — удивилась она. — Разве вас не интересуе общественное дело?

Мужики опять только улыбнулись на этот, еще более наивный, вопрос, так что' девушка даже несколько сконфузилась.

— Какое там тебе обчественное дело! — презрительно махнул рукой Силантий. — Прежде вот, кажинное обчественное дело начиналось у нас молебном, а ноне водкой... Но не нет дела, чтобы решалось на сходе без водки, а спьяну-то что уж за решенье!.. Нет, Бог с ними и совсем!.. Мы уж сколько годов не ходим, — чего нам?!

Отец Никандр, заметив некоторое смущение девушки, взявшей, по незнакомству с де-

лом, несколько фальшивую ноту в этом разговоре, поспешил пояснить ей, что из-за таких порядков, какие завелись на мирских сходах с конца 60-х годов, хорошие, уважающие сами себя мужики давно уже перестали ходить на эти сходы и даже дошло до того, что если мужик хочет перед кем-нибудь похвалиться своей трезвостью и вообще порядочностью, то он первым же делом заявит о себе, что я-де на сход ни ногой!

— Верно! — подтвердил ей Лобан, — потому больно уж дело это зазорное!

— У нас, я вам скажу, госпожа, вот како дело однава было, — начал слегка внушительным тоном дедушка Силантий. — Был у нас на селе один мужик тут, Григорий Соколоп, — хороший мужик, обстоятельный. Вот, только каштаны и положили на сходе, — не сметь работать по пятницам — чтобы все, значит девять пятниц, от Пятидесятницы до Прасковей-пятницы, гулять, а кто выйдет на работу в пятницу, того, значит, пороть. Но только Григорий Соколов не взял, значит, того во внимание и выехал во сѣдму пятницу косить, благо погода стояла. А каштаны за это за

самое сейчас его на сход, да и приговорили выпороть. Да не долго думая, заголив мужика, седобородого, тут же, перед всем миром, в кругу и высеки. А он птши домой, да от экого сраму в сарае на вожжах и повесься! Вот оно, каковы сходы-те наши! Пойду я на сход, а они, не ровен час, и меня драть разложат, чуть-что им поперечишь... Нет, уж Бог с ними! Пущай сами промеж себя секутся, а за нами недоимок нет, все повинности, — слава-те, Господи— справлены, нам, значит, и на сход ходить не для чего!

Покалакав еще минутку о том, о сем со стариками, «батюшки» с учительницей простились с ними и пошли себе гуляючи далее по селу. Только вот, навстречу им попадается несколько разряженных по-воскресному девушек, — идут рядком по улице, одни подсолнуховые ссмячки на ходу луцат, другие звонкую песню в унисон закатывают. А вокруг их увиваются три-четыре молодых парня, в «спинжаках» и с «гармонками».

— Интересно бы послушать, что поют они, — говорит Тамара.

— А что ж, приостановимся, пожалуй, да и

пойдем потом сторонкой, рядом с ними, — предложил Макарий, — вы и прислушайтесь.

— Это хоровод у них? — спросила девушка, знавшая доселе о хороводах лишь по учебным пособиям к русской словесности.

— Нет, какие уж теперь хороводы! — разочаровал ее отец Никандр. — Хороводов больше не водят и даже вместо трепака и «русской», отплясывать по-своему «кандрель», да «лянце», да «вальцу», да «аля-пальку».

— Для Тамары это послужило предметом нового удивления. — Так вот куда и какая пошла уже «цивилизация»!

— Да, теперь в деревне чаще услышишь что-нибудь в роде «Стрелочка», чем любую из старых народных песен, — с сожалением промолвил отец Никандр, — теперь на поселках и погулянках распевают Бог знает что за дребедень, вроде как «с водокачки вода льется, а у милой сердце бьет ся». — Это уже, как видите, поэтический продукт от проложения железной дороги.

Шеренга девушек поравнялась, между тем, с «батюшками» — и в виду их, певуны сразу застенчиво оборвали свою песню, прикрывая

себе лица с их стороны головными платочками и молча кланяясь им мимоходом.

— Что ж вы примолкли, милые? — ласково обратился к ним отец Макарий. — Пойте, пойте, продолжайте себе, — дело хорошее... Вот, и учительница наша новая любопытствует послушать ваших песен, — указал он на Тамару.

Ободренные девушки улыбаясь переглянулись между собою, перекинулись друг с дружкой несколькими словами, и затем одна из них — запевальщица — затянула звонким и несколько визгливым голосом продолжение прерванной песни, которую затем, на втором стихе, подхватили и все остальные подружки. Теперь Тамара ясно могла расслушать слова. — «Столь я сахару не съела», пелось в этой песне,—

*«Столь я чаю не спила,
Сколько слез я пролила.
Через блюдце слезы льются,
Не могу сердце унять».*

— А, знакомая песня! — заметил, обратясь к Тамаре, отец Никандр. — Это у них «модная»; а то есть другая, в таком же роде, так та еще поновей помоднее, — в той говорится:

*«Я от чаю все скучаю,
А от кофию грущу,
Щиколату не желаю,
Лиманату не хочу».*

В это время, с другой стороны подходила, с папиросами в зубах, гуляющая ватага спинжачных парней, один из которых, в котелке на затылок, подыгрывая себе на гармонике, распевал в сентиментально разухабистом роде:

*«Я стою на галдарее,
Сам держу в руках кольцо».*

Вагага эта прошла себе мимо, без поклонов священникам, как бы не замечая их и не смущаясь их присутствием, а потому не переставая курить и горланить. Кое-кто из ватаги задрал только словами встречную компанию с девушками, любезно обозвав этих последних «мокрохвостыми», на что их парни, в свою очередь, ответили задирщикам какими-то, не менее приятными, замечаниями, и на том обе стороны разошлись, без дальнейших, на сей раз, последствий.

*«Присылай, друг, поскорее
С кутрамаркой письмецо!»*

«С кутрамаркой письмецо!» раздавался уже позади все тот же разухабистый, фабрично развращенный голос.

— Бог знает, что такое! — в недоумении пожала плечами Тамара. — «С кутрамаркой письмецо»... И откуда только заимствуют они такие глупые песни!?

— Это еще что, — отозвался не ее слова отец Никандр. — Тут по крайней мере, есть хоть какой-нибудь смысл. А ведь сколько пошло уже меж народа песен, где, кроме набора отдельных стихов да рифм, нет ровно ничего! Начнет, например, такая песня с описания каких-нибудь «куликов», а кончит цинично «попом», коснувшись в середине и «медведя, зверя злого», и «чугуночки лихой», и «портного городского», и невесть чего еще, совершенно несообразного и глубоко пошло-го. Вот что печально-с!

— Но что ж это, по-вашему? Неужели и в самом деле вырождение народной песни? — с горечью спросила девушка.

— Увы! — кажется, что к тому идет, — с сожалением покачал он головою. — И все это под влиянием отхожих промыслов, городских

трактиров, фабрик, да еще, благодаря чугунке, от шатаний наших женщин «по местам» в городах и столицах.

— Ну, это еще полбеды было бы, если б оно ограничивалось одною только песней, — заметил отец Макарий. — А главная беда-то в том, — продолжал он, — что все эти шатания да фабрики вносят в крестьянские семьи ужасную заразную болезнь, которая разъедает у нас целые деревни, вносит разлад семейный, разврат, разложение. Вот где злое горе-то!.. И если подобные явления мы видим в таких «медвежьих углах», как наши Бабьегонские веси, то что же там, где ближе к большим городским и фабричным центрам?.. И никто об этом подумать не хочет, — вот что, по истине, страшно!

* * *

Уйдя после обеда к себе, Тамара присела на скамейке школьного крылечка и призадумалась.

Волостной и сельский сходы уже разошлись, и пьяные «каштаны» отправились допиваться до положения риз в «заведения». Приезжие крестьяне, частью распродав, а ча-

стью и не успев сбыть свои, привезенные на торг изделия и продукты спешили закупать себе в лавочках то, что было им потребно для домашнего обихода, и затем мирно разъезжались восвояси. Начинали разъезжаться и те из окрестных мужиков, что услаждались большую часть дня в питейных заведениях. Эти, по большей части, гнали спьяну по улице во весь дух своих гнедков и саврасок, неистово гукая и ухая на них всею утробой и хлеща по чем ни попало и плетью, и вожжами. Другие же, допившись «до тихости», заваливались спать в пустую телегу и предоставляли себя на волю собственной лошаденки, — довезет, мол, как ни есть до дому, дорога знакомая! — Продолжали гулять в «заведениях» и на улице одни только гореловские. Мальчишки дрались между собой или жарили в бабки и, где случится, подбирали и докуривали окурки папирос, бросаемые более взрослыми парнями; девушки еще звонче разливались в своих «модных» песнях, а парни во всех концах села «наяривали» на гармониках. В кучках народа, что стояли перед кабаками, нередко подымался шум и спор из-за «орлян-

ки», и начинались драки, кончавшиеся разорванными рубахами и расквашенными мордами. Все чаще и чаще попадались на улице хмельные мужики, влачащиеся нетвердою походкой домой, опираясь на своих трезвых хозяек. Пьяный говор, гомон, уханье, песни и ругань стояли в воздухе... Где-то уже ошалело орала осипшим голосом «караул!» и в канавах лежало несколько тел, упившихся до бесчувствия. А под вечер, вместе с визгом и смехом ловимых парнями девушек в «горелках», стали раздаваться перебранки и вопли баб, избиваемых пьяными мужьями. — Чем ближе к вечеру, тем диче и безобразнее становилась вся эта печальная картина, от которой защемило наконец сердце у Тамары.

Стала она перебирать в уме все свои впечатления нынешнего дня, всё, что довелось ей увидеть самой и услышать от других, — и чувство полной безотрадности начало при этом невольно заползать к ней в душу. Она уже не столько думала о самой себе и своем будущем, сколько обо всем том, что прошло сегодня пред се глазами. «Какой же, однако, вывод изо всего этого?» — думалось ей в эти

грустные минуты. «Упадок народа?.. Измельчание и вырождение его духовных и нравственных сил?.. Но нет, кто, подобно ей, видел этот народ во время последней войны, в лице солдата, который та же плоть от плоти и кость от кости этого самого народа, тот не может так думать, — это было бы грешно и несправедливо. Да и можно ли допустить мысль об измельчании и вырождении, когда еще так недавно, на ее глазах, этот самый народ являл столько подвигов истинного героизма и самоотвержения, столько христианского смирения в своих великих трудах, столько долготерпения, дисциплины, безропотной покорности судьбе и долгу, и столько теплой, глубокой веры среди страданий на зимних биваках и по госпиталям, где ей самой приходилось иметь с ним дело. Нет, не может быть, чтоб это было вырождение!.. Нет, это даже не измельчание, а что-то другое... Но что? — это го-то вот она и не знает, и даже понять не может, а видит только, что все здешнее до крайности прел» тиворечит тому, что было там. Но где и в чем лежат причины такой разницы и противоречия, — самой ей ни-

как пока не додуматься. «А это оттого, что я не знаю этого народа, что я чужая, сколь бы ни хотелось быть с ним седею!»

— О чем вы, барышня, так призадумались? — неожиданно подошел к ней уже в сумерках отец Макарий. — Зову, зову вас еще издали чай пить, а вы и не слышите.

Лицо его показалось Тамаре таким добрым, ласковым и разумным, что сердцу ее неудержимо захотелось высказаться пред ним сейчас же, не откладывая, а так, как есть, по первому порыву, — и она раскрыла старику все свои думы и сомнения, тяготившие в эту минуту ее душу.

Тот задумался над ее словами.

— Мне и самому не раз такие мысли приходили в голову, — тихо заговорил он, со вниманием выслушав ее до конца. — И сам я тоже думал над тем, что вам теперь кажется таким несогласимым противоречием... Да, в прежние времена, пожалуй, такой распушенности не было, — продолжал он, подумав, — а пошло все такое с тех пор, как «порвалась цепь великая», хватив «одним концом по барину, другим по мужику». Прсжнсе-то руши-

лось, а новое еще не сложилось.

— Господи, да сколько же лет еще ему складываться! — воскликнула, даже с каким-то безотносительным укором, Тамара.

— Ну, это как в руке Божией... а только сдастся мне так, что все-таки явление это временное, преходящее... Вы говорите, война, — продолжал он. — Да ведь на войне-то твердая и сильная власть была, идея была — ну, значит и порядок был, дисциплина, и дух народный мог проявляться во всей мощи. А здесь — где она, власть-то? У кого? Кисель один, и только, — ну, во все стороны и ползет!.. Это уж, как хотите, последствие той безурядицы, да общего равнодушия, да безпринципности, да распущенности, которые там вон, повыше... А мы что, — мы люди маленькие, у нас тут невольное только отражение того, что творится там, в этих... интеллигентных, так называемых, сферах, в столичных. Ежели кончатся, даст Бог, там все эти ихние шатания, тогда другое дело! Пускай только переменятся условия там, да почувствуется повсюду твердая и разумная власть, — переменится все и здесь, поверьте!

Эти простые слова старого священника разом осветили для Тамары непонятную ей доколе причину целого ряда явлений, казавшихся ей столь противоречащими друг другу, — и все ее сомнения и недоумения рассеялись. Если верит в светлое будущее этот старик, стоящий уже одною ногою в могиле, то как же не верить ей, полной еще сил и готовности работать! И вера эта тем более была ей по-сердцу, что она соответствовала тому серьезному настроению, с которым с самого начала выступила Тамара на новое свое скромное поприще сельской учительницы. Ей так хотелось верить по-прежнему, как в дни войны, в этот народ, изучать его, работать для него, сродниться с ним и быть самой вполне русскою. Неужели это ей не удастся?..

VIII. НА ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Волостной старшина был прав, когда, успокоившая Тамару после пробного урока, сказал относительно разобидевшихся на нее крестьянских отцов, что «поартачатся да таковы же будут». Действительно, спустя несколько дней после этого пробного урока, мальчики, уведенные тоща своими отцами из школы, явились в нее частью сами, частью в сопровождении своих маток, которые пришли опять-таки с «поклонным» и, прося учительницу не сердчать на их мужиков, а заняться с ребятами поостороже, высказывались, что в обучении главное дело для них — это заручка льготными свидетельствами.

— Только из-за этого самого свидетельства и неволим ребят, — говорили они. — А без того, что в ней, в школе-то!

Таким образом, Гореловская школа мало-помалу с каждым днем пополнялась учениками. Тамара отделяла «звуковиков», только что приступавших и изучению азбуки по

«звуковой системе», от остальных мальчиков, поглотивших уже прежде легкую премудрость «звуковки», и посвящала первым утренние, а последним послеобеденные часы занятий. Пока «звуковики» постигали смысл разных «б», «в», «г», старшее отделение упражнялось в списывании отдельных букв и слов с классной доски, на которой учительница предварительно писала для них каллиграфически эти слова и буквы.

По окончании урока со «звуковиками», она либо отпускала их домой, либо удерживала на некоторое время в школе, для упражнения в хоровом пении вместе со старшими. Но прежний характер пения был совершенно изменен ею; согласно желаниям самих крестьян, вместо разных припевок насчет котов, козлов и т. п., дети у нас пели «Отче наш», «Достойно есть» и другие молитвы, в чем помогал ей и отец Макарий, а также познакомились и с народным гимном, и все обучение это шло у нее прямо «с голоса», на слух. Крестьяне были этим очень довольны и уже мечтали о том, что вот, Бог даст, вскоре их Ванюшки и Павлушки будут петь и в церкви, за

обедней. Это их утешало, да и самим детям очень нравилось. Изменила она прежнюю систему обучения и со старшим отделением, вместо того, чтобы морить его скукою на сухом и голом перечне рек, морей, гор и городов «по Водовозову», или на зоологическом и ботаническом отделах «Детского мира» Ушинского, где подробно описываются разные суставчики, членики, усики и сяжки насекомых, или пестики да тычинки явнобрачных и тайнобрачных растений в их постепенном развитии, что крестьянских детей вовсе не интересовало, она, по совету отца Макария, занялась с ними прежде всего рассказами из священной и русской истории, а затем арифметикой и упражнениями на костяшковых счетах. Благодаря всему этому, в классе се обнаружилось у мальчиков живое отношение к делу: они не скучали, слушали се охотно, сами задавали ей вопросы, если чего не поймут, и отвечали из пройденного осмысленно и толково. Да и отцы с матерями начинали менее недоверчиво относиться к «новой учительнице», хотя все-таки осуждали ее — зачем она оканчивает занятия с детьми еще за-

светло, когда могла бы длиться их до сумерек, или зачем учить-де «голосовать», а не «буки-аз-ба», и зачем позволяет ребятам иногда поиграть и порезвиться на несколько минут на дворе или в классе, во время перемены между уроками, — «в школу-де не играть ходят, а дело делать». Но на сетования подобного рода Тамара уже менее обращала внимания, находя их не совсем основательными. Что было дельного и справедливого в замечаниях и притязаниях отцов, все то приняла она к сведению, и с самого же начала старалась удовлетворить им, по мере своих сил и возможности, в общем, школа ее делала заметные успехи, ученики шли к ней охотно, и отцы, вообще говоря, если и не были ей вполне довольны, то все же значительно примирились с нею, видя, что ребята их поют уже «от божественного», и рассказывают дома про божественное.

Вначале ей стоило немалого труда сладить с ребятишками, которые, привыкнув дома к «улице» и ее нравам, были очень подвижны, резвы, резки и упрямы. Неусидчивость их и рассеянность, непривычка к умственному

труду и продолжительному напряжению мысли, зачастую крупная, грубая брань и драки с товарищами, даже отчасти воровство друг у друга разных мелких вещей, в роде грифелей, ручек от перьев, бумаги или карандаша, — все это доставляло ей в начале дела много неприятных и тяжелых минут и требовало от нее большого запаса терпения, хладнокровия и настойчивости, чтобы сломить все эти недостатки. Уходя из школы и расходясь по домам, ребяташки Обыкновенно разделялись на две партии — на «гореловских» и «суседских», то есть приходящих из ближних деревень, и затевали между собою на улице войну, которая почти всегда кончалась подбитыми глазами и расквашенными носами. Но на вопрос учительницы — из-за чего они так ссорятся, вся школа отвечала ей, что они вовсе-де не ссорятся, а только провожают партия партию и играют «в казаков и разбойников», это-де игра такая, а не ссора. Отцы и матки приходили к ней с выговорами и жалобами На озорство ребят, — «вы-де горазд их распускаете, баловаться много даете, пристрастить бы следовало», — и Тамара пы-

талась было и стращать, и уговаривать, и стыдить драчунов перед всем классом, но ничто не помогало, пока она не догадалась оставлять наиболее задорных и зачинщиков на час или на два в школе, после уроков. Средство подействовало, и драки прекратились, а затем, благодаря тому же средству, прекратились постепенно и брань, и взаимные ссоры. Таким образом, дело у нее мало-помалу наладилось, и ученики старшего возраста настолько уже облюбовали школу и самую учительницу, что приходили к ней небольшими группами даже и в праздничные дни, — «пришли-де вас проведать да попросить книжек, нет ли каких почитать?» Но вот это-то последнее требование и ставило зачастую Тамару просто в тупик. Выбор книжек школьной библиотеки был так ограничен, даже скуден, если не считать томов «Дела» и «Современника», что давать было решительно нечего, а новых взять неоткуда; управа же земская о выписке книжек по списку, составленному самою Тамарою, и слышать не хочет, ссылаясь в отзыве своем на то, что в Гореловской школе книг-де более, чем достаточ-

но, благодаря просвещенному и щедрому пожертвованию ее почтенного попечителя, г. Агрономского, и предложила «госпоже учительнице» удовлетворять потребность к чтению своих учеников из наличного запаса библиотеки, «где имеются даже литературные журналы и такие первоклассные писатели, как Щедрин, Слепцов, Решетников и проч.». Но Тамара, обсудив ответ управы вместе с отцом Макарием, не рискнула по совести последовать ее совету и предпочла выписать из Москвы несколько дешевых духовно-нравственных и общепользных книжек и брошюр на свои собственные деньги. В се положении это была немалая жертва; зато крестьянские батюшки с матклми были ей очень признательны.

— Уж так-то мы тебе, сударыня, благодарни, уж так-то довольни, что книжек хороших на дом от пущать стала деткам! И нам-то ведь послухать лестно, как зачнет этта Васютка читать про царей православных, да про святых жития, да про войны, что цари-то наши супротив врагов Христовых воевали, про Суворова, да про Петра-царя... или вот тоже про

Афон-гору аль про Соловецкую обитель, — и ах, сколь это все чудесно да занятно! Не оторвался бы!

Эти книжки, так понравившиеся батькам с матками, сделали то, что у них в душе сгладились последние следы недоверия к новой учительнице, убедив их окончательно, что учит она «по-божью», настоящему делу, а не пустым «побаскам».

Вскоре после этого доверие к ней крестьян начало еще нагляднее выражаться в том, что они стали приходить к ней за врачебными советами и помощью. Одна придет с жалобой, что нутро у нес пало и что чего-чего уж ей не делали, и горшок-то на брюхо ставили, и кудель-то в этом горшке зажигали, чтобы подтянуть нутро на место, да все нет легче. Другой жалуется, что жернов, сказывают, нутре перевернулся у него книзу, хлебушка не может перемалывать, и что его уже подвешивали кверху ногами на прясло, и трясли, и били по животу круглым полсном, да ничто не помогает... И тот, и другой просят лекарствица, полегчить бы им чем ни на есть, заявляя, что они ходили уж и к бабс-знахаркс в село Кня-

жево, и к матушке-попадье за крещенскою водою, и к батюшке с просьбой «отчитать» их, и все ни к чему! — Тамару вначале все это крайне удивляло.

— Да вы, чем невесть куда ходить, лучше бы к доктору пошли! Почему же вы к докторам не обращаетесь? — допытывалась она у проходящих к ней за помощью. — Ведь у вас есть теперь и земские врачи, и фельдшера с фельдшерицами, и приемные покои, и больница земская?

Но мужики только открещивались да отплевывались и от врачей, и от больницы:

— Не про нас все это, больно дорого! В больнице-то надо платить по полтине в день, — шутка-ль!.. Пропадай она и совсем!

Такое враждебное отношение к больнице у всех крестьян вообще, столь озадачившее Тамару на первых порах, стало ей совершенно понятно потом, когда она узнала, что в их же селе у одного мужика за земскую больничную недоимку было продано с молотка все его имущество, а с другой крестьянской семьи, оказавшейся поголовно зараженной от одного из своих же членов, возвратившегося

с заработков из Питера, и целиком отправленной поэтому на излечение в земскую больницу, было взыскано за лечение 165 рублей; но так как платеж этой огромной суммы был для семьи окончательно непосилен, то унес, по распоряжению земской управы, продали с аукциона все имущество, не покрывшее и половины взыска, вследствие чего взыскание остальных денег управа обратила, через полицию, на все сельское общество. Вот почему-де мужик и идет лечиться куда угодно и к кому попало, только бы не к докторам и не в больницу. — Нечего делать, пришлось Тамаре волей-неволей принять участие в этом беспомощном положении крестьян, и в особенности горсловских женщин и детей, преимущественно обращавшихся к ней за помощью. Пришлось выписать из Москвы популярный печebник, и из Бабьегонска несколько необходимых, наиболее употребительных врачебных снадобий, — и все это опять-таки на свои собственные деньги. Эта новая жертва была для Тамары тем чувствительнее, что ради нее пришлось ей отказаться на три месяца вперед от многого, необходимого в своих

жизненных, и без того уже очень скромных, потребностях. Зато крестьяне, веря ей, охотно шли к ней лечиться и принимали ее простые, но верные средства, и слава ее не только как учительницы, но и как лекарки, росла по всей округе. Вылеченные ею являлись к ней благодарить за помощь, непременно с «поклонным», в виде десятка яиц, или мешочка крупы, или живой курицы и т. п. Сначала она, было, очень стеснялась принимать все эти вещественные благодарности, но ничего не поделаешь, — надо было принимать, так как отказ от них крестьяне считали для себя за обиду.

Между тем наступила глубокая, мокрая осень, а затем и зима, и Гореловская школа наполнилась учениками так, что в классной комнате стало уже и весьма тесновато. Недостаток парт поневоле заставлял мальчиков тесниться и жаться друг к другу; оказывался уже некоторый недостаток в букварях и книгах, которые приходилось делить по одной на трех-четыре учеников разом. Если, бывало, пишет старшее отделение, то остальным не хватает или чернилниц, или ручек для пе-

рьев. Вместе с этим обнаружили и другие неудобства. Нередко приходилось воевать со старостой из-за топлива, если не привезут его вовремя, а это случалось сплошь и рядом, так как обязанность отапливать школу была разложена на всех крестьян, в виде мирской повинности. Поэтому классная комната зачастую оставалась истопленной, так что у мальчиков, бывало, руки стынут от холода, до невозможности держать перо в пальцах, а сама учительница сидит все время закутавшись с головою в шерстяной платок и завернувшись в теплую шубейку. Приходя в школу, ученики приносили на ногах осенью грязь, а зимою снег, и тем разводили ежедневную сырость в классе. Одежда их в эти месяцы состояла только из полушубков поверх портков и сорочки; полушубки эти, отсырев под дождем или снегом, прели и издавали неприятный запах, а мальчики, по привычке, оставались в них по пяти, шести часов в классе, не снимая с плеч: без полушубка холодно, в полушубке же, при этой тесноте, духоте и сырости, становится под конец жарко, — и дети сидят все в поту, и потные выхо-

дят из школы домой, а до дому иным мальчуганам из окрестных деревень надо идти в непогодь от двух до трех верст. От этого у них постоянно являлись простудные болезни, особенно же воспаление горла. В классе, бывало, все время раздается неумолкаемый кашель, воздуха мало, вентиляции ни малейшей, — поэтому начинаются головные боли, и дети ежедневно к концу занятий становятся утомлены, невнимательны, вялы, да и хама учительница нередко возвращалась после занятий в свою комнату с одурманенною головою, со стуком в висках и шумом в ушах, и кидалась, вся закутанная, на холодную постель отлеживаться часа два в тяжелом забытии, ради необходимого отдыха.

Гореловская школа, как и все вообще училища в уезде, находилась вне всякого врачебного надзора, служба, подобно им, рассадником, всяких заразных болезней: кори, скарлатины, чесотки. Ни уездный, ни земские врачи в нес и не заглядывали, как и во все остальные школы, потому что на это требовалось особое разрешение или приглашение общего собрания училищного совета; а этот совет на

самовольное появление того или другого врача в любом училище смотрел неприязненно, как на вторжение в круг действий, врачам не подлежащих. Зараза и на этот раз не замедлила своим появлением. В окрестных деревнях, а затем и в Горелове обнаружилось несколько случаев дифтерита на детях. Земская управа распорядилась закрыть на время школу и поспала на место своего члена и с ним врача Гольдштейна, да несколько набранных сим последним специальных «дифтеритных дезинфекторов» из каких-то недоучившихся медицинских студентов, молодых еврейчиков, некончалых семинаристов и блькающихся без дела девиц в звании курсисток. Я вилась вся эта компания на место в сопровождении станового и двух урядников и принялась за дело столь усердно не по разуму/ что на первых же порах вызвала со стороны крестьян не только нет доволство и ропот, но и явное сопротивление. И немудрено: земский член не распорядился предупредить крестьян заранее, а добровольцы-дезинфекторы, нагрянув на село, врывались не разбирая и в зараженные, и в здоровые избы, делали в семьях пере-

полох, немедленно выдворяли всех людей на двор, на улицу, в сараи, клетки, амбары, — «ступай, куда знаешь, хоть к черту, а нет, — сейчас урядника!» — затем переворачивали вверх дном весь дом, всю рухлядь, утварь, посуду, производили полный кавардак — Мамаево нашествие, да и только! — и начинали выкуривать заразу из каждого дома зажженной серой. Но при этом в одном месте забудут предупредить хозяйку, чтобы вынесла из избы домашнюю птицу, — и все эти куры-наседки, утки, индюшки задыхаются насмерть в серных парах; в другом — нальют в помой дезинфицирующей жидкости, не предупредив о том хозяев, а свиньи, собаки и коровы хлебнут этих помоев идохнут. Делалось все это, вероятно, по недомыслию; но на взгляд крестьян, выходило оно как будто умышленное озорство, как будто нарочно для того, чтобы вызвать со стороны населения недовольство и тревогу. — Начальство-дс так приказало! — Стали наконец донага раздевать мужчин и женщин, от мала до велика, чтоб выкуривать их оелье и одежду, — бабы и девки подняли вой «от сорому», а мужики, возму-

ценные всем этим, вышли из последнего терпения и приняли дезинфекторов в колья. Тс, было, под благодетельную защиту к урядникам, но мужики, в азарте, и урядникам бока намяли. «Дезинфекционная комиссия» струсила, разбежалась и попряталась со всеми своими «шпициальными» жилками и курсистками, и сейчас же, конечно, полетели от се членов вопиющие и взывающие депеши к губернатору, к жандармскому штаб-офицеру, к непременно члену, к председателю земской управы: «бунт! разгром! помогите! спасайте, выручайте!»— и пошла писать губерния!.. Немедленно же было распоряджено по телеграфу — выслать на место «бунта» исправника, товарища прокурора, судебного следователя; экстренно привезли туда же на подводах воинскую команду, «для устрашения и усмирения бунтовщиков»; волостному старшине приказано заготовить целый воз розог, и дело чуть было не дошло до стрельней и «секуций»; но к счастью, с приездом губернского начальства, все ограничилось только протоколами, дознанием да волостною кутузкой для «зачинщиков» (разумеется,

из крестьян), а в эпилоге — «мировым» со штрафами и тюремным заключением для тех же «зачинщиков». По мнению доктора Гольдштейна и других просвещенных деятелей, при всем их либерализме, — крестьяне несомненно выходили кругом виноваты, и их следовало бы наказать примерным образом, а вовсе не так, за то, что осмелились противиться благодетельным действиям дезинфекторов и поднять руку на таких самоотверженных служителей народу.

Недель около трех спустя, разрешено было вновь открыть Гореловскую шкапу, после того как все ее помещение подверглось самой строгой дезинфекции, выкурившей на это время и самое учительницу к «батюшкам». На все неудобства и недостатки этой школы Тамара еще раньше жаловалась волостному старшине, но тот посоветовал ей только дожидаться приезда Агрономского, — «заявите-де ему, как вернется: он почетный попечитель, он все это может, и насчет тесноты, и насчет пособиев, а я тут что же? — мое дело сторона». Пыталась она писать и в земскую управу, прося волостного подтвердить и со своей сто-

роны справедливость се представлений, но волостной и от этого отказался. — «Пиши, не пиши, без Агрономского все равно ничего не будет и ничего вам не разрешат, напрасно только бумагу марать будете». — Но Агрономского не было на месте. Отправившись на земское собрание в Бабьегонск, он разъехался с Тамарой в пути, не будучи еще с нею знаком, а по окончании земского съезда, уехал по собственным делам в Москву; из Москвы же проехал прямо на губернское земское собрание, в качестве гласного, а там — кто его знает! — может, опять в Москву, либо в Питер укатит, а может, и домой вернется, — в точности пока неизвестно. Воспользовавшись пребыванием в Горелове члена управы, по случаю дифтеритной дезинфекции, Тамара обратилась к нему с теми же представлениями, прося его в особенности походатайствовать о скорейшей присылке недостающих учебных пособий. Тот выслушал ее очень внимательно, но на все ее жалобы только сочувственно покачивал головой, приговаривая: «Ах, Боже мой!.. Ах, это ужасно!.. Ах, бедные вы, бедные!» А чуть коснулось до собственного его

содействия, член сейчас же на попятный: «мнс-дс неудобно подымать такие вопросы, это дело совета», — и посоветовал ей, точно так же, как и старшина, дождаться Агрономского. — «Вы уж это к нему... Наш многоуважаемый Алоизий Маркович, он так все это близко к сердцу принимает... он, конечно, войдет в ваше положение, пожалеет этих бедных детей... он сам увидит и сделает вам все, что лишь возможно... Вы уж лучше его подождите».

Тамара просила члена, чтобы он, по крайней мере, приказал старшине хотя бы насчет топлива, пускай бы хоть дрова доставляли аккуратно, а то когда привезут, а когда и нет, и школа суток по двое, по трое остается нетопленной.

— Да я уж приказывал и сколько разов говорил! — оправдывался старшина перед членом. — Да что ж тут поделаешь, коли не слушают! Народец тоже! Анафемский!.. Я уж и старосте, и сотскому, — свое же дети, говорю, терпят, — да вот поди ж ты, заставь-то мужика!

— Ну, вот видите, он приказывал, — обра-

тился член к учительнице. — Он с своей стороны и рад бы, но что ж, если мужики такие... не слушают...

— Я полагаю, — заметила Тамара, — настолько-то у господина старшины есть власти, чтобы заставить себя послушать.

— Да, это вы полагаете, — высокомерно возразил старшина, — а я полагаю так, что власть-то тоже с умом прилагать надо... Не штрафовать же мне мужиков из-за ваших дров!.. Везут, когда можно; а коли недосуг, — не беда, ежели когда и не вытопите, — нашим мальчишкам это ничего, дело заобычное!

— Да, вот видите ли, иногда, значит, и нельзя бывает, — снова обратился член к Тамаре, словно бы стараясь всячески оправдать старшину и хватаясь за первый попавшийся повод, лишь бы сказать в его пользу. — Он тоже должен сообразоваться... Что ж тут делать!.. Очень жаль, конечно, сердечно жаль, и я от души вам сочувствую... Но, мне кажется... я думаю, — добавил он в утешение учительнице, — я думаю, что наш почтеннейший Алоизий Маркович, — пусть только приедет, он все это вам устроит, он и способы, и сред-

ства изыщет... Уж вы лучше потерпите как-нибудь до его приезда.

Так и не добились Тамара никакого толку.

— Нашли тоже к кому обращаться! — с дружескою иронией попенял ей потом отец Никандр, когда она рассказала ему этот свой разговор. — Станет член старшине приказывать! Старшина ему понужнее вас, ссориться с ним ему не расчет, потому, как никак, все же лишний голос за него на выборах... А старшине, — тому и подавно не до дров. Что ему, и в самом деле, ваши дрова, когда он теперь всю округу в кабалу к себе прикарманивает! Есть ему когда думать о таких мелочах!

— Как в кабалу? — удивилась, не вполне поняв его, Тамара.

— А вы и не знали?!. Как же, помилуй-то! И все это из-за собственного своего великодушия — очень уж великодушный он у нас человек!.. Ну, зато и к медали на шею представлен.

И отец Никандр объяснил ей, что, пользуясь, по случаю неурожая, безвыходным положением крестьян соседних с волостью деревень, старшина великодушно предложил им

брать у него хлеб в долг, но обставил этот кредит такими условиями, что мужик, взявший займы известное количество хлеба, обязан, во-первых, возвратить такое же количество его ко времени нового сбора и, во-вторых, остальной свой хлеб, после сбора, продать ему же, старшине, по 30 копеек за пуд, и это в то время, когда цена на хлеб в данной местности держится обыкновенно около рубля за пуд, а то и более.

— Да ведь это же называется кулачество! — возмутилась Тамара.

— Самое настоящее, а вы как полагаете?

— И это старшина!.. И такого старшину терпят?!

— А кто ж его сменит? Закабаленные крестьяне, что ли? — усмехнулся священник. — Поверьте, они же первые подадут за него голос и при следующих выборах! Да и как не подать, если все они у него в лапах, благодаря все тому же «кредиту»... Ну, а для непременно члена и прочих, — продолжал отец Никандр, — он самый удобный человек и первый друг и приятель. Еще бы! — деньги займы дает без расписок — разве можно эда-

ким-то человеком пожертвовать?! Напротив, медаль ему на шею! «За усердие!» И поверьте, что выхлопочут!.. А впрочем, — прибавил он, пораздумав, — почему ему и не кулачить, если и друг его, господин Агрономский, да и другие там, кое-кто из интеллигентных, занимаются точно таким же «кредитом» и кулачат еще почище!

И Тамара узнала, что со времени войны, в последние два года, благодаря неурожаям, кулачество развилось до небывалых размеров, и не в одной только ихней округе, но и повсюду. В деревне, чем дороже хлеб, тем больше рабочих рук и тем они дешевле. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится тереться около людей денежных, у себя ли в селе, или в соседней усадьбе, и работать на них, буквально-таки, даром. Не уродился у мужика хлеб, — нечем ему ни семью прокормить, ни податей заплатить, — и идет он к кулаку с поклоном, закладывает ему сначала пашню свою под пар или под засев. И если в скудный год цена пашни всего четыре рубля с десятины, то кулак дает ему только два рубля, а этих денег мужику даже и на подати не хватит, — .и вот,

поневоле, снова делает он заем у кулака, но на этот раз уже под будущую свою полевую работу, а затем закабалит себя ему же и на сенокос, за пятнадцать копеек в день, тогда как везде в уезде нормальная цена за день косьбы стоит не ниже тридцати копеек. Приходит весна, мужику нечем засеять поле, — он опять к кулаку со слезным поклоном: «благодетель, не погуби!» — и получает зерно на засев по страшно повышенной цене. Но торговаться ему уже не приходится, благо, дают!.. Наступает срок для расплаты, а у мужика обыкновенно денег — «два била, три колотила». Кулак отбирает у него за проценты корову или лошадь, а на капитал требует новую расписку, с другим сроком, — до 1-го марта, и еще с большими процентами... И если мужик имел несчастье раз попасть в этот круговорот переписывания своих расписок, то уже друзья и соседи прямо говорят ему: «и духови твоему, аминь!» И сам он знает, что «аминь», что действительно пропал он уже навеки с мертвою петлею на шее. Проценты нарастают скоро, так что и их-то он платить не в состоянии, а не то, чтоб капитал уплачивать;

долг его растет и растет с каждым полугодием, и попадает он таким-то образом к сельскому своему кулаку или к помещику новой формации в кабалу неисходную, пожалуй, что похуже прежнего крепостного состояния.

IX. Г-Н АГРОНОМСКИЙ

К половине декабря возвратился, наконец, к себе в усадьбу и господин Агрономский. О приезде его, конечно, в тот же день стало известно на селе, и отец Никандр, сообщивший эту новость Тамаре, советовал ей подготовиться к посещению «сего гуся», так как он, по всей вероятности, дня через два-три наверное заглянет в школу, — по крайней мере, всегда оно так бывало.

— Да что ж там особнно-то готовиться! — возразила девушка, — что есть, то есть, а чего нет — скажу, если сам не увидит.

— Нет, я к тому собственно, — пояснил ба-тюшка, — что прежние учителя к его приезду всегда, бывало, натаскивают учеников, словно щенков лягавых, кого о чем спросит, значит, в его присутствии, чтобы показать степень успехов.

— И это, по-моему, лишнее, — не согласилась с ним Тамара. — Зачем? Какие есть успехи, пускай сам поверяет.

— Эх, барышня, не умеете вы, как я погляжу, товар-то лицом показывать! — в шутку

попенял ей отец Никандр. — Начальству надо непременно очки втирать, коли желаете по-двигаться, а без того оно на вас — ноль внимания!

— Ну, я повторю на этот раз слова отца Макария: «Бог не выдаст, Агрономский не съест», — спокойно сказала Тамара.

* * *

Отец Никандр не ошибся, предсказывая скорый визит Агрономского. Действительно, прошло не более двух дней с его приезда, как он уже появился в школе, присноровив свое посещение как раз к началу занятий, после полуденной перемены.

Сторож Ефимыч, впопыхах, едва успел предупредить учительницу в классе о его прибытии. У Тамары невольно ёкнуло сердце, хотя по наружности она осталась совершенно спокойною. Ей уже столько пришлось наслушаться из разных уст об этом человеке, что она не ждала себе от встречи с ним ничего хорошего и заранее приготовилась выдержать бурю и грозу, по возможности, хладнокровно, сдержанно, дав себе слово — ни в каком случае не ронять пред ним своего достоинства.

Но вот Ефимыч торжественно распахнул дверь классной, и Тамара, мельком взглянув на входящего попечителя, скомандовала детям: «встать!»

Весь класс, как один человек, разом поднялся на ноги.

— Сидите, сидите, пожалуйста, мои милые! — ласково замахал на учеников Агрономский. — Что за китайские церемонии!.. Вы не солдаты, слава Богу, и я же не губернатор какой, чтобы вскакивать предо мною! Зачем это?.. Не надо!

Но Тамара и по лицу его, и по тону голоса ясно поняла, что хотя он и отказывается лицемерно от такой почести, но в душе она ему очень приятна, и что попробуй только учительница проманкировать сю, он был бы жестоко уязвлен в своем самолюбии и едва ли пропустил бы ей это без замечания.

— Агрономский, почетный попечитель школы и член уездного училищного совета. — отчетливо и в официальном тоне отрекомендовался он девушке. — А вы — госпожа Бендавид?

Тамара, в ответ ему, молча поклонилась.

— Очень рад познакомиться, — приветливо протянул он ей руку — Так много слышан о вас от моих друзей, от де-Казатиса и Коржикова... Ведь вы рекомендованы нам Агрипиной Петровной?

— Да, госпожею Миропольцсвой, — скромно подтвердила девушка.

— Ну вот!.. Такая лестная рекомендация!.. Это одно уже, можно сказать, заранее гарантирует вам симпатии всех честно мыслящих людей. Очень, очень приятно познакомиться! — повторил он без всякого уже официального оттенка, снова пожимая ей руку, как друг и единомышленник.

Тамара все время глядела на него в некотором замешательстве и почти с невольным недоумением: как же, мол. это так? Неужели и в самом деле это Агрономский? Это-то он самый и есть?! — Заочно она воображала его себе каким-то змеем-горынычсм, чуть не Геркулесом с демагогическими замашками, с зычным грубым гатосом, наглым взглядом и грубыми манерами, а между тем, перед нею плюгавая фитюлька какая-то, — человек неопределенных лет, в промежутке между

тридцатью и пятьюдесятью годами, небольшого роста, сильно сутуловатый, с головою почти втиснутою от природы в широкие, приподнятые плечи; на гунявом темени облезлые проплешины; длинные, рыжеватые с легкой проседью волосы, по-видимому, вовсе незнакомы с гребенкой и висят неопрятными, сухими патлами, как у некоего философа, ниспадая сзади на заношенный воротник жакетки и с боков на плечи. В тонких усах и в рыжей с проседью бороде застряли какие-то крошки от пищи. В лице что-то заостренное, выдающееся вперед, губы тонкие и растянутые, но при этом в водянистоголубых, вечно увлажненных глазках царит какое-то идеально-сентиментальное, чисто голубиное выражение. Говорит он мягко и тихо, с каким-то вкрадчивым и, вместе, конспиративным оттенком, точно бы тайну какую под величайшим секретом вам сообщает, а когда улыбается — рот его растягивается еще более, точно бы каучуковый, причем верхняя губа как-то странно заворачивается кверху, обнаруживая несколько серо-желтых зубов, редких и неровно торчащих врознь. Одет он небрежно,

философом, и смотрит тихоней; но под эту деланную, напускную скромностью Тамаре невольно чуялось самомнение громадное и не меньшее же самолюбие, чуткое притом до болезненности и никогда ничего никому не прощающее. Но в общем, от г Агрономского получилось у нее впечатление скорее чего-то жалкого, мизерного, а уж никак не змся-горыныча. Говорил он по-русски совершенно правильно, но в интонациях его речи и в тонком, почти неуловимом акценте Тамаре послышалось нечто знакомое, сразу так и пахнувшее на нее Западным краем — не то польское что-то^ не то еврейское, хотя и значительно уже сглаженное воспитанием в русских учебных заведениях и продолжительною жизнью в России, среди русского общества.

— Мне бы хотелось, с вашего позволения, познакомиться с вашим методом преподавания, — как-то вкрадчиво и с усиленно деликатностью обратился он к учительнице, потирая и поджимая к самой груди свои ручки. — Пожалуйста, продолжайте, на чем я вас застал, не стесняясь мною... Забудьте о моем присутствии, думайте, как будто меня здесь

вовсе нет, и не было... Пожалуйста!.. А я, чтоб не мешать, посижу пока — вот, в уголочке.

И он осторожно, чуть не на цыпочках, отодвинул к стене принесенный Ефимычем стул, делая вид, как бы совершенно стушевывается на задний план, в сторону.

Тамара поняла, что это для нее, в некотором роде, экзамен, и приготовилась в душе ко всему худшему. Будь что будет! Пользуясь разрешением Агрономского не обращать на него внимания, она начала с того, что заставила учеников пропеть согласным хором несколько молитв, после чего задала четверем мальчикам, для упражнения, по задаче из арифметики, а остальных стала спрашивать из пройденного раньше по Священной и Русской истории; затем, заставив каждого из четырех учеников рассказать и показать, как разрешил он данную ему арифметическую задачу, и поправив, если в чем была у него ошибка, учительница перешла со всем старшим отделением к толковому чтению. Агрономский все время сидел тихо, ни разу не прервав ни ее, ни учеников каким-либо замечанием или вопросом. Он слушал, по-видимо-

му, очень внимательно и только время от времени с кислою гримасой подергивался и поеживался в плечах да досадливо пощипывал себе бороду. Все эти его нервно-недовольные движения невольным образом нервировали и Тамару, не могшую не замечать их. — Бог его знает, что его так коробит и чем он недоволен! Хоть бы слово сказал, а то сидеть как воды в рот набрал, и только корежится! — Это до такой степени озадачивало ее и царапало ей нервы, и сбивало ее мысли, — словом, мешало ей, что она почувствовала наконец полную невозможность продолжать при нем занятия, и потому, спустя около часу, прекратила урок и молча повернулась к Агрономскому с выжидающим и вопросительным выражением в лице.

— Вы кончили? — предупредительно поднялся он со стула.

— Кончила, но, может быть, вам самим угодно спросить еще что, или заметить?

Тот отчасти замялся, потирая себе по-ксендзовски сложенные ручки.

— М... да, то есть... с вашего позволения, я бы желал высказать вам кое-какие скромные

замечания... Позволяете?

— Сделайте одолжение, я буду очень признательна.

Агрономский вежливо поклонился ей на это, закрыв глазки и склоняя набочок голову, точно бы и в самом деле благодарит за позволение.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он с самой мягкой и даже приторной улыбкой, — разве вам в управе ничего не передавали относительно направления, в каком вообще нашему земству желательно вести дело народного образования?

— Ничего, — меня просто послали сюда, и только.

— М... да, и только, — машинально повторил он за нею в раздумьи. — Так ничего? Ровно-таки ничего?

— Ничего, — подтвердила девушка.

— Хм!.. Оно, впрочем, и видно, — извините... Очень жаль, конечно, — грустно вздохнул он, — что вам пришлось потратить два месяца труда почти совсем непроизводительно, — н-но... это, значит, вина уже не ваша, а наша...

Девушка окинула его взглядом, с выражением недоумевающего вопроса, — то есть, в чем же собственно?

— М-м... Видите ли-с, все это, может быть, очень хорошо — и молитвы там, и церковное пение, и священное писание с русской историей, — продолжал он', как-то нудясь, точно бы выжимая или туго выматывая из себя слово за словом и мысль за мыслью. — На случай приезда, например, каких-нибудь «особ» в роде губернатора там, архиерея, или члена от министерства просвещения, — неравно в школу заглянут, — ну оно, разумеется, не мешает, чтобы показать... Отчего же! Это иногда может быть полезно... Но, вообще, если мы будем сидеть только на этом, то не далеко уйдем... и мало того, мы рискуем в таком случае обратить школу в орудие обскурантизма и ретроградных целей, тогда как она должна служить орудием широкого прогресса... Вы меня понимаете?

— Да, конечно... — согласилась девушка, которой и прежде еще неоднократно приходилось встречаться с подобными воззрениями и в журналах, и во взглядах иных своих

знакомых и отчасти даже своих собственных гимназических учителей, так что речь г. Агрономского, в сущности, не открыла ей ничего нового. Но, согласившись с ним, Тамара заявила ему, однако, что в этом случае она делает уступку настойчивым заявлениям крестьян, которые требуют, чтобы детей их обучали прежде всего «божественному».

— Мало ль каких глупостей станут они еще требовать, — солидно возразил Агрономский. — Школа вовсе не обязана потрафлять на всякие дикие вкусы; у школы есть свои высшие задачи, отступить от которых мы не имеем права. А между тем, подобной системой вы придаете своему обучению слишком... как бы это выразиться... слишком уже клерикальную закваску, делаете его чересчур ортодоксальным, а это ошибка, — этого надо избегать... Предоставимте мертвым хоронить своих мертвых! Из-за чего нам усердствовать?!.. Теперь вон, во всей Европе, а особенно во Франции, — поглядите-ка — школа радикально принимает характер чисто лаический, — значит, и нам надо стремиться к тому же. И я бы рекомендовал вам, — прибавил

он в виде доброго дружеского совета, тайно и понизив голос и отводя Тамару несколько в сторону, — я бы рекомендовал оставить все эти «Достоинство есть» и нагорные проповеди, тем более, что, по распоряжению министерства, вы даже и права не имеете касаться Закона Божия, — это дело законоучителя. На вас из-за этого, пожалуй, еще донос попы напишут, — мастера ведь тоже, ох какие!.. А вам следует придерживаться более развивательного метода, — понимаете ли. раз-ви-ва-тельного.

— Извините, — попыталась было возразить ему Тамара. — Но относительно развития учеников, я, кажется, и то...

— Н-да-с, оно и то, да не то! — перебил ее Агрономский. — Я, как видите, имел терпение слушать вас целый час и вижу с прискорбием, что вы совсем на ложной дороге... И прием у вас совсем не научный, не современный, не соответствующий требованиям рациональной педагогики. Разве так можно?! — Позвольте вас спросить, зачем вы сидите на разных одуряющих «житиях» да на церковно-славянской тарабарщине, когда у вас тут

же, под рукою, — вот, в этом самом шкафу, — целая литература, избранная литература!.. Тут нужно совсем не это! Пускай они — кивнул он в сторону учеников, — даже не особенно бойко читают, лишь бы были развиты, пускай честно мыслить научатся... Да вот, лучше всего, — восприимчиво метнулся он к партам. — Позвольте мне книгу Корфа или Водовозова.

Он взял одну из поданных ему книг, пробежал оглавление, затем быстро перелистовал несколько страниц и произнес. — «Сокол и Ястреб»... Читали вы детям это прелестное стихотворение?

Тамара созналась, что не читала еще.

— Почему же? — удивился и даже слегка обиделся этим Агрономский.

— Некогда было, другим занимались, — ответила она совсем просто.

— Жаль-с!.. Очень, очень жаль, — соболезновательно закачал он головою. — Ведь это перл! Это алмаз русской поэзии! И вдруг вы его так игнорируете!.. Ай-ай-ай!.. Ну, да все равно, я вот прочту и покажу вам, что собственно тут требуется. Слушайте, детки! И Аг-

рономский отчетливо и выразительно стал читать по книжке о том, как «хищный ястреб высоко летал» и повстречал в небе сокола, который крайне удивился такой необычайной встрече и высокмерно высказал, что ему, ястребу, не под высью небесной летать, а разве кур воровать по дворам; здесь же место совсем-де не таким, — «только мы да орлы здесь царим». — И сокол начинает хвастаться перед ястребом, как высоко он летает и как ловко бьет на лету птицу, и как встарь он с князьями водил дружбу и слыл у них «благородным соколом». — «Ну, а ты?» — презрительно обращается он к ястребу. — «Тем тебе и хвастнуть, что курчонка стянул где-нибудь». — «Вашей милости честь и привет!» — отвечает соколу ястреб и высказывает «не в обиду» ему:

*«Пусть, как ты, я не мастер летать,
Ловко птиц на лету подшибать,
Пусть и в песнях не славят меня,
Все ж как будто с тобой. мы родня...
Оба мы что побьем, тем живем,
И корысть наша в горе чужом,
То хвалиться тебе предо мной*

*Не пристало бы славой такой,
Что красиво ты слабого бьешь,
Кровь родную искуснее льешь,
Только вот, что полет твой дру-
гой,
А мы хищники оба с тобой».*

— Поняли, дети, смысл этой побаски? —
повысив голос, обратился он ко всему классу.

— Поняли, — раздалось в ответ ему
несколько голосов с разных скамеек.

— О ком это здесь говорится, расскажи-
те-ка мне, мои милые?

— О соколе и коршуне.

— Так, о соколе и коршуне, — верно! А кто
же такие будут эти сокол и коршун?

— Птицы будут, — наивно и просто ответи-
ли два-три мальчика.

— Ой-ли? — заронил в них сомнение Агро-
номский. — Подумайте-ка, точно ли это пти-
цы? Не другой ли кто?

— Нет, тут прямо говорится про сокола и
коршуна, — значит птицы, — с уверенностью
возразил один из наиболее бойких мальчугов.

— Видите, какая неразвитость, видите!? —

укоризненно заметил вполголоса Агрономский Тамаре и с сокрушенным вздохом покачал головой. — Так, по-вашему, птицы? — повернулся он к мальчику. — Так-то так; пожалуй, и птицы, да понимать это, голубчик, надо иносказательно наизнанку, то есть. Вот, я вас назвал сейчас голубчиком. Что такое «голубчик?» — Уменьшительное и ласкательное от слова «голубь», не так ли?.. Ну, разумеется, так!.. Но разве, на самом-то деле, вы голубь? — Нет, вы мальчик, то есть человек, а голубь — птица. Значит, назвал я вас голубчиком иносказательно, — понимаете?.. Ну, так вот точно то же и в этой побаске: говорится про коршуна и сокола, а понимать надо людей. Какие же это будут люди, сокол и коршун? подумайте-ка, да и скажите.

— Нехорошие люди, хищники, разбойники злые, — ответили некоторые мальчики.

— Верно! Правильно, друзья мои!.. Отлично!.. Молодцы! — приходя в восторг, расхваливал их Агрономский. — Ну, а из каких будут эти хищные люди, не домекнулись ли?

Мальчики, видимо, стали в тупик и призадумались.

— Просто нехорошие люди... всякие, которые ежели злые, — высказался, наконец, один из бойких.

— Всякие?.. Ну, нет, дружок мой, в том-то и дело, что не всякие, далеко не всякие... Тут вон прямо говорится: «с князьями дружбу водил, благородным я соколом слыл», — благородным, понимаете ли, — выразительно подчеркнул Агрономский. — благородным. А кто такие «благородные»? Кого мы обыкновенно «благородными» называем? Например? Кто скажет?

— Например, вас называем, — брякнул ему спроста тот же мальчик.

Агрономский точно бы поперхнулся от такой неожиданности и вскочил, как ошпаренный.

— Меня?.. Как меня: Почему меня? — озадаченно заговорил он(весь. покраснев, как рак, и перебегая растерянно- сконфуженными взглядами с мальчика на Тамару, с Тамары на мальчика, на его соседей и на весь остальной класс, точно бы пытая от всех себе ответа. — Почему меня?.. Почему ты думаешь так?.. Разве я благородный в подобном смысле? Кто

сказал тебе это? Кто? — пристал он к мальчику в несколько уже раздраженном тоне, позабыв даже говорить ему «вы», и готовый раздражиться сию минуту еще более.

Мальчик совсем растерялся и молчал.

— Может, кто ответит за него? — обратился попечитель к остальному классу. — Отвечайте, братцы, смело, не робей! Робеть тут нечего. Почему вы считаете, что я из таких же благородных, как и этот сокол?

— Потому, как вы барин, помещик тоже будете, — ответил, наконец, один из наиболее бойких мальчуганов, Петр Чалых.

— Да, я помещик, положим, — согласился, приходя в себя Агрономский, — но я не такой помещик, как те; я крепостными не владел и отцов ваших не драл на конюшне, а я просто только землю купил себе, имение... Поэтому я даже и не помещик, а землевладелец, — это громадная разница... Помещики — это те, которые крепостными владели, дворяне... Понимаете ли, дворяне... Ну, так кого же мы обыкновенно «благородными» называем?

— Господ называем, помещиков, дворян, ежели которые крепостными владели, — от-

чеканил ему с его же слов все тот же Петр Чалых.

— Вот!.. Вот оно! — воскликнул, напуская на себя восторг, Агрономский. — Помещиков называем!.. Именно, дворян-помещиков, бар!.. Ай-да мальчик! — умилился он. — Ай-да умница! Золотая головушка!.. Дайте, дорогой мой, я вас поцелую за это!.. И позвольте поощрить вас за прекрасный, обдуманый ответ.

И он обеими руками притянул к себе через стол голову мальчика и облобызал его в лоо, а затем порылся у себя в кармане и достал оттуда медный трешник.

— Нате вам, голубчик, на прянички, на гостинцы, — полакомьтесь себе на здоровье.

Мальчик взял деньги и хотел было по простоте поцеловать, в знак благодарности, руку Агрономского, но тот быстро и негодуяще отдернул ее, точно бы с испугу.

— Что это вы?!.. Руку?!.. Зачем?!.. Никогда!.. Это стыдно! Это позор! Это безнравственно! — заговорил он благородновозмущенным тоном, никогда ни у кого не целуйте руки, даже у отца родного! Это унижает ваше человеческое достоинство, это остатки гнусного кре-

постного рабства. Никогда и ни у кого, — слышите ли!?

И он на минуту замолк, бессильно опустив утомленную голову на руку и тем показывая вид, будто ему необходимо, после такой потрясающей сцены, успокоить свое возмущенное чувство и привести в порядок сбитые со стройного пути мысли.

Удивленная Тамара, молча, во все глаза глядела на всю эту ходульную проделку попечителя, не зная еще, взаправду ли ему дурно, или он только так притворяется, рисовки ради. Она уже хотела было предложить ему стул и стакан воды, но тут Агрономский, как бы очнувшись от своего напускного полузабытья, глубоко и томно вздохнул, проводя по глазам и по лбу ладонью. Он сделал вид, будто вовсе не замечает удивленного взгляда учительницы и, собравшись с духом, снова обратился к ученикам.

— Итак, молодые друзья мои, — менторски и даже с умиленной нежностью продолжал он уже успокоенным, но вначале несколько утомленным голосом, — под именем сокола должно разуметь господ, бар, генералов там

разных, губернаторов, — вообще, дворянство и высокое чиновничество. Таких людей называют также аристократами, — запишите у себя в тетрадке это слово, чтобы лучше запомнить, а-рис-то-кра-ты. Вот так, хорошо!.. Но аристократы — это уже те, что очень высоко летают, выше обыкновенных дворян, — это князья, графы, бароны, разные там сиятельные и, так называемые, «высокие» лица. Это вот они-то и есть те орлы, про которых говорит ястребу сокол, — «только мы да орлы здесь царим». А орлы — такие же хищные птицы, как и соколы, одного семейства, только еще покрупнее да посильнее. Ну, а ястреб — это уже мелкая сошка. Это какой-нибудь чиновничка, что взятки с нас дерет, например: исправник, становой, квартальный офицеришка, урядничка, пожалуй, и т. п. Но почему же ястреб говорит соколу, что все же они родня между собой? — Потому, друзья мои, что все они одинаково пьют кровь народную... Курчата там и прочая мелкая пташка — это мы с вами, надод беззащитный, отданный всем этим хищникам на добычу и растерзание. Разница между крово-

пийцами нашими только та, что какой-нибудь становой дерет с живого и с мертвого в одном своем стане, а губернатор, например, — ну, тому подавай уже всю губернию! Большому кораблю большое и плавание. Ну, и подумайте, какие вы чувства можете после этого питать ко всем подобным людям? Можете ли любить их, уважать их. Можете ли желать, чтобы они продолжали и впредь тиранствовать над вами, над отцами вашими, над всем народом нашим? — Разумеется, нет! Кто же враг себе!?! — Надо, напротив, желать и общими силами стремиться, чтоб такой ненавистный порядок скорее кончился. А как это сделать, мы поговорим когда-нибудь в другой раз. Ну-с, понятна ли вам, мои милые, теперь эта побаска, что мы читали?

Но никто из учеников на этот вопрос ему не ответил, никто не поднялся с парты, как это бывает, сели кто хочет ответить, или спросить что-нибудь у преподавателя. Агрономский тщетно ожидал такого поднятия, вопросительно обводя весь класс глазами. Ученики, очевидно, не были подготовлены к такому объяснению побаски и потому не успе-

ли еще, что называется, переварить его и усвоить себе как должно. Они только глядели недоумелыми глазами на попечителя и сопли носом.

— Ну-ка, вы, мой милый, — обратился он к Петру Чалых. — Скажите-ка мне, поняли вы мое объяснение?

— Поняли, — как-то неуверенно ответил ему мальчик.

— Кто же будет сокол?

— Дворяне, князья, губернатор...

— А ястреб?

— Становой, урядник и прочие.

— А мы с вами кто будем?

— Куры будем, цыплята...

— А народ-то кто же будет?

Мальчик запнулся и молчал, не зная, что отвечать.

— Ну, конечно, все те же куры и цыплята, и всякая мелкая птица, — то есть, опять же таки мы с вами. Понятно ли вам теперь, мои милые? — обратился он ко всему классу.

— Понятно!.. Очень явственно даже, — ответили несколько голосов с разных скамеек.

— Так вот что собственно надо! Вот в чем

состоит развивательный метод! — дружески наставительно обратился к Тамаре Агрономский, очень довольный собой.

Но девушка не нашлась даже, что ему ответить. Она теперь испытывала только крайнюю растерянность, точно бы ее завели в какую-то трущобу, завертели там, замотали, окончательно сбили с толку и бросили, — и она не знает, не может дать себе отчета, где правая сторона, где левая, куда идти, что делать и кому, наконец верить, книжки говорят одно, старик Макарий другое, этот третье... А ведь он — власть, он — сила, начальство... Где же, у кого и в чем тут правда и чего хотят от нее?

Агрономский, однако, так увлекся самим собой, что не замечал ее состояния.

— В книжках ваших, — продолжал он, — можно воспользоваться каким хотите, самым невинным даже, текстом, любой даже басней Крылова, чтоб объяснить ее по-своему, в известном смысле: здесь все зависит только от находчивости и остроумия самого преподавателя, от его умения применяться к обстоятельствам и пользоваться ими. «Впрочем, —

прибавил он, — мы с вами, надеюсь, поговорим еще об этом подробнее и обстоятельнее как-нибудь на досуге».

И он, кстати, сообщил ей, что предполагает устроить у себя на святках маленький учительский съездик, — совершенно, знаете, частным образом, без всяких там официальных разрешений и оповещений, а просто себе, под видом интимного пикничка, у себя в усадьбе... И из бабьегонских кое-кто придет... Вот и вас пригласим тоже, тогда и потолкуем, и повеселимся.

Он стал уже было прощаться, как вдруг нарочно рассеянный взгляд его, окидывая за чем-то всю классную комнату, остановился точно бы случайно на портрете государя, — и Агрономский как бы весь загнулся на нем, напуская для чего-то на себя выражение удивленного недоумения. По этому искусственному его выражению Тамара поняла, что это у него одно притворство, и даже не совсем искусное, что, по всей вероятности, на портрет обратил он свое внимание гораздо раньше, но делает за чем-то вид, будто нечаянно заметил его только сию минуту.

— Это что ж такое? — пробормотал, между тем, себе под нос Агрономский удивленным и недовольным тоном, и, избегая как-то встретиться глазами с учительницей, точно бы из боязни, чтоб она не испортила ему эффект своим преждевременным ответом, поспешно кликнул в классную сторожа.

Тот вышел с его енотовой шубой, гарусным шарфом и глубокими галошами.

— Скажите мне, голубчик, почему это портрет у вас повешен? — обратился он к Ефимычу самым, по-видимому, кротким и душевным образом. — Кто вам позволил, если я просил вас припрятать его подальше?.. Кто это распорядился так без меня? Кто приказал вам?

Старый служивый молчал — ему не хотелось выдавать Тамару.

— Жаль, очень жаль мне вас, друг мой! — с сочувственным вздохом продолжал, покачивая головой, Агрономский. — Очень, очень жаль... сердечно жаль... Н-но... что же делать, когда вы сами себя не жалеете! И если вам теперь придется расстаться со своей должностью, то кто же будет виноват? — Уж, конеч-

но, не я, мой милый! Я с своей стороны — вы знаете, вы должны это помнить — я неоднократно делал для вас всякое снисхождение. Ведь вы, вон, и по водочке любите пройтись; однако я на эту слабость вашу смотрел сквозь пальцы, — каюсь! — да, сквозь пальцы, единственно из сострадания к вашему инвалидному положению, из-за того, что вас, такого заслуженного воина, старого севастопольца, начальство ваше вышвырнуло, при старости ваших лет, на улицу, на побирательство именем Христовым, без всякого попечения и призора за всю вашу службу, — вы это понимаете?.. Я первый принял в вас живое участие и рекомендовал сельскому обществу на эту должность, — вы это знаете. Ну, а теперь уж извините, — умышленного неповиновения и нарочного нарушения моих распоряжений я не потерплю. Мне, повторяю, очень жаль вас, такого почтенного старика, заслуженного ветерана, но что же делать! — Пеняйте на себя, мой драгоценнейший!

В речи Агрономского слышалось какое-то меланхолическое издевательство над старым солдатом и, вместе с тем, зудела вовсе посто-

ронняя, чисто академическая злоба на какое-то отвлеченное его «начальство», как на «начальство вообще», не без ехидной, может быть, цели расшевелить и в старике такую же злобу против того же абстрактного «начальства», а самого себя поярче выставить, как благодетеля, и тем заставить его пасть себе в ноги. Но Ефимыч, не обмолвясь во время этой речи ни единым словом, продолжал упорно молчать и по ее окончании, угрюмо и туповато глядя на Агрономского.

— Что ж вы молчите, мой милейший? Я вас, кажется, русским языком спрашиваю, кто приказал вам нарушить мое распоряжение?

Но тут неожиданно для всех выступила вперед Тамара.

— Виноват не Ефимыч, а я, — заявила она с полным спокойствием и твердостью. — Это я повесила портрет на место.

Агрономский сейчас же устроил себе притворно-удивленную физиономию, точно бы он никак не ожидал от «народной учительницы» такого поступка. Тамаре, однако, еще раньше было ясно, что, заметив портрет на стене, Агрономский должен был прекрасно

понять, чья это инициатива, а потому и вся его радея, в сущности, читалась вовсе не для Ефимыча, но косвенным образом по ее собственному адресу, чтоб она сразу почувствовала и зарубила себе на память, чем могут пахнуть для нее ослушание его капризам и вообще самостоятельный образ действий по школе.

— Вы?! — произнес он, стараясь еще более подчеркнуть свое удивление.

— Я, — подтвердила ему Тамара. — Ефимыч тут ни при чем.

— Как ни при чем? — возразил Агрономский. — Нет-с, извините, причем, и очень даже при чем. Вы могли и не знать, но он обязан был предупредить вас о моем распоряжении.

— Он и предупреждал меня, — заступилась она за солдата.

— Да?! — притворно расширил на нее глаза попечитель. — Предупреждал?.. Тогда это совершенно изменяет картину дела... Так он действительно предупреждал вас?

— Действительно предупреждал, — удостоверила Тамара.

— И тем не менее, вы все-таки повесили!.. Хм!..

— Повесила своими собственными руками, потому что, признаюсь, даже не поверила ему, подумав, что он, вероятно, не так вас понял и что-нибудь путает.

— Ах, это напрасно! — соболезнующе закатил Агрономский свои идеальные глазки. — Совершенно напрасно!.. И мне очень жаль, зачем вы это так поступили, — от вас я никак не ожидал... Меня это очень, очень удивляет.

— Извините, я не понимаю, что ж тут такого? — пожалала она плечами. — Разве это преступление какое, повесить царский портрет на свое место, раз что он есть в школе?

— О нет! — со сладостной улыбкой поспешил опровергнуть ее Агрономский. — Все мы, конечно, «верноподданные», и с этой точки зрения не может быть никакого вопроса.

— Так в чем же тогда дело?

— Дело очень просто-с: причина тут чисто хозяйственная, но никак не политическая, если вы думаете, — с тонко иронической и лукавой усмешкой вильнул он в сторону, — дескать, меня ты, матушка, не поймаешь, не на

такого напала!

— Я ничего подобного не думаю и не смею думать, — сухо и даже обиженно заметила она, — но я просто не понимаю, в чем моя вина, и прошу объяснить мне.

— А вот, извольте-с видеть, — начал он. — В Княжевской школе ученики, играя в классной комнате в мяч, разбили однажды стекло на портрете, а оно стоит рубль семьдесят пять копеек, лагерное-с. Кто именно разбил — не дознались; взыскать, значит, не с кого, управа на свой счет убытка не приняла, и пришлось пополнить его на счет учительницы — не допускай, значит, игры в классной! — а она девушка очень бедная, и заплатить такую сумму для нее было очень чувствительно. — Извольте ли видеть. — Так уж поэтому, во избежание повторения где-либо подобных случаев, и жалея бедный учительский карман, я и распорядился снять во всех школах царские портреты, а вывешивать их только в известных случаях, по моему приказанию, — по крайней мерс, сохраннее будут. Теперь понимаете-с? — взглянул он на Тамару с лукаво-насмешливой улыбкой, — дескать, что взя-

да, голубушка! Не ожидала такой гриб скусать?

Та очень хорошо поняла, что это объяснение у него чисто официальное, быть может, нарочно даже придуманное им в свое время, на случай запроса со стороны правительственных лиц, и что если в Княжевской школе и был действительно когда-нибудь такой случай, то Агрономский, несомненно, только сумел воспользоваться им ловким образом для удаления, под удобным предлогом, из школ ненравящихся ему изображений. Сомнение это невольно отразилось на ее лице — и мысль ее, казалось, была уловлена и понята Агрономским, который поспешил поэтому досказать ей, что к тому же, именно этот портрет не нравится ему еще и по своей антихудожественности, он даже и не похож, не те черты, не тот характер лица, и что если уж вешать, так что-нибудь порядочное, достойное высокого сюжета, а не лубочное изображение, которое может только портить эстетический вкус мальчиков.

— А вот, если управа выпишет нам со временем хорошие олеографические портреты, в

золоченых рамах, под коронами, тогда мы их с удовольствием повесим и будем хоть молиться на них, если прикажут.

Тамара заметила на это, что в ожидании лучшего, можно бы, однако, пользоваться пока и тем, что есть, хоть оно пускай и не вполне удовлетворяет строго художественному вкусу, и тем более, что у нее ученики в классной комнате в мяч не играют, а царскому портрету очень рады, да и отцы их тоже.

— Нет, нет, нет, уж, пожалуйста, вы мне не противоречьте! — поспешно замахал на нее руками Агрономский и даже уши себе закрыл ладонями, точно бы и слушать далее не хочет. — Вы уж потрудитесь, — прибавил он в виде дружеской, но внушительной просьбы, — в точности исполнять распоряжения школьного начальства, если не желаете ссориться со мной.

И затем, обратясь к Ефимычу, приказал ему тут же, при себе, снять портрет со стены и убрать подальше.

— Н-ну-с, а затем, — повернулся он к Тамаре, весьма любезно протягивая ей руку, — надеюсь, мы с вами будем добрыми друзьями,

особенно, когда покороче узнаем друг друга... и я уверен, что вы постараетесь оправдать на деле лестную рекомендацию Агрипины Петровны, которой мы привыкли верить безусловно... Одно уже ее имя, повторяю, гарантирует вам нашу дружбу, хотя замеченные мной кое-какие шероховатости... Ну, да впрочем — перебил он самого себя, — желаю верить, что это не более, как дело недоразумения и сгладится со временем само собой... До свидания-с!

Х. СРЕДИ СОМНЕНИЙ

Распустив, вслед за отъездом Агрономского, учеников по домам, Тамара сейчас же пошла к «батюшкам» рассказать о «событии» и поделиться своими впечатлениями. Она все еще чувствовала себя совершенно сбитой с толку и была полна удручающими сомнениями.

Кто ж теперь будет судить, правильна ли избранная ею система, и где тот высокоавторитетный судья, слову которого она могла бы безусловно поверить? Отец Макарий утверждает, что правильна; но еще бы ему-то не утверждать, если его же собственные влияния, его же внушения и направили Тамару на этот путь преподавания!.. Затем, крестьяне, очевидно, довольны ее системой, высказывают ей это, благодарят ее, мальчики делают заметные успехи и в чтении, и в письме, и в цифири, — казалось бы, чего же еще!? И самой ей до сегодня тоже казалось, что путь ее наиболее правилен, — по крайней мере, он ей более по душе, симпатичнее всякого другого. Но, может быть, она и ошибается, именно по-

тому, что поддается своим собственным симпатиям. Собственные симпатии еще не ручательство за непогрешимость. И вот, является Агрономский, до некоторой степени авторитет, как член училищного совета, как известный уже «деятель» по земско-народному образованию, ко взглядам и мнениям которого считают нужным прислушиваться не только на земских собраниях, но даже и в таких авторитетных органах печати, как «Российские Ведомости», «Голос Петербурга», «Курьер Европы», «Наша Страна» и «Правовой Порядок», — является и сразу решает, что она и понятия не имеет о научных основах современной здоровой педагогики, стоит на ложной дороге, на ложном принципе и только портит доверенное ей дело. Господи, да что ж это такое? Неужели правда?!.. Агрономский предъявляет ей от имени земства совсем другие требования и тоже находит для них достаточные резоны, — верить ему, или не верить?.. Если бы это было его единоличное мнение, — ну, положим, он мог бы и заблуждаться; но ведь то, что говорит Агрономский, можно встретить и в педагогической, и в общей жур-

налистике, и в кругу педагогов; между собственными учителями Тамары в Украинской гимназии были такие, что держались подобных же взглядов, — да вот, хоть бы Охрименко! — и множество педагогов следуют той же системе, вся Европа, наконец, как справедливо заметил Агрономский, — в Германии Kuiturkampf, во Франции лаические школы, одни мы только позади со своим классицизмом, против которого решительно все: и отец Никандр, и даже сам отец Макарий, — отец Макарий, кому всякое слово Каткова свято, и тот против!..

Так уж ли безусловно не прав Агрономский, как кажется отцу Макарию, а вслед за отцом Макарием, и ей самой казалось?.. Не ведет ли она свою школу, и в самом деле, чересчур уж консервативным, даже ретроградным путем?.. Может быть, такое направление вовсе даже не в видах правительства?.. Может быть, правительство само желает посредством школы пересоздать и исподволь перевести народ на новую дорогу, воспитать в нем чувство гражданственности и вообщем прогрессивные чувства и мысли, чтобы дать ему

конституцию... Может быть, все это именно так и надо, как советует Агрономский, а она только мешает делу своим непониманием? Вероятно, так. Да если бы было иначе, разве правительство терпело бы таких попечителей и такие училищные советы?! Разве в его руках нет власти и средств изменить все это, если б оно захотело?

Но отец Макарий не соглашался с нею и, разгорячившись в споре, обозвал всех этих Агрономских и тому подобных Тушинскими ворами.

— Они вам прикинутся всем, чем хочешь, — говорил он, — всякую шкуру на себя наденут, чтобы легче было пакостить исподтишка, если где нельзя пока явно... Слушать их советов, так это себе же на гибель. Из-за таких-то советов сколько уже погибло вашего брата, народных учителей и учительниц: кого в каземат засадили, кого в нс столь отдаленные отправили, кого под надзор, а господа Агрономскис, между тем, — посмотритс-ка, — сидят себе на местах да благоденствуют! Муть эта им на руку, потому рыбу в ней ловить куда способнее!..

Старик, увлекшись спором и опровергая доводы Тамары, которую от души было ему жалко, говорил с полной искренностью и глубокой верой в то, что говорит и что составляло для него результат долгой житейской опытности. Горячая любовь к России, такой, какой создала ее история, сочувствие к народу вместе с пониманием всех его недостатков и строгое уважение к извечным, заветным идеалам этого народа — одушевляли сегодня его речи и доводы, так что Тамара только дивовалась на него: ни разу еще не видала она его столь затронутым за живое, столь горячо убежденным и даже красноречивым по-своему. — Откуда только что бралось у этого старика, всегда столь тихого, благодушно спокойного и скромного!.. И слушая его она опять, невольным образом поддавалась его доводам, чувствуя в них какую-то внутреннюю, хотя, может быть, и не совсем еще ею усвоенную, правду, относительно того, что нужно народу и чего этот народ хочет. Ес сомнения, одно за другим, начинали падать, и в колеблющейся душе опять возрождалась решимость идти своим путем в деле народной

школы, как шла доселе. Но как же быть тогда с Агрономским? Ведь он уже сегодня достаточно ясно дал понять ей, что не потерпит уклонения от своих требований, которые, по его словам, в то же время и требования земства. Что ж тут делать? Уйти, отказаться от места? — Хорошо, но чем же она в таком случае будет существовать? Где и когда-то еще найдет себе какое-нибудь занятие? А ведь ей жить надо, ей нужен хлеб насущный... Ведь если ее прогонят отсюда, с этого места, то это раздавит ее, как червяка какого, и кто же после того в земстве даст ей приют и должность?.. Последовать программе Агрономского — это, по словам отца Макария, значит возвращать мальчиков, делать из них ни то, ни се, людей от одного берега отставших, к другому не приставших, да еще, кроме того, насильственно прививать им злобу к существующему порядку, благодаря которой выйдут ли из них революционеры на западный манер — еще не известно, но что из многих выйдут формальные бездельники и негодяи, в тягость себе и своим сельским обществам, — это наверное. Поэтому последовать безуслов-

но советам Агрономского, в особенности теперь, после такой беседы с отцом Макарием, ей претило какое-то внутреннее чувство, совесть не позволяла. А идти путем, на который указывает отец Макарий, — это равносильно лишению места. Как же тут быть и что делать?

— Помирить одно с другим, — полушутя, полусерьезно посоветовал молодой батюшка.

Девушка вскинула на него взгляд, полный недоумения и упрека. — Как кому, а ей теперь совсем не до шуток!

— Да нет, в самом деле, — продолжал он, поясняя свою мысль. — Что ж тут остается иначе?.. Крестьяне желают церковного пения, а земские педагоги — побасок. Ну, что ж, присоедините к вашему пению несколько хороших народных песен, несколько подходящих стихотворений Пушкина, Лермонтова, басен Крылова, — худа в том не будет никакого, и сказать вам против этого никто ничего не посмеет.

— Да я и сама думала делать то же, — заметила Тамара.

— А думали, тем лучше! — Значит, и де-

лайте!.. Или вот тоже, — продолжал отец Никандр. — Крестьяне желают, чтоб учили церковно-славянскому чтению, а педагогам оно не по нутру. Хорошо-с: у меня вот есть «Слово о полку Игоря» славянским шрифтом, — воспользуйтесь на первый случай хотя бы им и станем читать в классе, чередуясь с Минями, — все же упражнение, практика! — и опять-таки никто придраться не может, а Агрономскому, между тем, глотку заткнете, лишив его права кричать, что вы ему чересчур уже церковите школу. — Нет, мол, врешь, сударь, у нас и то и другое равномерно!.. А затем, держитесь во всем остальном только одобренных учебников да рекомендованных «книг для классного чтения», без всяких особенных комментариев, вот и только.

— Да, легко сказать!.. А если он этих-то комментариев и требует? — возразила Тамара. — Он, послушайте-ка, что говорит: самую невиннейшую вещь, говорит, можно объяснить по-своему, в известном смысле; это, говорит, зависит только от находчивости и остроумия преподавателя.

— Ну, что ж делать, «извините, мол, госпо-

дин Агрономский, если я не настолько остроумна и находчива, как бы вам хотелось!» — входя в роль учительницы, поклонился с разводом рук отец Никандр пред воображаемым попечителем. — «Но я, мол, от данной мне программы не отступаю и преподаю по книжкам, присланным управой и рекомендованным самим же вашим Советом». Может быть, он и будет морщиться, но сделать вам за это ничего не посмеет, и носа под вас не подточит.

— Да, пожалуй, что вы и правы, — подумав, согласилась с ним девушка. — Но все-таки, вечно балансировать на таком канате и жить под страхом, что не сегодня-завтра тебя прогонят, что ты всецело зависишь от чье-го-то там каприза, — это слишком тяжело, это ужасно!..

— Позвольте, — перебил ее отец Никандр. — А госпожа-то Миропольцева на что?!.. Ведь вы говорите, он вам дважды сам поминал ее сегодня: ею начал, ею и кончил.

— Да, но что ж из этого? Жаловаться ей я не стану, да она мне и не поможет, — спасибо и за то, что походатайствовала, на место опре-

делила.

— Во-во-вот оно-то и есть! — весело воскликнул отец Никандр. — Это главное, что определила, в этом-то и вся сила ваша! А жаловаться ей вовсе вам не нужно, — зачем!? — Да и ей помогать вам больше не потребуется.

Тамара извинилась, что ей не совсем-то ясно, что собственно хочет сказать этим батюшка?

— А то и хочу, что они считают вас ее протеже, — пояснил он. — Понимаете? — Значит, отнюдь не прогонят, не посмеют прогнать, — будьте покойны!.. Она ведь тоже помещица наша.

Для Тамары это оказалось совершеннейшей новостью, которой она и не подозревала.

— Как же-с! — удостоверил батюшка. — Бабьегонская-с. Только вот не знаю, — давненько что-то в имение к себе не жалуется... а то, бывало, каждое лето у нее тут съезды! — Так вот откуда у них и связи с нею! — домекнулась девушка.

— Еще бы-с! Они все пред этой Агрипиной прекрасной на задних лапках ходят, каждый из них в Питере там разные делишки свои че-

рез нее обдeldывает, — она им нужный человек, и важный человек, притом же. — Помилуйте, посмеют они против ее желания!.. Нет, уж чего-чего, а на этот счет вы можете быть совершенно покойны: не то что прогонять, а даже нахваливать вас будут перед нею, ежели спросит.

На лице Тамары, после этих слов, в первый раз сегодня появилась улыбка.

— Только сам и-то вы, — продолжал отец Никандр, — не дразните их через край уже «клерикализмом» этим самым.

Но тут перебил его отец Макарий:

— Дразнить?.. Дразнить тем, что говорить православным детям о Боге и вере Христовой?.. Это клерикализм?!.. Да в уме ли ты, отец Никандр? Что ты советусшь-то? Подумай!

— А что ж иначе делать-то, — возразил тот. — Если им во всем нынче клерикализм да клерикальная партия мерещится? — Почитайте-ка газеты!

— «Клерикализм»... Тфу, ты! словечко тоже изобрели, нечего сказать!.. Это в православной-то России «клерикальную партию» на-

шли, прости, Господи! Как словно духовенство православное может быть «партией» в русском государстве!.. Уши бы мои не слышали!.. До чего дожили!.. Нет, Тамарушка! — сердечно, но и решительно обратился он к девушке. — Простите старику, что я вас так отечески называю... Я к вам — все равно, как к дочери... От сердца вырвалось.

— Зовите меня так всегда!.. И никогда иначе! — с увлечением бросилась к нему обрадованная и благодарная Тамара, протягивая для пожатия обе свои руки. В ее круглом сиротстве ей так отрадно прозвучало вдруг это неожиданное ласковое имя, как точно бы услышала она его из уст родного, близкого человека, — и невольно при этом возник в ее воспоминании образ дедушки, старика Бендавида, которого она всегда так любила и любит...

— Я вот что хочу сказать вам, — продолжал, между тем, Макарий, отвечая на ее рукопожатие, — не слушайте вы этих смутьянов!.. И его, — кивнул он на зятя, — и его не слушайте, коли он вас будет учить нос по ветру держать... Нет, дитя мое, будем продолжать с

верой в Бога вести дело так, как вели доселе!

— А вы, отец, возьмете ее к себе на хлеба, когда ее за это самое с места прогонят? — с печальной и горькой иронией спросил его отец Никандр. — Вы дадите ей и кров, и пищу, и жалованье платить будете?

Старик откинулся несколько назад, точно бы перед ним вдруг возникла некая стена необоримая, и не нашелся, что ответить. На какие же хлеба мог бы взять ее он, сам на хлебах у зятя живущий!..

— То-то же вот и есть! — мягко попенял ему последний. — Смутьян-то выхожу не я... А я говорю только то, что сколь оно ни тяжело, а ничего не поделаешь, надо считаться с действительностью!.. Поэтому мой совет вам, — продолжал отец Никандр, обращаясь к Тамаре, — держите себе ту среднюю линию, про которую я говорю, — и все, даст Бог, пойдет прекрасно!.. А то, хотите, еще вот что! — оживленно спохватился он вдруг, под наитием внезапно пришедшей идеи. — И в самом деле, это идея!.. Напишите-ка вы как-нибудь этой госпоже Миропольцевой письмецо одно, другое, — ну, хоть благодарственное там, или

поздравительное, что ли, да только отправляйте через управу, чтоо они знали, что вы с ней в переписке... Батюшки светы! Да тут уважение к вам сейчас на пятьдесят градусов подыметя, бояться вас станут, ухаживать будут, этот самый Агрономский — первый хвостом вилять начнет и ручки вам целовать... Попробуйте-ка, в самом деле, так вот и увидите!

Тамара даже рассмеялась от этой мысли отца Никандра и представленной им комической картины.

— Ну, вот, и слава-те. Господи! — наконец-то солнышко на лице у вас проглянуло! — весело воскликнул он и, чтобы поддержать в ней и во всех домашних это прояснившееся настроение, снял со стены гитару, подстроил ее немножко и запел цыганскую: «Очи черные, очи ясные».

— И совсем тебе, попу, не к лицу перед барышнями такие песни петь! — благодушно взяла и потаскала его за пушистую шевелюру «матушка» Анна Макарьевна.

— Не к лицу?.. Ну, будь по-твоему! — покладливо согласился батюшка. — Стану, когда

так, тебя величать! Воспою мою Анну-желанну, Богом мне данну!

И став перед ней «в позитуру» Аполлона Бельведерского, с гитарой наотмашь, он с комическим пафосом запел, торжественно бряцая по струнам, свой нарочитый «стишок»:

*Анна, желанна, сердцем про-
странна,
Люби же ты, Анна, меня, окаян-
на!*

XI. МАЛЕНЬКИЙ СЪЕЗДИК

Накануне сочельника дети были распущены по домам, и школа на все время рождественских праздников закрылась. На третий день Рождества, около полудня, вдруг пожаловал туда г-н Агрономский, в сопровождении старшины, сельского старосты и сотского, и приказал Ефимычу попросить учительницу к нему в классную.

— А мы тут у вас хотим маленькую пертурбацию произвести, — любезно обратился он к Тамаре. — Нужно будет на время очистить эту комнату.

Та, не зная еще в чем дело и в ожидании дальнейших разъяснений, только глядела на него с выражением молчаливого вопроса.

— Помните, я говорил вам насчет маленького съезда, — пояснил он. — Ну-с, так вот, предполагается поместить тут у вас четырех учителей, — вы ничего не будете иметь против?

— Если это необходимо, — склоняя голову, поневоле согласилась Тамара, которой вовсе не улыбалась перспектива такого стеснитель-

ного соседства.

— Совершенно необходимо, — удостоверил он тоном хотя и мягким, но не допускающим дальнейших возражений— совершенно-с, потому что иначе никак не обойдемся. У меня в доме больше нет свободного места, все уже распределено и расписано, кому где, и вот, к сожалению, четверем человекам не хватает помещения. А тут у вас целый класс свободен! Вас это не стеснит, надеюсь, так ьквее дни и вечера мы будем проводить там, у меня, а сюда; олько на ночь. — Куда же им, бедным, деваться, сами согласитесь!

Тамара заявила, что если бы даже и стесняло, то что же делать, когда нельзя иначе!

— Значит, вы согласны? — обрадовался Агрономский. — Ну вот и прекрасно... А затем, и еще маленькая просьбица! — слегка залебезил он, потирая себе ручки.

— Что прикажете? — отозвалась девушка.

— Прошу-с, прошу, — приказывать не смею! — с усиленной любезностью поправил он ее выражение. — Дело в том, что не приютите ли вы у себя, кстати, и одну учительницу, которой тоже не хватает места?

— Отчего же, с удовольствием, — согласилась Тамара, но заметила только, что у нее в комнате нет ни лишней постели, ни дивана, где могла бы поместиться эта гостья.

— О, это ничего не значит! Это все вам доставят. — Вот, почтеннейший наш Сазон Флегонтович, — любезно указал он на старшину, — это он уже всем распорядится... Он у нас такой милый человек и друг просвещения, к тому же, — все хлопоты по этой части на себя взял... Кровати и сеннички будут, — это он уже нам раздобудет на селе, — ну, а насчет подушек там, простынь, да одеял, я уже оповестил учительский персонал, чтоб они все это с собой захватили... У каждого есть ведь какая-нибудь подушечка, да плед. Это-то не предстазит затруднений... Главное, теплый угол был бы.

— Да уж этого я распорядимши насчет дров, это не сумлевайтесь! — отозвался польщенный «друг просвещения» не без самодовольного бахвальства. — Сегодня же начнем жарить все печи, так что, — что твоя баня будет!

Агрономский распорядился перенести чер-

ную доску к себе в уездьбу, для надобностей съезда, а парты убрать На время в сарай, — и комната получила достаточно простора хоть бы и для восьми кроватей. Открытие съезда предполагалось на следующий день; но Тамаре, ввиду навязанного ей сожителства пяти посторонних лиц, было главным образом интересно знать, сколько времени может он продолжаться.

— Это будет зависеть от расположения, — поморщился Агрономский, — смотря как... дня два, может и три, но больше-то едва ли. Ведь тут главное доставить вам всем маленькое развлечение, — поспешил он пояснить ей с елеинной улыбкой, — для нравственного, так сказать, освежения, чтобы с новыми силами бодрее потом приняться за дело, — вот что-с!.. Ну, и педагогические вопросы, конечно, — это уж само собой, — в интересах общего сближения и обмена мысли... Знаете, для единства направления в преподавании, это очень важно. А вам в особенности, — прибавил он, — будет полезно: познакомьтесь с товарищами, с интеллигенцией нашей, — людей, — по крайней мере, увидите.

К вечеру все постели, собранные у кое-кого из зажиточных крестьян, были уже поставлены старостой на место, полы подметены, печи натоплены, — словом, как в школе, так равно и в барском доме Агрономского, все уже приготовлено к приему ожидаемых гостей. А на следующий день Тамара с утра уже одновременно видела в окно, как по селу плелись трусцой к усадьбе на одиночных крестьянских кляченках, — кто на розвальнях, кто в санках, — сельские учителя и учительницы, закутавшись выше ушей в свои пледы, со своими саками, узелками и чемоданчиками. Около часу дня, по направлению к усадьбе же, прокатили вдоль села на двух тройках с бубенцами какие-то, должно быть городские, приятели Агрономского, с двумя какими-то дамами, а за ними проковылял по ухабам закрытый со всех сторон возок старинного помещичьего типа, на «собственных» саврасых выкормышах. Вскоре после этого работник из усадьбы привез в школу и сдал с рук на руки Ефимычу скромные пожитки четырех учителей, а сам заявил Тамаре, что «барин приел али-де по вас лошадь и просят по-

скорее, все уже собралось».

Легкие санки в одиночку живо доставили ее к Агрономскому, где она застала уже довольно большое общество. Комнаты, в которых собралось это общество, во многом сохранили еще следы старинного барства, но, разумеется, не из желания со стороны нового хозяина сохранить их как заветную память прошлого (да и что могло быть тут для него заветным!), а просто по невниманию и равнодушию к ним, либо потому, что тот или другой остаток старины не успел еще пока получить у него более утилитарного применения. Высокие потолки и стены с лепными карнизами, со старинными люстрами по середине, с хрустальными бра и бронзовыми кенкетами в простенках, носили на себе в иных комнатах орнаментацию во вкусе рококо, а в других были расписаны в классическом стиле «empire», изображая по углам и бордюрам жертвенные треножники, пламенники Гименей, колчаны Амура, да вакхические тирсы с бубнами и масками в гирляндах цветов и винограда. На стенах висело несколько закоптелых картин в массивных, когда-то золоченых

рамах, и несколько старинных родовых портретов, в костюмах XVIII и начала нынешнего века; но все это в страшно запущенном виде. В зале стояли английские часы в высоком деревянном футляре, а в углах, на мраморных тумбах, бронзовые канделябры, в виде египетских обелисков, и фарфоровые вазы старинной Невской фабрики. Мебель в жанре Louis XV или Жакоб, старинные кресла и стулья красного дерева, либо карельской березы, с деревянными спинками и подушками без пружин. Все это уцелело здесь еще со времен дедов и прадедов нынешних беспоместных представителей рода Гвоздово-Самуровых. Новый же хозяин внес сюда лишь несколько фотографий, изображавших, вероятно, его друзей и родственников, да какой-то особенный патентованный спиртомер, да еще разбросанные по всем подоконникам и, вообще, где попало отчеты и протоколы очередных и экстренных земских собраний, номера «Голоса» и книжки либеральных журналов. Сам он похаживал теперь между своими гостями, что называется, гоголем, в несколько приподнятом, отчасти, даже торжественном настро-

нии, точно бы именинник. Он представил Тamarу всем свои гостям, в числе коих были почему-то две земские акушерки, и особо пере-знакомил ее со всеми учителями и учительницами. Учителя — все молодые люди — по большей части, отличались скромным, неуклюже застенчивым видом и глядели вначале бирюками, точно бы дивясь самим себе, — как это, мол, попали мы в такое большое общество и что из этого выйдет?.. Они каждый раз, неловко вставали перед Агрономским, если тот обращался к кому из них с каким-либо вопросом, и разговаривали с ним не иначе, как стоя. Видно было, что этот народ, если и не чувствует себя забитым, то с непривычки вообще стесняется перед «начальством». Зато учительницы держали себя гораздо развязнее и даже сами первые заговаривали и зашучивали с этим «начальством», как бы желая показать перед учителями и даже друг перед дружкой, что хотя оно и начальство, а мне это все равно, я-де с ним без чинов, совсем запросто! Но тем не менее все они порядочно-таки перед ним лебезили и старались быть как можно любезнее; даже кокетничали с ним

по-своему. Учителя были одеты скромно, но прилично, в чистом белье и черных сюртуках, и только один из них, более всех угрюмый и кашлатый, резко отличался от остальных своей вышитой рубахой-косовороткой, отсутствием галстука, клетчатым пиджаком и смазными сапожищами. Впрочем, и у остальных сапоги были, большей частью, высокие. Из четырех учительниц две оказались стриженными и в очках; но затем, в остальном костюме между всеми четверьмя не замечалось почти никакого различия. На каждой из них, поверх черной шерстяной юбки довольно узкого и короткого покроя, была надета серая или синяя кофта, — вроде рабочей блузы, стянутая кожаным кушаком, при совершенном отсутствии корсета, так что темное кашемировое платье Тамары, несмотря на всю свою скромность, резко выделялось между ними своим, более или менее, модным фасоном, изящно обрисовывая стройную фигуру девушки. Этот наряд ее составлял бы здесь совершенный диссонанс, если б не Марья Антоновна Шпицбарт, — особа для педагогики посторонняя, но приглашенная сюда

собственно «для приятной компании» земских друзей г-на Агрономского. Это была одна из земских акушерок, — девица или дама весьма бойкого и «модного» вида, с золотым пенсне на носу, хотя и стриженная, но зато очень кокетливо завитая барашком, и одетая даже с известным «шиком» в шелковое платье со шлейфом, и в кокетливую полумужскую жакетку с бархатными отворотами и шелковым галстучком на шее, из-под которого спускалась длинная золотая цепочка от часов, а из нагрудного кармашка торчал наружу кончик пунцового футляра. Другая акушерка — крупная, краснощкая и круглоликая поповна с красными руками, — девица из так называемых «ядренных», у которых, как говорится, хоть орехи на плече щелкай! — Эта хотя и приближалась по тону и ухваткам к стриженным учительницам, но «соблюдала себя» более по-женски, отличаясь, между прочим, роскошной косой, которая длинным жгутом падала ей на спину. Все эти девицы, для придания себе пущей независимости, разговаривали и смеялись нарочито громко и с апломбом, ходили по зале очень бойко, раз-

махивая руками, глядели самоуверенно и беспрестанно дымили папиросами. Тамару, благодаря ее, не подходящей под их шаблон, наружности, встретили они искоса и отнеслись к ней с самого начала довольно сухо, за исключением, впрочем, нарядной Марьи Антоновны, которая сразу изъявила даже некоторую тенденцию взять ее как бы под свое покровительство.

Кроме учительского и акушерского «персонала» здесь находились налицо и несколько приятелей Агрономского, его соратников по земству, из торжествующей, то есть правящей партии. Один из них, г-н Ратафьев, с почтенной наружностью кряжевого «русского человека», с широкими скулами и маленькими медвежьими глазками, был достопримечателен тем, что ухитрился занимать одновременно чуть не до дюжины теплых мест и хлебных должностей в разных общественных учреждениях уезда. Будучи членом земской управы, он состоял, между прочим, товарищем директора общественного банка и бухгалтером того же банка, и приходорасходчиком управы, и опекуном над имуществом ка-

ких-то малолетних, и членом конкурсного управления над делами нескольких несостоятельных купцов, и почетным мировым судьей, превратясь постепенно из простого управского писца в богатого бабьегонского домовладельца и воротилу в городском и земском самоуправлении.

Другой, г-н Семиоков, известный более под именем «милого Петра Ильича», или «милого Пьеро», — высокий, не без умеренного дородства, брюнет несколько армянского типа, с прелестными подкрашенными усами и вечно подвитой шевелюрой — коками вперед, в том роде, как обыкновенно изображаются франты на провинциальных парикмахерских вывесках, одетый всегда изысканно, по моде самого современного, но дурного тона, с брильянтовыми запонками и множеством сверкающих самоцветными камнями перстней и колец на коротких, припухлых пальцах выхоленных, белых рук. Воображая себя большим сердцем и, между прочим, покровительствуя под сурдинку Марье Антоновне, г-н Семиоков ухитрился служить бесплатным членом одновременно в обеих управах: и в земской, и в го-

родской, — из одной-де бескорыстной любви к «принципу зельфгувернемента». Но злые языки эту бескорыстную любовь объясняли тем, что «милый Петр Ильич» очень любил браться за всякого рода общественные сооружения «хозяйственным способом» и вообще за всякие земские и городские дела и работы, если они отдавались с подряда. Является подряд в земстве, — он, как «свой человек» обеих управ, очень обязательно доставляет «сходные» справочные цены на весь потребный материал из городской управы в земскую; открывается какая-либо работа для города, — «милый Пьеро» уже тут как тут со справочными ценами из земской управы в городскую. Затем он приглашает ту или другую управу к себе на завтрак, после которого келейно, с глазу на глаз, обусловливается круговая сделка между Петром Ильичем и приглашенными членами, — и выгодный подряд всегда благополучно остается за ним, как за самым «благонадежным» и «добросовестным» человеком, с единогласным устранением всех прочих конкурентов. Поэтому милого Пьеро заглазно называют также «ходячей или пере-

мётной справкой*; но насколько первые две клички ему нравятся, настолько же послснюю он не любит, считая ее прямо за «диффамирующее его обстоятельство».

Третьим гостем, из самых почетных, являлся некий гладенький, чистенький, всегда свежевобритый и надушенный старичок, с отложными воротничками а l'enfant, с младенческой улыбкой на устах, сложенных всегда фитой, как будто бы он собирается произнести французское слово «ротте», и с глянцем на румяных щечках, делавших его похожим на крымское яблочко. То был Нестор Модестович Пихимовский, спорадически уцелевший какими-то судьбами остаток от прежних помещичьих времен, которого крестьянская реформа, вместе с Герценом и Огаревым, сбили когда-то с панталыку — даже до подачи «петиции» о снятии с него дворянских прав, или о приравнении таковых к правам крестьянского сословия, причем он так и остался без панталыку уже навеки, являя собой, в некотором роде, либеральные земские мощи. На восьмом десятке жизни и в состоянии почти уже полного рамолисмента, он, подобно дру-

гу своему де Казатису, тоже неукоснительно причислял себя к «молодому поколению» и вообще был очень озабочен тем, что о нем подумает «молодое поколение», что оно скажет и, в особенности, что напишет о нем в газетах. И если в какой-либо газете появлялся о нем порой отзыв, хотя бы короче воробьиного носа, как о либеральном земском деятеле, он носился с этим номером, как «лома с писаной торбой», разъезжая по всем своим знакомым и с умилением показывая им лестные для себя строки, — вот, дескать, вспомнили-таки, оценили наконец и поняли!.. Несомненно, впрочем, одно, что это был человек чистого сердца, мягчайшей души и невиннейшего мировоззрения на практическую сторону жизни. Надувать его можно было сколько угодно — была бы только охота! — равно как и занимать у него деньги без отдачи, и этим, конечно, пользовались. Старый холостяк и чуть ли не извечный девственник, никогда не вкушавший от древа познания добра и зла, и потому крайне умеренный в личных своих потребностях, даже до такой степени, что не ел никогда никакого мяса, питая к нему природ-

ное отвращение, — он обладал очень хорошим состоянием, которого ему некуда было проживать и некому оставить, разве только каким-то внучатым племянникам. Поэтому он основал в уезде на собственные средства «образцовую женскую школу рационального мыловарения», с курсом химии и «мыловедения», отстроил ее роскошным образом, в изобилии снабдил всем необходимым и, в заключение, презентовал ее своему земству, продолжая ежегодно затрачивать немалые суммы на поддержание этого в сущности, ни на что и никому не нужного, своего детища; но с тем, однако, условием, чтобы оно навсегда сохранило наименование «земской школы Пихимовского» и значилось бы под этим названием во всех земских отчетах. В этом состояло главное его самолюбие. Кроме того, несмотря на свой рамолимент, а может быть, именно вследствие такового, он вменял себе как бы в священнейший долг не пропускать, по возможности, ни одного земского собрания в своем уездном и губернском городе и ни одного частного съезда земских «деятелей и сеятелей», если только съезд этот ма-

ло-мальски мог касаться «молодого поколения». На всех таких собраниях и съездах он непременно «подымал вопрос» о государственном значении специально женского, рационального мыловарения и о настоятельной необходимости пропагандировать его во всех земствах Российской империи, дабы дать этой важнейшей отрасли государственного хозяйства возможно широкое распространение и полное применение. Обложенный и заткнутый ватой, обмотанный пуховым тајхт)ОМ и окутанный мехами, он разъезжал в таком виде живой мумии по земским съездам и по своим знакомым — летом в старинном дормезе, зимой в закрытом возке, и всегда не иначе, как со здоровой, молодой мамкой, которая садилась с ним рядом и обязанность которой состояла в том, чтобы кормить его грудью, когда запросит, и обтирать ему потом губы. Не кушая почти ничего, кроме манной каши, он уверял своих друзей, да и сам, по-видимому, был глубоко убежден, что женское молоко лучше всего поддерживает его силы и дает энергию пропагандировать на общественных съездах дорогое ему мыло-

варение.

Поговорив о высоком значении «ученых мыловарок» и вдосталь посочувствовав задачам и невзгодам «молодого поколения», он выходил на время из залы заседания или из гостиной добрых знакомых пососать грудь у своей мамки, все равно как отправляются люди покурить, и затем, если не засыпал на полчаса на ее груди, то всегда «возвращался к вопросу». Не только в уезде, но и в губернии все уже давно привыкли к тому, что без этих либеральных земских мощей и без их «мыловарения» не обходится ни одно собрание, и выходило даже так, что если какому-либо собранию желательно было придать особую помпезность или солидность, то оно казалось немислимым без наличности сих земских мощей, которые как бы санкционировали его своим досточтимым присутствием. Поэтому все уже, так сказать, по преданию, относились к ним со знаками благодушно почтительного внимания, а за спиной не менее благодушно подсмеивались над «досточтимейшим младенцем» и его «соской».

Несколько позднее приехали еще земский

врач местного участка Гольдштейн, земский провизор Гюнцбург и земские инспектора: сыроварения — Миквиц, технологии — Коган, лесоводства — Лифшиц и земский дорожный мастер Шапир. Все они приехали на одной тройке, наглядно изображая собой во время пути если не сельдей в бочке, то пучок цибулек в кошике, все являли собой совершенно либеральных и достаточно развязных жидочков, все, «как образованова люди», даже очень довольно «зачувствовали» делу народного просвещения, и все поэтому были встречены хозяином с живейшим восторгом, как лучшие друзья и приятели.

Для приезжающих гостей еще с утра были выставлены в буфетной комнате разные консервные закуски и домашние соленья и копченья, с целой батареей различных водок «собственного» завода Агрономского, а для барышень — чай с вареньем и бисквитами Алибера и целый поднос бутербродов с сыром и колбасой. Барышни успели уже «сокрушить» стакана по три чаю и поесть все бутерброды, а «деятели и сеятели» раза по три приложиться «с дорожки» к уёмистым рюмкам и расска-

зять при этом друг другу все новости и сплетни своего уезда, обсудить вчерашнюю интересную партию в винт у мирового, пересудачить отсутствующих друзей и знакомых, обругать и распять врагов, похвалить последнюю передовую «Голоса» и послать ко всем чертям ненавистного Каткова, перемыть бока администрации и правительству, уволить от министерства графа Толстого и словесно спасти погибающую Россию, с помощью, конечно, самой либеральной конституции и земства. Все это они уже совершили, как следует, даже выслушали мимоходом кое-что о спасительном для России значении мыловарения и сыроварения, и находились теперь в приятном раздумье — не дернуть ли, черт возьми, по четвертой, — а заседание учительского съезда, между тем, все еще не открывалось, и несчастные, всеми забытые сельские учителя, опасаясь, при всем желании, выпить в присутствии «начальства» даже по второй, чтоб не сомлеть неравно к началу заседания, уныло торчали в ожидании его рядком на стульях, или скучно бродили по зале, как сонные мухи в дождливый осенний день по оконным

стеклам. Агрономский поджидал еще почетных своих гостей, в лице председателя управы де Казатиса и уездного предводителя Коржикова, без которых ему не хотелось приступить к делу. Но вот, слава Богу, приехали наконец и они, да еще привезли с собой и третьего, тоже замечательного в своем роде субъекта.

То был Ермолай Касьянов Передернин, земский делец, из «мужичков» — тех типичных «мужичков-простачков,» и «самородков», какими обыкновенно хвастают квасные патриоты, когда хотят привести примеры «русской» смышленности, находчивости, удали, деловитости и т. п. «Мужичок» этот хоть и кажется «простачком», но всегда себе на уме и шельма преестественная, доточно знающая, где раки зимуют и как ловить их себе на пользу богобоязненным способом, так что пальца в рот ему не клади: благословясь, откусит. Ермолай Касьянов — красновато-рыжая, коренасто-приземистая фигура лет под пятьдесят, с красноватым лицом, которое от множества никогда не сходящих веснушек казалось тоже каким-то рыжим, — вышел в

«деятели» из простых крестьян бабьегонского уезда, и не потому, чтобы его «тянул» кто-либо из «высоких» земцев, а просто сам по себе, благодаря своему «талану» и «планиде». Но выйдя «в люди», он остался верен своему крестьянскому обычаю и привычкам, по средам и пятницам неукоснительно рыгал редькой, ходил не иначе как в чуйке и смазных сапогах, что, однако, не мешало ему быть запанибрата со всеми земскими «деятелями» и уездными чиновниками, загибал «словца» и резал якобы по простоте «правду-матку», если находил это для себя выгодным, мужик плутоватый, мозговитый и дошлый, мастер на всякую изворотливую штуку, он от природы был тем, что называется тонкопродувной бес- тией, и потому очень ловко и весьма быстро пролез из простых «гласных» в «члены» земской управы, где и сделался в самом скором времени решительно необходимым, «золотым» человеком, так как в корень понимал сельские дела и порядки и разносторонне, а главное, практически знал свой уезд положительно лучше всех остальных сочленов. Без него це вершилось там никакое, мало-маль-

ски важное, дело.

От земского пирога он откромсал на свою долю хотя и неказистую, но сытную краюшку, по части заведывания вообще практически делами управы и черными работами, вроде вывоза больничных нечистот, очистки выгреонных ям и исправления дорог и мостов «подрядно-хозяйственным способом», то есть с подряда без торгов, причем сам же всегда являлся и подрядчиком, и наблюдавшим за производителем и производством работ, и расходчиком ассигнованных на них сумм, и уполномоченным от земства контролером над теми же суммами и работами. В результате всего этого, у Ермолая Касьянова невесть откуда выросли в Бабьегонске, один за другим, два прехорошеньких домика и уже при торговывался третий, с банями и лавками и с помещением под «трактирное заведение с номерами для приезжающих», как вдруг, за какие-то земские прорухи попал Ермолай Касьянов под следствие и был, по предложению губернатора, устранен пока что от должности. Казалось бы, полный конфуз и для него, и для «членов», но нет! — стыд не дым, глаза не

выест, и так как Ермолай Касьянов, в качестве дельца и сведущего человека, был решительно необходим для председателя и остальных членов управы, ибо без него управа была как без рук, то на первом же экстренном земском собрании председатель, в обход губернаторского предложения и, так сказать, «в контру» и «в пику» администрации, добился от гласных «единогласного» признания Ермолая Касьянова «временно уполномоченным от земства при управе». Да мало того, еще назначили ему и содержание, в виде «благодарности» за якобы понесенные труды, и даже поднесли «выражение общественного сочувствия» в особом адресе. И вот таким-то образом, Ермолай Касьянов Передернин, первый друг и приятель всех «выдающихся» бабьегонских земцев, продолжал фактически оставаться членом управы и ворочать делами по-прежнему, даже и в ус себе не дуя насчет следствия, в полной уверенности, что так или иначе, а уж непременно выкрутится/И все были уверены в том же.

Войдя в залу, он первым делом трижды перекрестился на передний угол/хотя там и не

обреталось никакого образ;», а затем, с радостными восклицаниями и распростертыми объятиями, как нежданный, но достолюбезный гость, был встречен хозяином и пустился лобызаться в обе щеки, начиная с Агрономского и переходя поочередно в объятия каждого из своих управских друзей и земских приятелей, не исключая и досточтимейшего Нестора Модестовича Пихимовского, тоже подставившего ему для прикладывания свои крымские яблочки. Его наскоро пригласили в буфетную «догнать», вместе с де Казатисом и Коржиковым, ранее прибывших гостей насчет «подкрепления», и так как теперь все «почетные» были в сборе, то оставалось только не очень уже длить догоночную закуску и неизбежное при ней земское празднословие.

XII. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАЗВИВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Наконец Агрономский громогласно пригласил всех гостей своих в залу, посреди которой был поставлен продолговатый стол под зеленым сукном, нарочно позаимствованным для этого из земской управы. Вокруг стола, с трех сторон, стояло несколько кресел, а против него — полукругом ряды легких стульев и старинных бальных скамеек, крытых штофной материей и составлявших принадлежность этой залы. В стороне был приготовлен особый столик для «секретаря съезда», на обязанности коего лежало, ведение журнала заседаний.

Сам хозяин взял на себя роль «руководителя съезда» и потому поместился по середине большого стола, на председательском месте, а в секретари выбрал кашлатого учителя в вышитой косоворотке. Почетные гости, как де Казатис, Коржиков, Пихимовский, Ратафьев и Семиоков, поместились в креслах за тем же

столом, по обе стороны от Агрономского, и к ним сюда же присоединился с краю, по собственной наглости, никем не прощенный Ермолаи Касьянов, который, подобно прочим, тоже взял себе чистый лист гшечей бумаги и карандаш «для заметок». Остальная вся публика разместилась на предназначенных для нее стульях и скамейках, на одной из которых, в заднем ряду, расселся, в качестве «друга просвещения», и волостной старшина Сазон Флегонтович — «потому как и нм таперича очинно лестно было тоже посидеть с господами и послухать умных разговоров телегенцыи». Он не без иронии, но и не без зависти посматривал на Ермолая Касьянова, бормоча про себя: «Ишь ты, залетела тоже ворона в высокие хоромы!»

Помямлив с минуту и совещательно пошептавшись о чем-то с де Казатисом с одной и с Коржиковым с другой стороны, Агрономский привстал с места и, обведя исподлобья глазами всю публику торжественно произнес:

— Объявляю заседание съезда открытым.
После этого он, во вступительной речи сво-

ей к милостивым государыням и государям, изъяснил, что уважаемое бабьегонское земство предполагает устроить будущим летом общий съезд учителей и учительниц всего уезда ради какой-либо цели уже ассигновано ему до тысячи рублей из земских сумм, и что для осуществления этого съезда ведутся официальные сношения с попечителем учебного округа и приглашен уже в руководители один из наших известнейших и наиболее уважаемых педагогов, Иона Филиппович Бубнаков, составивший себе громкое имя, как опытный руководитель учительских съездов во многих земствах. Но так как отношения с официальным миром министерства народного просвещения вообще затруднительны и отличаются досадной медлительностью, в особенности при нынешнем его прискорбном и глубоко ненавистном для всех честно мыслящих людей направлении, то он, Агрономский, по совещании со своими многоуважаемыми друзьями и сотрудниками по земскому делу (при этом благосклонный кивок полупоклоном направо и такой же налево), решил устроить предварительно маленький ездик, в виде

опыта, совершенно частным образом, воспользовавшись для сего праздничным временем, дабы соединить полезное с приятным и доставить нашим достойным труженикам и труженицам народной школы возможность свободного и освежающего обмена мысли, вне стеснительного контроля министерских приставников, вместе с возможностью повеселиться в дружеском, единомышленном кружке. Далее он заявил, что, по сношении с предъизбранным руководителем будущего съезда, этот достойнейший педагог уже прислал ему свой сочувственный отклик, в виде начертанной им самим программы вопросов, подлежащих обсуждению на будущем съезде, каковую программу он, Агрономский, будет иметь честь сегодня же сообщить милостивым государяам и государыням, дабы они, основательно познакомясь с нею, могли подготовиться к будущему съезду свои рефераты по предложенным в ней чрезвычайно важным и жизненным вопросам первоначальной народной школы. А теперь, прежде чем приступить к дальнейшим занятиям, он желал бы предложить высокоуважаемому собранию

почтить вставанием достойную память некоторых невинно пострадавших и безвременно погибших товарищей-педагогов народной школы и, в том числе, одной сельской учительницы, отравившейся серными спичками от избытка гражданской скорби, так как она была не в силах оставаться дольше свидетельницей торжествующего зла и тех гонений, какие воздвигнуты ныне на все честно мыслящее в России и, в особенности, на наше дорогое молодое поколение. К этому он желал бы также присоединить и почтение памяти тех юных учащихся, которые в безвременном самоубийстве нашли себе единственный исход из нестерпимого гнета толстовской системы просвещения.

Все это было сказано совершенно серьезно и даже торжественно с надлежащим пафосом, — и по знаку Агрономского, все собрание тихо поднялось с мест и простояло около минуты в полном молчании, с прилично удрученным видом. Тишина прерывалась порой только чавканьем мягких губ Пихимовского, который точно бы по-младенчески искал и не находил спросонья своей достолюбезной сос-

ки. Затем Агрономский перешел к программе Бубнакова, заранее уже оттиснутой в земской управе гектографическим способом на отдельных листках, розданных им теперь всем присутствующим, и прочел следующее:

«1) Психологические данные, служащие основой для правильной постановки обучения и нравственного воздействия школы и учеников. Образование представлений и понятий. 2) Разъяснение принципа наглядности и применения его, во-первых, ко всем предметам элементарного курса и, во-вторых, в форме самостоятельного предмета, называемого «наглядным обучением»). 3) Теория чувствований и желаний. — О темпераментах. — Принцип индивидуальный и принцип социальный. 4) Законы сочетания душевных продуктов. 5) Общие свойства правильного, доступного и прочного элементарного обучения, как внутренние, так и внешние».

— Скажите мне откровенно, поняли вы здесь что-нибудь? — тише чем вполголоса обратилась к Тамаре ее соседка-учительница, которой было отведено, у нее место ночлега, вследствие чего обе они сочли нужным по-

знакомиться между собой поближе.

— Откровенно говоря, многого не понимаю, — пожалала плечами Тамара. — Слишком уж туманно!

— И я тоже, — призналась ей соседка. — Но ведь на все эти вопросы нам отвечать и писать придется?!

— Ну, что ж, так и ответим, что не понимаем, и только.

— Ои, что вы!.. Это значило бы потерять в их глазах всю свою репутацию педагогическую... Лучше уж притвориться понимающими.

— О чем вы, сударыни, говорите? — вдруг обратился к ним Агрономский, оводя ту и другую вопрошающим взглядом. — Вы, кажется, сказать хотите что-то?

— Н...нет, я ничего... я так только, — замялась в ответ ему смутившаяся учительница.

— В таком случае, я попросил бы более внимания, — заметил ей не совсем довольным тоном руководитель и перевел глаза на Тамару. — Может быть, вы имеете что спросить или заметить?

— Если позволите, — поднялась та с места.

— Пожалуйста-с.

— В этой программе, — начала она, — кое-что для меня совсем непонятно, и я просила бы разъяснить мне...

— Что же именно? — наморщился Агрономский. — Например?

— Например, что это за «психологические данные», во-первых, — прочла она в своем листке, — «служащие основой для правильной постановки обучения?» Во-вторых, «теория чувствований и желаний», или вот тоже «принцип индивидуальный и принцип социальный»?.. и еще вот эти «законы сочетания душевных продуктов»?..

— Что же тут непонятного? — притворно удивился «руководитель», с видом напускного авторитета. — Самые простые, элементарные вещи!

— Да все, если хотите, — откровенно созналась девушка.

— Как «все»?!. Что вы хотите этим сказать?.. Что это значит «все?»

— Просто, все непонятно, и только.

— Хм!.. В таком случае, извините, мне остается только пожалеть о степени вашего раз-

вития, — не без ядовитости заметил ей Агрономский.

— Вот потому-то я и прошу разъяснить мне, — скромно ответила Тамара.

— Не будемте забегать вперед: в свое время все разъяснится, — увильнул он от прямого ответа и прибавил внушительным тоном, что покорнейше просил бы господ слушателей не нарушать вообще хода конференции.

— Очевидно, он и сам не понимает, — шепнула Тамара на ухо соседке, которая только улыбнулась на это, закусив себе губы.

— Предметом сегодняшней нашей беседы, — начал между тем докторальным тоном Агрономский, — имеет быть «рациональное обучение и воспитание вообще», а в частности, как путь к его достижению, — экспериментально-развивательный метод элементарного образования и его преимущества перед наглядно звуковой и членораздельно-образовательной системой, по методу, рекомендуемой авторитетным нашим педагогом, г. Паульсоном.

Вслед за этим он позвонил в стоявший перед ним бронзовый колокольчик, на звук ко-

торого в дверях появился какой-то домашний парень — не то лакей, не то работник.

— Внесите сюда, прошу вас, вещественные предметы, — приказал ему хозяин, — и через минуту парень притащил и положил на пол перед столом, старую тележную ось, дугу, пилу, ухват, кочергу и печную заслонку. — Благодарю вас, можете удалиться, — кивнул ему «руководитель». — Или нет, останьтесь! — остановил он уходившего парня. — Вы нам сейчас пригодитесь.

Парень скромно отошел к сторонке и стал за стульями.

— Первая наша задача, — продолжал Агрономский, обращаясь к «учебному персоналу», — первый наш, так сказать, педагогический долг, если мы желаем быть сознательно-рациональными педагогами начальной народной школы, это — не столько учить, сколько развивать, или иными словами: учить поменьше, развивать побольше, и притом не иначе, как забавляя. Все учение, в сущности, должно быть легкой забавой.

— Да, и вот семь даров Фребеля, — начал было, прервав его речь, Пихимовский. но на

первых же словах запнулся и далее не продолжал, будучи вовремя предупрежден дружеским толчком де Казатиса, — не перебивайте, мол, досточтимейший!

— Но каждый раз, прежде чем приступить к своей задаче, — продолжал, как бы не слышав его, Агрономский, — учитель непременно должен фиксировать внимание учеников. Например: учитель хлопает ладоши и спрашивает учеников: «что я сделал?» — Ученики должны отвечать ему: «вы ударили в ладоши». Тогда учитель приступает к черчению пальцем в воздухе различных предметов; например, чертит крест, или лестницу и т. д. и спрашивает каждый раз учеников: «что начертил я?» А те отвечают: «вы начертили крест», или «вы начертили лестницу». И когда внимание их достаточно уже будет этим способом фиксировано, — только тогда, но никак не раньше, может учитель приступить к экспериментально-развивательной лекции. Госпожа Культяпкина, пожалуйста к доске! — вызвал он одну из учительниц и затем обратился к парню-работнику, — Иван, подымите первый предмет, лежащий на полу

справа, считая по порядку от меня, то есть от вашей левой руки к правой.

Иван ровно ничего не понял и тщетно искал по полу глазами, что именно приказывают ему поднять, пока наконец не схватил на удачу кочергу с заслонкой.

— Э, Боже мой, как вы невнимательны! — передернулся Агрономский. — Справа, говорю, справа, то есть от вас первый предмет слева.

— Это ось-то? — домекнулся наконец работник.

— Ну, конечно! Разве не видите?

— Да вы бы, сударь, давно так сказали!

— Что такое «давно»!.. Кажется, уж и то, мой способ изъяснения точнее точного и не требует никаких переспросов, а только маленького внимания.

Парень поднял ось и, положив ее горизонтально на руки, стал перед столом в совершенном недоумении, зачем, мол, это? и что из этого будет?

— Повернитесь, Иван, лицом к этой барышне, которую вы видите у черной классной доски, и покажите ей ваш предмет.

При этих словах, парень сразу точно бы обомлел и, метнув недоумевающий взгляд сначала на своего хозяина, потом на барышню, потом опять на хозяина, продолжал стоять неподвижно, — только физиономия его приняла несколько смущенное и потому глупо улыбающееся выражение.

— Покажите же, говорю, ваш предмет этой барышне, — вразумительно повторил ему Агрономский.

— То ись... как это... мой предмет?.. — запнулся в замешательстве парень, готовый вконец уже сконфузиться.

— Какой вы странный! — солидно пристыдил его хозяин. — Понятно, тот предмет, который вы держите в руках.

Парень повернулся к девице у доски и протянул вперед руки с осью.

— Госпожа Культяпкина! — что вы видите в руках у Ивана?

— Вижу ось, — отозвалась барышня.

— Хорошо-с. Возьмите мел и напишите на доске это слово, сначала печатными, а затем письменными буквами.

Та написала «ось» два раза, как требова-

лось.

— Объясните, что именно вы написали?

— Я написала два раза слово «ось», из которых первое по печатному, а второе по письменному алфавиту.

— Прекрасно-с. Теперь вы должны фиксировать внимание учеников на составные элементы данных литер, то есть, что именно мы в них находим? — Мы находим в них сначала кружок или нолик, затем полкружка или полнолика и наконец палочку с булочкой или с приписывающимся к палочке обратным полуноликом, что и составляет немую букву, глупо называвшуюся в старых букварях «ериком» и служащую для обозначения мягкого окончания звука, а в совокупности, все это составляет?..

— Составляет слово «ось», — подхватила барышня.

— Превосходно-с! — Теперь пожалуйста поближе и рассмотрите внимательно данный предмет, который вы видите в руках у Ивана. Рассмотрели?

— Рассмотрела.

— Хорошо рассмотрели?

— Кажется.

— «Казаться» ничего не должно в нашем деле, позвольте вам заметить, — внушительно проговорил Агрономский. — Здесь все требует совершенно положительного определения и самого тонкого выражения. Итак, хорошо ли вы рассмотрели предмет?

— Рассмотрела хорошо, — удостоверила его г-жа Кульпякина.

— Прекрасно-с. Расскажите же и назовите нам его составные части. Что вы здесь видите?

Девушка недоумело окинула его взглядом, потом — совершенно так же, как и Иван за минуту пред этим — опять взглянула на «руководителя» и молчала в видимом недоумении — чего ему от нее надо? Чего он пристал к ней?

— Ну-с. что же мы видим в этом предмете? — продолжал он. — Начинайте-с.

— Ось вижу, и только, — пожала она плечами, с таким выражением в лице, которое невольно говорило: да отвяжитесь же, наконец, будьте так милостивы!

— Нет, не то! — сделал нетерпеливую гри-

масу Агрономский, начиная уже досадливо и нервно корёжиться. — Мы видим здесь, — докторально продолжал он недовольным и как бы вдалбливающим тоном, — первое — подушку; показывайте рукой на подушку... Вот так!.. Ну-с, второе — плечи; показывайте на плечи, одно правое, другое левое; третье — рога; указывайте рога в том же порядке, один правый рог, другой левый рог. Затем следуют: шкворень, чеки, гайки и т. д. Вот что мы видим, понимаете-с? Технически, на языке педагогов, это называется педагогическим рассмотрением предмета.

— Да, и вот семь даров Фребеля, — начал было опять Пихимовский, но опять замолк, не договорив, вовремя остановленный де Казатисом. Вместо продолжения членораздельных звуков его речи, слышалось некоторое время одно только чавканье его губ, как бы смаковавших что-то, но и то вскоре затихло под наитием старческой дремоты.

— Затем, — продолжал Агрономский, — вы должны сделать описание предмета, то есть определить, что такое ось, из чего она сделана, ее назначение и употребление, а кстати,

пересчитать составные части телеги и других колесных экипажей, от телеги до фаэтона и ландо, и объяснить при этом, кто ездит в телеге, а кто в ландо, возбудить сочувствие к первому и внушить достоподобное отношение ко второму. После этого наступает очередь катехизации предмета. Учитель берет данный предмет и спрашивает у ученика: «что у меня в руках?» Тот отвечает: «ось». — «Что такое ось? из чего она сделана? какие ее составные части? к чему она служит?» и т. д. Затем, когда из катехизации предмета учитель убедится, что ученик достаточно усвоил себе, наконец, понятие о том, что такое ось и ее назначение, роль ее в составных частях экипажа и прочее, тогда он, для гимнастики языка, заставляет ученика произносить скороговоркой — непременно скороговоркой! — следующее упражнение: «Оси не осы, и осы не оси. У осы усы. Нет, не усы у осы, у осы усики, и суслики с усиками». Учитель заставляет повторять эту скороговорку до тех пор, пока ученик не научится произносить ее быстро, чисто и без запинки, а тогда уже, для гимнастики мозга, может задать соответствующую загадку,

как относительно оси, так и относительно осы. Затем уже, в следующий урок, как советует г. Паульсон, можно в последовательном порядке перейти к экспериментально-развивательному упражнению с дугой, хватом, кочергой, заслонкой и т. д. Но каждое упражнение обязательно кончать, для развлечения и забавы, непременно соответствующими скороговоркой и загадкой.

— Ну, нет, позвольте, однако! — авторитетно перебил его вдруг Ермолай Касьянов. — Вы говорите, — загадки. Какова загадка тоже!.. Загадка загадке рознь!.. Иная такая загадка, что бабам только платком закрываться в пору от сраму-то. Это так тоже нельзя, не годится.

— Хорошо-с. Но я не понимаю, к чему вы это клоните? — обратился к нему Агрономский, очень недовольный, что опять его перебили. — Вы потрудитесь изложить нам вашу мысль яснее.

— А к тому и клоню, изволите ли видеть, что риходит этта ко мне онамедни мой мальчонка младший из школы. Хошь, говорит, ты-енька, я те загадку загадаю? — Ну, загады-

вай. А он мне — на-ко-сь! — и выложи вдруг, да такое, что при дамском поле, извините, и сказать не отважусь. Я так и обомлел, — ушам своим не верю! — да за вихор его, за вихор!.. Ах ты, мерзавец, говорку смеешь ты отцу такие мерзости докладывать! Да и оттаскал же его за вихры-то, благо своя рука владыка!.. А он ревет этта, а сам пытается: за што, тятенька, бьешь? У нас эта самая загадка в книжке пропечатана. — Врешь, говорю, пострел! Станут в книжках экой срам печатать! Ни в жисть не поверю! — А ей-Богу же, пропечатано! и сам сейчас этта книжку приносит и показывает. — На, говорит, гляди. Глянул я, и сам не понимаю, во сне ли мне это, аль и в сам-деле наяву по печатному читаю?! — Какая такая книжка, думаю? Глядь на обложку, — Паульсонова «Первая учебная книжка» прозывается, «классное пособие». Хорошо пособие!.. А ведь одобрена тоже!.. Так вот какие загадки-то бывают, — благодарю покорно![1]

Это сообщение Передернина произвело во всем обществе некоторый эффект скандала и вызвало в меньшинстве отчасти смущение, а в большинстве возбудило главным образом

игривый интерес скабрёзного свойства. Всем захотелось познакомиться с курьезной загадкой, — что, мол, там такое? и какими судьбами могла она попасть в «классное пособие»? Потребовали на сцену инкриминированную книжку и предложили Ермолаю Касьянову указать, где именно вычитал он такую прелесть? Тот отыскал страницу и молча, с торжествующим видом, передал перегнутую книжку Агрономскому, который прочел в ней про себя отмеченную загадку, но, к удивлению Передернина, нимало не смутился.

— Не понимаю, что ж вы тут нашли такого? — пожал он плечами и недоумело оглянулся на своих соседей. — Посмотрите, пожалуйста, господа, может быть, вы что-нибудь найдете, а я, признаюсь, не вижу ровно ничего непристойного. Самая невинная загадка!

Книжка пошла по рукам у всех заседающих за большим столом и вызвала несколько удивленных или двусмысленных улыбок и несколько пикантных замечаний и пояснений на ухо между соседями. Явилось предположение, что это кто-нибудь, вероятно, подшутил над г. Паульсоном, сообщив ему такую

загадку, а он, как немец, чуждый русскому народному быту и духу, взял да и вклеил ее, ничтоже сумняся, в свою книжку, — иначе оно, конечно, и быть не могло бы.

— Да нет, ведь это как понимать-с! — заспорил с вечным своим капризным кривляньем Агрономский. — Зачем же непременно видеть в ней неприличный смысл, когда ее можно приурочить к чему хотите, — например, к орешку, к куриному яичку, или к улью с медом, а может и еще к чему, такому же, — стоит только напрячь немножко свое остроумие и подумать!

— Полноте! чего там думать еще, куда приурочивать, если она испокон века уже приурочена известно к чему, и весь народ крещеный знает это! — возразил ему Передернин.

— А знает, так из-за чего же вы тогда гвалт поднимаете?! — довольно резко обратился он к последнему. — Важность какая, скажите пожалуйста, если дети ваши прочтут в книжке то, что они и без того уже знают!.. Истинно реальное воспитание в том-то, батюшка мой, и состоит, чтобы приучать ребенка смотреть на вещи прямо, и понимать их наголо, без

флера и прикрас, а как есть в самой природе, чтобы называть вещи настоящими их именами. В этом весь смысл реального воспитания, и — воля ваша — я не понимаю, чем вы тут возмущаетесь!? Это — извините — с вашей стороны порядочное-таки ретроградство, катковщина какая-то выходит!

— Да что вы мне каждый раз все катковщина да катковщина! — обиженно возвысил голос Передернин. — Что я за Катков такой дался вам!.. Вы не смеете обижать так порядочного человека!.. Я не позволю!.. Катковщина, скажите пожалуйста!.. У кого катковщина, а у кого жидовщина!.. Эдак-то коли учнем прекать друг друга...

— Господа!., господа, позвольте! — солидно убеждающим и примирительным тоном поспешил остановить их де Казатис. — Ермолай Касьяныч! Алоизий Маркович!., что вы это?! зачем?.. Позвольте помирить ваш спор... Позвольте-с, один вопрос: книжка эта одобрена ученым комитетом или не одобрена?

— Одобрена! — откликнулось ему несколько голосов со скамеек и стульев.

— Тогда и толковать не о чем! Значит, она

признана удобной и полезной для юношества, и никакого в ней смысла особенного в этих загадках не найдено, — ну и успокойтесь на этом, не будемте спорить!.. Правительство одобряет, цензура пропустила, так нам-то что!

— Я прошу слова! — неожиданно, но как раз кстати, поднялся с места Нестор Модестович Пихимовский.

— Ну-у, заведет теперь машинку насчет мыловарения! — подмигнул по соседству Семиоков Ратафьеву, в то время как Агрономский с Передерниным обменивались между собой примирительными кивками и улыбками, выражая тем взаимные извинения.

— Я прошу слова! — повторил погромче старец, поводя, словно котик, направо и налево головкой.

— Пожалуйста, пожалуйста!.. Просим!.. Господа, внимание!.. Слово досточтимейшему! — засуетился Агрономский.

— Семь даров Фребеля, — начал Нестор Модестович и призадумался.

— Семь даров Духа Святого, хотите сказать вы? — громко и с чуть-чуть насмешливой

улыбкой поправил его Передернин.

— Духа? — удивленно взглянул в его сторону старец, не взяв ещё себе в толк, про какого духа говорят ему и что им надо. — Зачем духа?.. Нет, семь даров Фребеля, хочу сказать я... Не сбивайте меня, пожалуйста... Семь даров Фребеля, которые усвоены теперь в моей образцовой школе мыловарения, смею думать, служат наилучшим мотором для развития юных способностей. Дары эти суть: первый дар — мячики, такие хорошенькие разноцветные мячики, — лиловенький, красненький, синий, желтый и прочие, с цветными шнурочками; второй дар — цилиндрики, третий дар — кубики, много, много кубиков!.. Четвертый дар — кирпичики, пятый дар — призмочки, шестой — планочки, седьмой — дощечки. Из этих семи даров составляются все познавательные, математические, жизненные и изящные формы...

— Позвольте, то есть как же это? — с недоумением спросил де Казатис. — И математические, и жизненные, и что еще?..

— Изя-ящные! — протянул Пихимовский с грациозным жестом вроде воздушного поце-

луя. — О, это чрезвычайно занимательно! Я сам даже увлекаюсь иногда до такой степени, что дня по два, по три провожу с этими кубиками — ей-Богу!.. И даже времени не замечаю!.. Видите ли, как это делается: начинается курс образования ребенка с мячиком; я беру мячик за шнурочек и начинаю то вращать, то качать его перед глазами моей ученицы, или ученика, — это как угодно. Вращаю и приговариваю, по руководству: «вот мячик! видишь, мячик, красный мячик, красный мячик, красный мячик...» Или «синий мячик, синий мячик, синий мячик» и т. д., до тех пор, пока ребенок не познает всех цветов спектра. Тогда я перехожу к последовательным эволюциям с мячиком, причем есть и песенка, которую обучающий должен сперва сам выучить наизусть:

*«Катись, катись.
То вверх, то вниз!
На ящик скок,
Через правый бок!
Через ящик скок,
На левый бок!»*

— Это все чрезвычайно развивает внима-

ние и познавательную способность ума! — умиленно воскликнул Пихимовский. — Потом, милостивые государыни и государи, перехожу к кубикам — продолжал он, — г и на этом втором даре, в целом ряде строго последовательных упражнений, развиваю в обучаемом понятия о делимости телу, но и тут непременно с песенкой:

*«Целый кубик, целый кубик,
Половинок две;
Одна тут, одна там,—
Вот и кубик пополам!»*

И при этом, конечно, варьирую посредством манипуляций, соединенных с эволюциями, соответствующие положения кубиков:

*«Две половинки, две половинки,
Эта вверх, эта вниз.
Четыре четверки, четыре четвертушки,—
Две четверки наверху,
Две четверочки внизу.
Вот и две впереди,
Вот и две назад,—
Восемь вышло здесь восьмушек
Полезных игрушек!»*

— Я, ведь, нарочно ездил за этим в Петербург, — похвалился старец. — Да, нарочно!.. и брал уроки в «детском саду» у фребеличек.

— В Демидроне? — с комической серьезностью спросил Семиоков.

При этой выходке, многие не выдержав так и прыснули со смеху.

Агрономский с беспокойством оглянулся вокруг себя и обвел укоризненно-строгим взглядом не в меру смешливых слушателей.

— Прекрасно-с. Так что же собственно вы желаете? — поспешил он обратиться к старцу, чтобы хоть этим вопросом притушить поскорее не в пору взыгравшуюся веселость собрания, и предвидя, что если не положить всему этому конец сейчас же, то с одной стороны кубикам и песенкам, а с другой смешливому фырканию, пожалуй, и конца не будет.

— Я?., я собственно ничего не желаю, — скромно развел руками Пихимовский, — но я хочу предложить почтенному собранию ввести семь даров Фребеля в наши народные школы, как главную основу для рационального образования русско-го народа, в лице его молодых поколений, и если предложение мое

будет удостоено благосклонного приема, то я готов пожертвовать эти дары для каждой земской школы нашего уезда, от моего имени, на пользу общественную.

— Собрание своевременно обсудит ваше предложение, — обнадежил его Агрономский. — а пока постановляет — надеюсь, господа, единогласно? — обвел он пригласительным жестом всю залу, — выразить нашему достойнейшему сочлену, за его великодушное предложение, общественную признательность.

— Согласны!.. Постановляем и утверждаем... Единогласную! общественную!.. Ура-а! — раздались со всех концов дружные голоса, смешавшиеся с общими аплодисментами и шумом передвигаемых при вставании стульев.

Осчастливленный знаками такого внимания и раскланиваясь на все стороны, старец умилился, прослезился и дробными шажками поспешил удалиться на время из залы, чувствуя необходимость в мамке.

XIII. ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ

После этого «инцидента» Агрономский, взглянув на карманные часы, объявил заседание на нынешний день закрытым и пригласил всех гостей, вместе с учительницами и учителями, «к общему», как он выразился, «обеду из трех блюд простых, но питательных, и притом чисто и вкусно приготовленных».

В столовой земские «деятели и сеятели», после достаточных «пропусканий» и закусываний, разместились за «общим» длинным столом таким образом, что между каждым из двух мужчин очутилось по одной барышне, из числа акушерок и учительниц, причем Тамаре досталось, как бы самое почетное, после Марьи Антоновны, место — между Агрономским и де Казатисом. Учителя же сгруппировались между собой в особую кучку, без дам, в конце стола, как люди молодые. На них менее всего обращали здесь внимания, как на неизбежный балласт, вовсе не интересный и,

В сущности, никому даже не нужный, но от которого из приличия нельзя отделаться. С ними, впрочем, и не чинились. В то время, как для земских воротил и даже для жидочков были выставлены на столе более или менее приличные виноградные вина, на «учительский конец» Агрономский ущедрил одну только бутылку кашинской мадеры братьев Змиевых, да пары две или три пива, — с них, мол, и этого довольно, рылом пока еще для лучшего не вышли! Барышень же угощали специально мускат-люнелем и фиалковым медом, а для Пихимовского была особо приготовлена на молоке манная кашка. Обед из трех питательных, но чисто и вкусно приготовленных блюд, составляли ленивые щи с кулебякой, жареная телятина с картофелем и солеными огурцами и сливочный крем с ванилью. Либеральные земские жидочки, чтоб доказать свое просвещенное пренебрежение к религиозным предрассудкам, ели и пили все, не разбирая, «кошера» и «трефа», даже не погнушались и свиной колбасой за закуской. В начале обеда было несколько натянуто и серьезно, но после телятины лица у мужчин и

некоторых барышень, которых старательно подпаивали «сладеньким» господа-земцы, значительно уже поддурмянились, повеселели, и самые разговоры стали гораздо громче, непринужденнее, приняв даже игривое направление. При этом наибольшее оживление, с задорно либеральным пошибом и «пикантным» лоском, вносили в общую беседу все те же «цибулизированные» жидочки, которые, с обычной своей наглостью, воображая себя неотразимо «изъячными», остроумными и победительными, жестикулировали, вертелись на стульях и галдели громче всех, первые смеялись своим же собственным остроумам, ухаживали за барышнями и вообще держали себя «с независимостью» и «игривостью», как самые галантные еврейские кавалеры. На учителей они не обращали ни малейшего внимания, разве изредка удостаивая того или другого из них двумя-тремя благосклонными словами в снисходительно любезном тоне, и только один кашлатый в косоворотке пользовался с их стороны несколько большим вниманием, почти как равный. Зато перед барышнями жидочки так и рассыпа-

лись, стараясь занимать их «приятно-вумными» разговорами и развязно показывать им свои «изъячные» и деликатные манеры. Учителя в эти их беседы почти не вступали и, будучи выделены общим невниманием к себе как бы в отдельный кружок, держались все время как-то чкобняком и разговаривали за обедом только между собой. Но между земцами, сверх шуточек и двусмысленностей с некоторыми барышнями, застольные разговоры отличались и кое-какой серьезностью. Так, г-н Ратафьев «развивал» что-то на тему о необходимости «земского православия», в отличие от православия «официального», ибо это «земское православие» должно-де выработать новый тип «земского христианина». Агрономский убеждал своих соратников по земству в естественном праве последнего назначать своего собственного, выборного инспектора народных училищ, который, получая приличное содержание с приличными «разъездными», был бы главным педагогом-руководителем земско-учебного дела, независимо от «мертвящей» правительственной инспекции. При этом он политично «проводил» мысль о

«петиции» насчет столь благодетельного нововведения, будучи несомненно убежден про себя, что кого же и выбрать на такую должность, как не его самого? Ермолай Касьянов жаловался на «проклятую институцию урядников», которая очень уж стесняет его насчет вывоза земских нечистот. Г-н Семиоков, желая подделаться к Пихимовскому, в надежде получить у него «подрядец» на ремонт здания его школы, убедительно доказывал ему, что если на Ефимоновскую школу сыроварения министерство государственных имуществ истратило 200000 рублей, да кроме того, отпустило 100000 рублей лично ее учредителю, да сверх этого, само же входит ежегодно в Государственный Совет с представлениями об ассигновании на поддержку и развитие ефимоновского дела по 25000 рублей, то и образцовая школа мыловарения имеет не менее прав на столь же сочувственную поддержку правительства, ибо мыло в России еще нужнее сыра. Доктор Гольдштейн, со своей стороны, был весьма озабочен проектом съезда земских врачей и доказывал воротилам крайнюю необходимость осуществить такое бла-

годетельное дело в возможно скорейшем времени. И воротилы вполне с ним соглашались, за исключением, к удивлению всех, одного лишь прекраснодушного Пихимовского, который находил, что есть много дел гораздо полезнее и серьезнее, на кои земство должно бы обратить свое внимание, — например, что может быть полезнее добродетели, и что сделало земство для ее прощенья? А потому-де, чем сзывать съезд врачей и тратить на это тысячу рублей, было бы гораздо полезнее употребить эти деньги на учреждение, из пяти процентов, премии за добродетель, дабы поощрить ее в наши печальные времена, когда банковые, интендантские и иные хищения расплодились до того, что начинаешь, наконец, сомневаться в самом существовании добродетели. Но деятели и сеятели хотя и соглашались в необходимости поддержать добродетель, тем не менее находили, что и съезд врачей тоже благодетельное дело, а в особенности, если доктор Гольдштейн просит на устройство его такую безделицу, как тысяча рублей из земской кассы! Наконец, подпивший де Казатис откровенно разболтал, как

ловко удалось ему, в качестве председателя управы, провести, в угоду Агриппине Петровне Миропольцевой, сбор пожертвований с бабьегонских крестьян на театр в Омске и женские курсы в Нахичевани, а главное, на венки Дарвину и на памятник Либиху, причем-де последние две статьи были всего тоуднее, так как крестьяне спрашивали, кто, мол, такие эти Либих с Дарвином и чем они отличались на пользу отечества? — Ну, и нечего делать, пришлось объяснить им, что это-де «наши храбрые русские генералы», после чего пожертвования шли беспрепятственно. Либеральные жидочки очень много и одобрительно смеялись такой остроумной находчивости г-на председателя и отдавали полную справедливость его «игре ума» ради такой прекрасной, истинно либеральной цели, которая должна показать всей Европе в наилучшем свете наше просвещенное бабьегонское земство. Словом, обед прошел весьма оживленно и весело, причем не только учителя с учительницами, но и господа-земцы остались вполне довольны его тремя «простыми, но питательными блюдами».

После обеда последовал нарочно устроенный для учительского «персонала» сюрприз. Любезный хозяин пригласил всех гостей своих в залу, где следы давешнего заседания были уже прибраны, стол отодвинут к стене, скамейки и стулья расставлены вдоль стен по своим местам, — и здесь приятно удивленным учительским очам предстало зрелище рождественской елки, блиставшей посреди залы огнями парафиновых свечек и увешанной позлащенными орешками, яблоками, тверскими мятными пряниками, в виде стерлядок колечком, и пряничными котами с наклеенными картиночными мордочками. Гости показывали вид восхищения и, по предложению Агрономского, составили «дружный хоровод» вокруг елки, с песнями и плясками. Танцевали учителя и жидочки с учительницами и акушерками, усердно выплясывая весь вечер и кадрили, и вальсы, и «польки-трамблян», под детскую музыку «аристона», нарочно привезенного с собой Пихимовским, которому доставляло большое удовольствие вертеть его ручку. Учителя плясали усердно, но медвежато, сутулясь и как бы бо-

дая воздух склоненной вперед головой, причем особенно много и громко топали в такт своими толстыми подошвами. Жидочки же, напротив, старались танцевать на цыпочках и показывать в легких, «деликатных» приседаниях коленками свою «изъячную грацию» и «сшамаво непринужденнаво веселоспо». Один только кашлатый угрюмо сидел все время в углу, скрестив на груди руки, или многодумно пощипывая свою бородку и тем показывая грустное презрение к такому малодушному препровождению времени, когда жгучие вопросы «общего дела» и проч: и проч. требуют особого напряжения гражданской скорби и мысли.

Наконец и сам Ермолай Касьянов не выдержал: воодушевившись несколькими стаканами крепкого пунша, до цвета пунцового пиона в лице, и бестолково замешавшись в каре между танцующими парами, он расчистил себе место и прошелся по зале «русскую», помахивая ситцевым платочком и отбивая трепака каблуками, чем и вызвал единодушные аплодисменты земцев и общее «браво». — «Ходи ты, ходи я, ходи милая

моя!» — подпевал он себе говорком, поводя и передергивая плечами и подмигивая глазком на барышень:

*Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь!*

— Брраво, Ермолай Касьянов! Валяй во всю! — поощрительно ревели ему земцы. — Бррраво-о! Урра-а!!! — подхватывала вслед за ними вся остальная публика.

Танцы под аристон чередовались с пением. Пели хором учителя с барышнями и отчасти с жидочками преимущественно «кружковские» и студенческие песни, вроде «Есть на Волге утес», или «Проведемте, друзья, эту ночь веселей» и т. п. Агрономский по этому поводу приходил в восторг, и сам начинал подпевать фальшивым козелком, подлаживаясь к хору. Тамара в течение нынешнего дня заметила, что он, нередко по самым неожиданным поводам, склонен впадать в сантиментально восторженное состояние и тогда начинает закатывать глазки и даже захлёбываться. Но она заметила в нем и еще нечто такое, что начинало ее отчасти тревожить. Се-

годня за обедом он взял на себя роль преимущественно ее кавалера и, обращаясь к ней то с теми, то с другими маленькими застольными услугами и разговорами, как бы оглаживал ее сластолюбивым взглядом, слишком выразительным, чтоб не понять его значения, и тем более, что эти его взгляды постоянно сопровождались сдержанной улыбкой Сатира. Он видимо начинал ухаживать за нею и делал это столь откровенно, что и другие не могли не заметить его аллюров. Скотницы своей, возведенной им в положение подружки жизни с, левой стороны, он гостям никогда не показывал, стараясь скрывать перед посторонними самое существование этой особы с двумя прижитыми от нее мальчишками, а на время съезда даже удалил ее с детьми в особую баню, на задворках усадьбы, дав ей строгий наказ не показываться в доме, пока у него гости. Поэтому, изображая себя холостым и свободным человеком, он весьма не прочь был при удобном случае и половеласничать, и такой-то вот случай представился ему нынче в лице красивой Тамары. При всей неказистости своей фигуры и физиономии, у него,

однако, давно уже образовались насчет своей «неотразимости» и «успехов» известная самоуверенность и самомнение, свойственные вообще всем людям с искривлением позвоночника. Надо, впрочем, сказать, что для такого убеждения имелись у этого своеобразного ловеласа и свои основания, так как некоторые учительницы и земские акушерки вовсе были не прочь, чтобы он поухаживал за ними, имея в виду добиться чрез него повышения себе оклада, или перевода на лучшее место, а иные, как гласила молва, небезысвестная чрез «матушку» Анну Макарьевну и Тамаре, даже отвечали на его авансы полной готовностью. Уже и сегодня за столом некоторые поглядывали на «гореловскую учительницу» с двусмысленной подозрительностью — «а-а, дескать, голубушка, никак ты того... в педагогические помпадурши метишь!» — и девушка с сердечным беспокойством уже предвидела по отношению к себе в будущем целую перспективу двусмысленных взглядов и колких улыбок, а затем сплетен, злословия, клеветы и всяческой грязи, которыми, при малейшем поводе с ее стороны, не замедлят очернить ее

доброе имя — иные из зависти и досады, зачем не они на ее месте, другие просто из любви к мерзостям. Поэтому она решила быть как можно сдержаннее и дальше от Агрономского и, не давая ему никакого повода к ухаживаньям за собой, делать вид, как будто не замечает и вовсе даже не понимает его авансов. Но чтоб ни казаться ни ему, ни другим недотрогой или гордячкой (этого ей тоже не простили бы), ей надо было держать себя просто, скромно и быть одинаково любезной со всеми — и с учителями, и с жилочками, и с земцами, не отказывая никому в туре вальса или польки, — и это казалось ей тем легче, что, будучи здесь красивее всех, она не встретила недостатка в добровольных ухаживателях и поклонниках. А между тем, эта ровность в обращении со всеми, по ее мнению, должна была служить ей лучшей защитой против злословия.

В середине вечера всем гостям стали раздавать по лотерейным билетикам сюрпризы с елки, состоявшие из различных маскарадных костюмов и головных уборов, склеенных из папиросной бумаги и заключенных в позоло-

ченные бумажные цилиндрики с хлопушками. Передернину достался костюм маркиза, Агрономскому — бретонской пейзажки, Семиокову — Фигаро, а Пихимовскому — курицы-наседки. Все неукоснительно должны были облечься во что кому досталось и проходить парами в торжественной процессии по зале, под звуки марша, причем Пихимовский, как старейший и досточтимейший, единогласно удостоен был чести открывать, в виде курицы, маскарадное шествие, с Марьей Антоновной Шпицбарт, преобразившейся в матроса. В заключение, всем учителям и учительницам были розданы маленькие «полезные» подарки: учителя получили по две пары теплых носков и по ситцевому носовому платку, а учительницы — по записной памятной книжке «Agenda», в коленкоровой обложке, с выдвигаемым карандашиком, и по куску глицеринового мыла из образцовой школы Пихимовского. Всему же вообще учительскому «персоналу» было роздано еще и по тюрику с елочными гостинцами. «Многочтимейший» тоже получил в подарок пряничного кота и коробку ландринской карамели, очень

удобной для сосанья, чем и остался весьма доволен.

XIV. ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

Пока молодежь плясала, люди более солидные засели в винт, а неиграющие пребывали преимущественно в столовой, около большого пузатого самовара, согреваясь пуншем с коньяком «жестоккой марки» кашинских братьев Змиевых, или «прохаживаясь» по домашним наливкам Агрономского. У этого мирного пристанища держались преимущественно и Передернин с волостным Сазоном Флегонтовичем, как люди положительные, и сюда же заглядывала «освежиться» в антрактах между польками и кадрилими «танцующая телегенция», по выражению того же Сазона. Агрономский за карты не присаживался и, в качестве любезного хозяина дома, пребывал везде и повсюду, разрываясь между танцующей залой, винтящей гостиной и освежающейся столовой.

Чем дальше тянулся вечер, тем все чаще и громче раздавались из этой столовой захмелевшие или расчувствовавшиеся голоса и до-

носились в другие комнаты отдельные восклицания и звуки дружеских излияний, лобызаний, пререканий и споров. Там уже титуловали теперь «женское сословие» этого собрания не барышнями и господами, как давеча, а просто «мамзюрами» и «мадамшами», чему первый пример подал кашлатый носитель косоворотки и гражданской скорби. И мадамши с мамзюрами, в большинстве своем, по-видимому, не обижались такими изящными кличками, а те из них, кому это не нравилось, хотя и морщились, но — нечего делать! — терпели. Таков уже был господствовавший здесь под конец вечера жанр, протестовать против которого было бы совершенно напрасно, а уйти тоже было некуда.

Кашлатый, после маскарадной процессии, предпочел удалиться из своего угла тоже в столовую, поближе к «жестокой марке», и теперь ораторствовал там перед провизором Гюнцбургом и доктором Гольдштейном о том, как «протестующие светлые личности» из московского купечества, назло правительству, пожертвовали 500000 рублей для женских курсов, и распинаялся, бия себя в грудь

кулаком, за горячую любовь народа к делу женских медицинских курсов, о чем-де свидетельствует не только он, знающий наш народ в корень, но и «Московский Курьер» и даже сам «Голос».

Ермолай Касьянов Передернин слушал, слушал все это со стороны, да и брякнул ему наконец с бесцеремонной откровенностью, что «врите, мол, вы с вашим «Голосом», как сивые мерины, — потому народ не токма что бабьих курсов, а и земских-то врачей знать не хочет».

Кашлатый оскорбился выражением «врите» и обозвал Ермолая «сиволапым мужланом», забыв, вероятно, что в социал-демократических устах подобное «сословное» выражение звучит более чем странно.

Ермолай в долгу не остался и обругал его «паршивцем». — Пушай, говорит, я мужлан, да зато я член управы, домовладелец, уполномоченный от земства, а ты кто? — Мразь подзаборная! Голоштанец!.. Всякий паршивый учительшка туда же, смеет еще разговаривать!

За кашлатого вступились Гольдштейн с

Гюнцбургом. В особенности последний, чувствуя себя в эту минуту «в большинстве», с чисто еврейским наскоком и апломбом наехал на Передернина с замечанием, что он не смеет «всшкорблять» подобными словами интеллигентного человека, и потребовал у него извинений перед кашлатым.

— Чево-о-с?.. Извинения?.. Да ты что такое? Откуда ты взялся? Чего ты вяжешься?.. Что тебе от меня?.. Ты кто?.. Ты думаешь, ты провизор, так можешь мне указ читать?! Жиды вы пархатые, — вот вы кто!.. Чхать я на вас хотел!

На этот шум прибежал из гостиной Агрономский. — Что вы, что вы, господа? В чем дело?

Гольдштейн и Гюнцбург, наперебой друг другу горячо стали жаловаться ему, как хозяину, на «неслыханные оскорбления», которыми они, его гости, подверглись в его доме, вместе с кашлатым, от «гасшпадина» Передернина. — И Алоизий Маркович, оскорбившийся не менее Гюнцбурга с Гольдштейном словом «жиды», хотя к нему и не относившимся, но так уже, потому что очень не лю-

бил этого слова, — резко стал выговаривать Ермолаю Касьянову, что это-де свинство с его стороны попрекать людей происхождением, когда они и вовсе не жида, к тому же. — и откуда он взял, что они жида!.. Удивительное дело!.. Что жид, что русский — не все ль равно?!. А обозвать честного деятеля «паршивым учителишкой» и «голоштанцем» это уж такая возмутительная, ретроградная пошлость, которой просто нет имени на языке порядочных людей, чтоб заклеить ее достойным образом.

— После этого, — говорил он, все более взвинчивая себя на тон «благородного» негодования. — После этого, извините, ни один честномыслящий человек не захочет подать вам руку!.. Это, с вашей стороны, гнусное ретроградство, достойное разве Страстного бульвара!.. И мне стыдно, я краснею, что до сих пор мог так ошибаться, считая вас сыном народа и потому своим другом, тогда как вы, в самом деле, не более как катковец!

— Ну, конечно!.. Ну, да!.. Еще бы! — выслушивая все это, ломался перед ним — руки в боки — Ермолай Касьянов. — Куда ж нам до

вас!.. Известно!.. Вы вон со слезами умиления можете о прелестях цареубийства говорить, — ну, а мы, слава те, Господи! до этого не дошли еще!

— Гасшпада!.. Где мы? С кем мы? — с благородно возмущенным и брезгливо презрительным видом глядя на Передернина, обратился ко всем свидетелям этой сцены доктор Гольдштейн. — Между нами доносчики, шпионы, сикофанты!.. Мы не можем оставаться в таком воздухе ни одной минуты!

— Или ми, или гасшпадин Передернин! — решительно и гордо заявил завзятый Гюнцибург, чувствуя теперь за собой еще большую поддержку, чем за минуту пред этим. — И что вы себе думаете! — снова наскочил он с горячей жестикуляцией на Ермолая Касьянова, держась, однако же, на приличном от него расстоянии. — Вы явились расстраивать нашего мирного, труженического праздника?.. Вы думаете, что вы накрали себе в земстве два дома в Бабьегонске, так и можете всшкорблять счастных людей?

— От вора слышу, — сидя у стола, отозвался Передернин. — Я пока еще хины из зем-

ской аптеки не воровал, да на сторону не продавал.

Но тут вступился в дело миротворцем, молчавший доселе, волостной старшина.

— Господа, господа! Каки таки слова?!.. Зачем?!.. — солидно пустился он уговаривать обоих. — Такие преосвященные люди, в таком высокопреосвященном обществе, и вдруг — «вор» да «вор», — что вы это?!. Помилуйте!

— А-а, так я крал хина?!. Я крал хина?.. Вы можете этово доказать? Вы имеете сшвидетелюв? — горячо вступился за себя Гюнцбург. — Гасшпада! будьте пожалуйста сшвидетели!.. Что я крал хина, этого гасшпадин Передернин не докажет! А что он нажил в управе два дома, этого всему свету зжвестно!

— Молчать!!! — стукнул Ермолай кулаком по столу так, что задрезжали все стаканы и ложечки на блюдцах.

— Молча-ать?.. Это перед вами-то молчать?.. Хо-хо!.. За-чиво это? — нахально хорохорился расходившийся Гюнцбург, в уповании все на ту же поддержку. — Вы думаете, так я и сшпугался?.. Нет, позвольте вам выра-

зять, что этово только подлец может сказать, что я крал хина!.. Да, подлец! Подлец! — вот кто! — кричал он, вызывающе глядя в глаза Передернину.

— Эй, жид, не дразни! Плохо будет! — угрозил ему тот пальцем по краю стола, продолжая, однако, сидеть на месте.

— Сшьто таково?.. Ви, кажется, мне угрожаете?.. Пфссс!.. презрительно усмехнулся провизор. — Любопытен был бы я очень посмотреть, как это может быть мне плохо!

Ермолай Касьянов — все так же руки в боки — не торопясь, подступил к нему поближе, молча смерил его в упор налитыми кровью глазами, да как развернется — и трах его прямо в физиономию.

Гюнцбург кубарем полетел на пол, но тотчас же поднялся на ноги и, подпрыгнув, с диким визгом, как кошка, стремительно вцепился обеими руками в бороду Ермолая. Началась жестокая драка: один, молча, тузил по чем ни попадя кулаками, другой, нападаая, визжал, царапался и кусался. Агрономский с Гольдштейном кинулись было разнимать их, но тотчас же, как ошпаренные, отскочили в

стороны, схватясь рукой — один себе за левый глаз, другой за ухо.

В слепом азарте, не разбирая уже кому и куда накладывает, Ермолай ненароком закатил здорового туза в подглазье Агрономскому, а Гюнцбург нечаянно куснул за ухо, вместо Ермолая, подвернувшегося Гольдштейна. И чуть только оба миротворца успели отскочить в сторону, как Передернин, схватив своего противника за горло, пихнул его от себя с такой силой, что тот вторично повалился на пол. Пользуясь этим моментом, Ермолай надел на него верхом, как медведь на колоду, и принялся довольно спокойно и неторопливо кормить лежащего навзничь Гюнцбурга размеренными пощечинами, приговаривая за каждым ударом:

— Вот тебе мой дом!.. Вот тебе другой!.. А вот тебе «вор»!.. Вот те «подлец»!.. Не любишь?.. Ага!., не ругайся вперед, не наскакивай!.. Не будь «любопытен»!..

На суматошливый шум и крик, сопровождаемый хлестким звуком этих пощечин, сбегались сюда, из любопытства и скандала ради, все земцы, винтёры и танцоры, учителя и

«мадамши», и общими усилиями, среди общего гвалта, успели кое-как вытащить из-под Передернина злополучного жидка и увести его из столовой. На самого Ермолая насели при этом несколько человек, старавшихся ухватить его сзади — кто за локти и руки, а кто за шиворот и плечи; но он все-таки успел, понатужась и кряхтя, подняться с колен и, здорово встряхнувшись, разом сбросил с себя весь этот живой груз, а затем, как ни в чем не бывало, отошел к столу и сел на свое место, оправляя себе маленько бороду и прическу.

— Фу, окаянные!.. Ажно вопредел с ними, ей-Богу!

— Это безобразие! Это черт знает, что такое!.. Ми не позжволим! Ми претестуем!.. Ми вам покажем еще!.. Ми требуем претоккол!.. Претоккол! — шумели между тем, выглядывая из-за чужих спин, остальные жидочки.

— Арники! Арники!.. Воды холодной! Компресс скорее! Где у вас арника? — суетилось окоаю Агрономского несколько дам, тогда как сам Агрономский, морщась от боли, пассивно сидел в конце стола, прикрывая облобоченной рукой свое подглазье.

— Медный пятак приложить надо, — озабоченно советовал Ратафьев. — Поскорее пятак, пока не вздулось, а то разнесет во как!.. Нет ли у кого пятака, господа?

— У меня двугривенный, разменять можно, — предложил, не поняв в чем дело, достоинейший.

Из смежной комнаты доносились всхлипывания и хныканье «потерпевшего» Гюнцбурга. Этим своим хныканьем он рассчитывал привлечь к себе сочувствие общества, но обществу было не до него. Одни ухаживали за Агрономским, другие за доктором Гольдштейном, который растерянно-прикладывал себе к уху носовой платок, беспрестанно рассматривая, много ли на нем крови. Крови, однако, на платке было гораздо меньше, чем испуга на лице доктора.

— Ай, бедный доктор, и вам тоже досталось! — сочувственно качал перед ним головой г-н Семиоков и дружески предлагал залепить ему ухо английским пластырем. — Давайте, я вам наклею!

Остальные приставали к волостному с расспросами, из-за чего и как все это случи-

лось, — вы-де были тут с самого начала и видели, — но Сазон Флегонтович более резонерствовал, чем рассказывал. — Помилуйте, — рассуждал он, разводя руками. — Я ж им и говорю, — такие преосвященные господа, говорю, и вдруг таперича, забымши всю свою великатность... где бы, скажем так, по примеру священной уважаемой столицы, чтобы все это в порядке благочиния, а они — на-ко-сь — вор да вор! да друг дружке трах, значит, в зубы!.. Словно сицилисты какие, яи-Богу!

— Этово дела так осштавить нельзя! — «благородно» галдел, между тем, «благороднейший» еврейчик Коган. — Это цело общественное!.. Да, общественное! В лице насшево Гюнцбург вешкорблено все общество! И ми вотируем выражение негодованию!

— Выражение общественного презрению! — подхватывал в лад ему Миквиц.

— Претест уфсех счестно мыслящих! — горячился Лифшиц.

— Гасшпада! Выражение зачувствия к доктору Гольдштейн!.. Адрес к Алоизию Марковичу!.. Адрес и к насшему бедному Гюнцбург! — раздавалось одновременно из разных

еврейских уст, все с большим и большим задором. — Ми порицаем безобразнаво поступка гасшпадина Передернина!.. Ми желаем предавать его гласшностью!.. К позорный сштолб! На сшюд общественного мнению!

— Тфу!.. — энергично плюнул в их сторону Ермолай Касьянов, подымаясь с места. — Ну вас к ляду!.. Пойду луч ше спать.

И он, несколько пошатываясь от разобравшего его хмеля равнодушно направился к двери.

Жидочки тотчас же, как зайцы, шарахнулись перед ним е стороны и, расступясь как можно шире, совершенно очистилг ему выход из комнаты.

На этом пока и закончился протест «счестно мислящих».

* * *

Тамара с ее временной сожительницей, не желая быть свидетельницами дальнейших скандалов, которые, судя по общему возбужденному состоянию всей этой публики, легко могли возобновиться, поспешили загодя убраться к себе домой, хотя бы даже пешком, лишь бы поскорее. Но на их счастье, у крыль-

ца ожидала уже лошадь Агрономского, запряженная в санки под своз квартирантов шкалы. Этими санками они первые и воспользовались. Обе были убеждены, что съезд теперь расстроился и больше не возобновится. Да и как, в самом деле, продолжаться ему после такой скандальной истории? Все гости, вероятно, сегодня же в ночь поспешат разъехаться по домам, тем более, что Агрономскому надо лечить свое подглазье, и ему; конечно, уже не до съезда, после такого гостинца. Вскоре явились с гамом и топотом на ночлег все четверо подгулявших учителей, и обе девушки ясно слышали через стену их громкий возбужденный говор и толки о происшествии. Там тоже были уверены, что съезд безвременно покончил свое существование, и обвиняли — одни Передернина, другие Гюнцбурга и завзятых жидочков: ожидали, что в газетах наверное появится теперь какая-нибудь занозистая, обличительная статейка, и заранее уже смаковали всю прелесть того скандального интереса, какой сна возбудит во всем бабьегонском захолустье.

— Мамзюрочки, вы спите! — слышался,

вместе со стуком в стену, пьяненький голос кашлатого учителя. — Ходьте ко лучше к нам, или мы к вам... потолкуемте... у нас пиво есть.

Девушки не отвечали, но это не остановило кашлатого, который продолжал время от времени адресоваться к ним через стену со своими стуками и «товарищескими» предложениями, — нужды нет, что остальные уговаривали его оставить учительниц в покое и не затевать скандалов. Из-за этого возник среди учителей даже спор с кашлатым, дошедший до крупной руготни и чуть было не до драки, но, слава Богу, успели как-то помириться между собой, перейдя на почву женского вопроса вообще и прав женщины на уважение, в частности... Затем будили старого Ефимыча и заказывали ему раздобыть, как знает и где хочет, четыре пары пива, а потом кашлатый стал орать песни. — «Ах, ты, Домна, Бог с тобой!» — раздавался на весь дом достаточно уже нахрипший баритон его. — «Неужели еще ты мной недовольна»?

*«Я к тебе со всей душой,
Ты же все ко мне спиной,—*

Это больно!»

Наконец квартирантка Тамары, выведенная из последнего терпения, решительно и сердито объявила ему через стену, что если он сейчас же не перестанет безобразничать и не оставит их в покое, то они пожалуются Агрономскому. Угроза подействовала, и хотя кашлатый поворчал еще что-то насчет их «кисейности» и «недотрожества», однако больше не приставал и прекратил свою серенаду, да и остальные продолжали разговоры между собой уже вполголоса. Вообще, в обеих половинах школы долго не могли успокоиться от впечатлений сегодняшнего вечера, а в классной комнате говор сменился храпом уже чуть не под утро. Как в той, так и в другой половине общее убеждение остановилось на том, что съезд покончен, и завтра же, стало быть, можно будет всем убираться подру-поздорову восвояси.

Но каково же было удивление Тамары, когда в десять часов утра подкатили ко крылечку школы санки Агрономского, и сидевший в них за кучера работник заявил ей, что барин-де просят на съезд!.. Сперва-де приказали

барышень привезти, а потом за господами опять приехать.

* * *

Благодаря ли медному пятаку, или компрессам с арникой, следы вчерашнего побоища ограничились для Агрономского и Гольдштейна лишь неизбежными кровоподтеками и ссадинами. Оба появились в зале со своими трофеями: у одного повязка прикрывала подбитое подглазье, у другого укушенное ухо было залеплено черным английским пластырем, но оба имели при этом совершенно спокойный вид, точно бы вчера у них ровно ничего «такого» не случилось. Но удивление и недоумение Тамары возросло почти до крайних пределов, когда она увидела входящих в ту же залу Гюнцбурга с припухшими щеками и Передернина с исцарапанным лицом и носом, но тоже улыбающихся и даже дружески беседующих между собой, как ни в чем не бывало.

— Что ж это такое? Они здесь? И оба вместе?! — обратилась она к своей квартирантке, ровно ничего уже не понимая.

— Как видите, — улыбнулась учительни-

ца.

— Да как же это?.. Неужели помирились?!

— Разумеется, помирились, а то что же!

— Но как же так, однако? Друг другу надававши пощечин?!..

— Вот именно потому-то, что друг другу. Вы удивляетесь? — спросила она, сама не без удивления взглянув на товарку. — Ничего, это у нас бывает... знаете, по пословице, милые дерутся только тешатся.

— Значит, «свои» люди — сочлися, — иронически заметила Тамара.

— Непременно сочлися, а то как же? Вчера подрались — сегодня помирились, или сегодня подерутся — завтра помирятся: дело заурядное! — пояснила учительница и сослалась, кстати, на Марью Антоновну Шпицбарт, которая рассказывает-де, что Алоизий Маркович с друзьями все утро уговаривали сегодня обоих извинить друг друга за взаимностью оскорблений, потому что если даже и до суда дойдет, то и мировой не решит им иначе, — ну, и уломали-таки, урезонили, поцеловаться заставили и по водке пройтись, в знак примирения. — Да и что им ссориться? — прибавила

она. — Из-за чего? Пустяки одни, а интересы-то ведь общие... Только партию земскую расстраивать!.. Да и управские ради Гюнцбурга Передерниным не пожертвуют, а Гюнцбург тоже местом своим дорожит: и жалованье там, и доходишки — все это у них в соображении... Ссориться-то, значит, не выгодно, — понимаете?

— Ну, нравы, однако! — озадаченно покачала головой Тамара.

— А что же нравы? — нравы, как нравы, ничего себе! — заступилась за бабьегонцев учительница. — В других земствах разве не то же? Почитайте-ка газеты, — везде то же самое, когда не хуже... Есть уезды, где редко которое собрание без этого обходится: перепьются и подерутся, проспятся и помирятся. Не на дуэль же выходить, и в самом деле!.. Чего там?!

Но Тамара никак не могла помириться с такой сущностью дела: ведь если это и не «лучшие люди», как сами себя они называют, то все же люди, более или менее, образованные, интеллигентные, общественные, — как же так-то?!

— Это вам, душечка, еще с непривычки кажется так ггранно, — утешила ее сожигательница. — А вот, пообживетесь я перестанете удивляться.

Между тем, почетные гости и учителя с учительницами заняли, по-вчерашнему, свои места, — и Агрономский объявил заседание открытым.

На этот раз шли разговоры о законе Божьем. Руководитель конференции доказывал, что закон Божий, по-настоящему, следовало бы, по примеру Франции и Бельгии, совершенно исключить из предметов преподавания в училищах, удержав, вместо него, один только «курс морали», что «религиозные предрассудки вообще стесняют жизнь, и от этих стеснений необходимо освободить наконец страждущее человечество». — Конечно, — говорил он, — я совершенно разделяю мнение барона Корфа, что «закон Божий в руках талантливого человека, любящего детей, представляет собой ученикам ряд художественных картин прошлого, передает занимательные притчи Христовы, посвящает учащихся в прошлое, то есть в историю своего и

других народов, переносит их воображение в интересные страны, преисполненные для ребенка чудесами природы», но для этого учитель непременно должен быть талантлив, чтобы под предлогом закона Божия, он, в сущности, мог бы знакомить слушателей со всеобщей историей и географией, этнографией и статистикой, физикой и химией, геологией и вообще с естественными и даже, пожалуй, с политическими и политико-экономическими науками.

Далее он охотно соглашался и с мнением одного из наших современно ученых иереев, что, пожалуй, и «Христос достойная подражания личность», — почему ж бы и нет, если взять Его, в особенности, за образец стойкости за идею! — но что, во всяком случае, нужно «спасти нашу школу от духовенства», нужно «навсегда оттолкнуть духовенство от школы», нужно уничтожить в ней «обучение неосмысленному, хотя и выразительному, церковно-славянскому чтению и тому подобным прелестям, за которые якобы так стоит русский народ...» А чтоб лишить духовенство возможности открывать на церковные сред-

ства свои особые церковно-приходские школы, просвещенному нашему земству следует «ходатайствовать перед правительством о том, чтобы доходы и расходы церкви и прихода ведались не причтом, а приходскими попечительствами», которые тоже следовало бы «реорганизовать просто в волостные попечительства», ибо только при таких условиях земская народная школа может свободно достигнуть высоты своего назначения.

Затем были сделаны предложения заменить на будущее время, согласно Паульсону, нынешние грамматические термины новыми «народными», как наиболее отвечающими народному духу и пониманию, и потому впредь называть имя существительное — «предметным словом», глагол — «дейным словом», предложение — «сказом» и т. д. Решено отложить вопрос до общего, большого съезда.

После этого было предложено учителям и учительницам, не желает ли кто из них высказаться по каким-либо педагогическим вопросам сельско-народной школы? — И на это одна из стриженных заявила, что «ввиду желательного распространения среди крестьян

естествознания, необходимо приобрести для сельских школ экспериментальные физические приборы и инструменты: магнит, лейденскую банку, электрофор, термометр, барометр, небольшой волшебный фонарь и т. п., а для упражнений в химии, столь необходимой в настоящее время, выписать реторты, холбы, ванны, печи и разные, необходимые для опытов, составы». — Предложение это принято к сведению и к исполнению в будущем, «как в высшей степени симпатичное», особенно в надежде, что кто-либо из просвещенных радетелей школьного дела («тонкий» намек на Пихимовского), может быть, пожелает осуществить его на собственные средства.

Наконец, в заключительном своем «слове» руководитель «занятий» съезда выразил, что «ученик сельской школы должен вынести из нее понятие об истинном, а не квасном гражданском долге, научиться уважать симпатичных общественных деятелей и ненавидеть и презирать несимпатичных, сочувствовать гонимым за независимые, честные убеждения, разделять их стремления к общему делу», — вот-де ваша задача! — А без этого вы нам бу-

дете не воспитывать, а только портить в лице детей хороший материал для будущего, за который история строго спросит с нас ответ перед грядущими поколениями. Всю эту тираду Агрономский патетически закончил выдержкой из Некрасова:

*«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте... Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ!»*

Вслед за этим напутствием, задача съезда была объявлена исполненной, и заседание закрыто. Последовал опять общий обед «из питательных продуктов», а затем, по-вчерашнему, пение и танцы, но на сей раз уже без дивертисмента драки.

— Однако, ведь это все стало-таки в копейку Агрономскому! — заметила Тамара своей квартирантке.

— Ему? — удивилась та. — С какой стати?

— Да как же, ведь все эти угощения, обеды, елка, подарки... ведь это же чего-нибудь да стоит!

— Нимало! — засмеялась учительница. — Вы заблуждаетесь: он делал все это вовсе не

на свои деньги.

— Как не на свои? Так на чьи же?

— На земские: управа, просто, согласилась ассигновать ему аванс из сумм на недвижимые надобности, вот и только.

— Так вот оно что! — удивилась в свой черед Тамара.

— А вы думали иначе?.. Как же, станет он тратиться! Самый из таковских! — И учительница при этом сделала даже предположение, что он за всю эту телятину с огурцами и бутерброды, пожалуй, еще аптекарский счет в управу представит, из которого добрая половина расходов останется в его собственном кармане.

— Так это значит, что все эти господа, под предлогом съезда, устраивают сеое маленькие пикники для собственного удовольствия?

— Именно, это и значит, — подтвердила учительница, — а потому можете считать себя несколько не обязанной благодарностью господину Агрономскому.

Но как раз в эту самую минуту сияющий Агрономский появился в зале и, потребовав себе общего внимания публики, громогласно

объявил, что досточтимейший Нестор Моде-
стович Пихимовский, желая освободить зем-
ский сундук от расхода, ассигнованного на
устройство настоящего съезда, со свойствен-
ным ему великодушием, выразил свое согла-
сие принять все вообще расходы по этому по-
лезнейшему предприятию на свой собствен-
ный счет, вследствие чего, все участники
съезда приглашаются принести маститому
меценату в особом адресе выражение обще-
ственного сочувствия и благодарности.

Все тотчас же бросились к Пихимовскому,
окружили его тесной гурьбой и принялись
качать, с криками «ура» и превеликим гамом.

— Вот видите, как все прекрасно устрои-
лось, — обратилась к Тамаре ее квартирант-
ка. — Стоило лишь уломать этого младенца!

— Это-то, кажись, не трудно, — заметила
та, — но как же быть теперь с аптекарским
счетом? Посократить придется?

— О, об этом не беспокойтесь! Аптекарь-
ский счет может быть хоть утроен, — Пихи-
мовский спорить не станет.

* * *

Спустя недели полторы после этого «ма-

ленького съездика», бабьегонские земцы читали уже в «Голосе Петербурга» идиллическую корреспонденцию, где повествовалось, между прочим, следующее...

«Все было очень мило и весело. Общежития приглашенных лиц учебного персонала были обставлены такими возможными удобствами, как хорошие постели, чистое белье, чай и проч. Заведывание хозяйственной частью было поручено лицу, избранному всеобщим доверием бабьегонского земства, и лицо это вполне оправдало возложенные на него многосложные заботы. Впрочем, к чему излишняя скромность! Воздадим лучше должное должному, лицо это — сам руководитель съезда, наш многоуважаемый передовой и симпатичный земский деятель, А.М. Агрономский, — да простит он нам нашу нескромность! На съезде было много посторонних посетителей и посетительниц из числа выдающихся, высокоинтеллигентных лиц, сочувствующих широким и светлым задачам и рациональной, в духе времени, постановке русской народной школы, и именно не иным чем, как этим присутствием общественного

представительства следует в значительной мере объяснить успех Гореловского съезда. В четыре часа дня все лица учебного персонала и все приглашенные сходились к общему обеду из трех блюд, питательных и хорошо приготовленных, а затем, окончив дневные занятия, собирались в просторных помещениях г. Агрономского для вечернего чая, который сопровождался пением и танцами, ровно как и живой, дружеской беседой. Таким образом, учителя и учительницы, собравшиеся на Гореловский съезд, были избавлены от всяких забот и хлопот о квартире, обеде и т. п., и прожили несколько времени в Горелове совершенно спокойно и удобно, имея полную возможность сосредоточиться. Они целый день были вместе, и это много способствовало их сближению между собой, установлению дружеских отношений, обмену мыслями. С другой стороны, для представителей нашего передового земства удовольствие сближения с учительницами и учителями принесло ту несомненную пользу, что дало им возможность познакомиться с личными качествами, характером и направлением, и оценить по за-

слугам деятельность наших скромных тружеников. Присутствовавший на всех заседаниях съезда, наш просвещеннейший деятель и создатель известной образцовой школы специально женского, рационального мыловарения, многочтимейший Н.М. Пихимовский, выехал из Горелова с твердым намерением принять всевозможные меры к устройству подобных же съездов и в других уездах нашей губернии, не щадя для этого своих собственных и немалых издержек». Далее воздавалась дань похвал Пихимовскому, Агрономскому, де Казатису и всем прочим бабьегонским земским деятелям и сеятелям поименно. Не забыт был даже и волостной старшина Сазон Флегонтов, — «этот истинный друг народного просвещения».

При чтении этой идиллии в уезде, «по секрету» передавалось между друзьями и знакомыми, что составлял корреспонденцию сам Агрономский, и только заставил своего кашлатого любимца переписать и подписать ее своим именем, приличия ради.

— Господи! Что ж это за сумасшедший дом такой! И что они делают с этими несчастны-

ми детьми! — сокрушенно восклицал отец Макарий, когда Тамара рассказывала ему все, чему была свидетельницей на съезде.

XV. ПУТАННОЕ ВРЕМЯ

Прошло два года с тех пор, как Тамара стала учительствовать в Гореловской школе. Личная жизнь ее за это время почти застыла в тех узких рамках, какие выяснились для нее в первые же месяцы нового ее поприща, а то, что творилось за эти два года в России, доходило к ней лишь урывками, в отголосках разных слухов и толков, нередко диких и нелепых, да в газетных известиях и отзывах, которые в кружке друзей, собиравшихся у «батюшек» после обедни на праздничную чашку чая, казались иногда еще страннее и нелепее самых несуразных слухов. Жила Тамара все это время как бы между двух течений, до того несходных, до того противных одно другому, что если бы им пришлось непосредственно столкнуться между собой более действительным и энергичным образом, то образовался бы такой круговорот, из которого, казалось ей, не будет никакого выхода. То, что сокрушало отца Макария и его скромных друзей, что вызывало в них скорбный вздох или печальное недоумение, — напротив,

встречалось злорадным торжеством, или приветствовалось, как новая победа, в кружке Агрономского; и наоборот: все, что вызывало озлобление, гвалт и возгласы: «чем хуже, тем лучше» у друзей Агрономского, — друзья о. Макария приветствовали, как проблеск здравого смысла, который должен же, наконец, когда-нибудь восторжествовать. Но эта последняя надежда, глядя на то, что творится вокруг и повсюду, вспыхивала у них все слабее и реже, и оба течения все больше и дальше расходились между собой. Одно из них торжествовало, забирая себе с каждым днем все новую силу и прыть, хотя и прикидывалось для виду угнетенной невинностью; другое же, не встречая себе ни в ком и ни в чем поддержки, сторонилось, как пришибленное, не дерзая поднять голову, ни возвысить свой голос, заглушаемый гамом и свистом ожесточенной травли в газетах и в либеральном земстве, и лишь в недоумении ожидало, к чему же все это приведет и чем кончится?.. Люди обоих течений, в конце концов, сошлись между собой в одном общем убеждении, что дальше так жить нельзя. Но на вопрос, как же

именно жить и что делать? — опять подымалась такая путанная разноголосица, что кроме сугубой путаницы, новой вражды и взаимной злобы ничего из нее не выходило. Так было в провинции, в ее «интеллигентном» слое и вообще в среде, возвышавшейся так или иначе над простым народом. Что же касается до этого народа, до «почвы», то здесь, в таких «медвежьих углах», как бабьегонские и иные, подобные им, веси и дебри, — все, творившееся на верхах жизни, переживалось по-своему, по большей части, чисто пассивным образом, как нечто отдаленное и почти чужое, среди выступавших на первый план своих собственных сельских нужд и забот о хлебе насущном да об уплате казне и земству податей и недоимок, становившихся уже непосильными. А между тем, в столицах и в больших центрах умственной и общественной жизни государства, как Киевх Харьков, Казань, Одесса, действительно, творилось нечто необычайное, зловещее и подчас просто необъяснимое...

* * *

Началось это новое время с весны 1878 го-

да, после войны, целым рядом политических убийств и посягательств, и не только в нас, но и в Европе, где было сделано несколько покушений на жизнь коронованных особ, преимущественно членами интернационалки. Так, в Берлине дважды стреляли в императора Вильгельма — 11-го мая Гедель, а десять дней спустя — Нобилинг, оба социал-демократы; 13 (25) октября был сделан выстрел в испанского короля Альфонса рабочим-социалистом Олива Мункаси; 5 (17) ноября, в Неаполе, ранил кинжалом короля Гумберта член интернационала, повар Джиовани Пассамснте; в декабре — выстрел в королеву Викторию. сделанный неким Моденом;— затем следовали вторичное покушение на жизнь испанского короля, совершенное в декабре 1879 года Франциском Отеро, и позднее — покушение члена ирреденты Оберданка на императора Франца-Иосифа, не говоря уже об удавшемся покушении Гито в Вашингтоне на жизнь президента Северо-Американских штатов Гарфильда и о нескольких заговорах улемов и членов «молодой Турции» в Константинополе, против султана Абдул-Гамида. Точно бы какая-то го-

рячка или мания цареубийств охватила вдруг Европу; но несравненно сильнее проявилась она у нас, в России. Началось с облития серной кислотой и трех политических убийств в Одессе, продолжалось выстрелом Веры Засулич в Петербурге и убийством жандармского капитана Гейкинга в Киеве, а далее следовали: 4 августа 1878 года убийство генерала Мезенцова; 9 февраля 1870 года убийство евреем Гершкой Гольденбергом и поляком Людвигом Кобылянским харьковского губернатора князя Крапоткина; 13 марта покушение поляка Леона Мирского на убийство генерала Дрентельна; 2 апреля покушение Александра Соловьева на цареубийство на Дворцовой площади; в ноябре — посягательство на жизнь государя на железнодорожных путях под Александровском и под Одессой; такое же покушение под Москвой, на Курско-Московской железной дороге, совершенное 19 ноября Львом Гартманом; взрыв в Зимнем дворце, произведенный Степаном Халтуриным 5 февраля 1880 года, — не считая уже убийств и множества покушений на жизнь жандармских и полицейских чинов, при исполнении

ими своих обязанностей во время обысков и арестов, а также на жизнь дворников, швейцаров и, наконец, своих же собратьев, подозреваемых в «измене общему делу». И главное, замечательно то, что все эти наши преступники оставались как-то неуловимы: сделает средь бела дня, на народе, и скроется, — тот ускачет верхом, этот убежит по улице, отмахиваясь от прохожих кинжалом, один укатит на лихаче, другой просто на Ваньке-извозчике, третий — Бог его ведает как, но тоже скроется, — и вот эта-то неуловимость преступников, при всей их наглости, казалась тогда наиболее удивительной. Более года продолжался этот ряд убийств и покушений, не вызывая со стороны правительства почти никаких мер, и лишь после Соловьевских выстрелов последовало 7 апреля назначение временных генерал-губернаторов: генерала Тотлебена в Одессу, графа Лорис-Мелёкова в Ларьков и генерала Гурко в Петербург, да пять месяцев спустя, в сентябре, увеличен до 550 человек состав полицейских урядников, вопреки ходатайствам некоторых земств об упразднении этого «института».

А между тем, — революционная пропаганда и приготовления к новым и новым преступлениям в это самое время продолжались с усиленной и неустанной энергией: 6 мая 1879 года, в Киеве, на Подоле, была открыта «конспиративная» или «радикальная» квартира, где найдены ручные разрывные снаряды, инструменты и материалы для их приготовления, большой сундук, наполненный ящиками с прессованным пироксилином английской фабрикации, ручное оружие, в виде револьверов и кинжалов, и запас подложных паспортов. В ночи на 10 и на 11 мая, в Москве были захвачены «приличные» женщины, занимавшиеся расклейкой на улицах возмутительных воззваний.

В ночь с 3 на 4 июня обокрадено более чем на 1 579 000 рублей Херсонское губернское казначейство, через подкоп из соседнего дома. Героями этого дела были Елена Виттен, по фиктивному мужу (учителю) Россикова, содержащая в Херсоне учебный пансион «для детей высшего сословия», и некий Юрковский, известный под именем «инженера Сашки», пойманный полицией, но затем нарочно

упущенный из-под ареста Днепровским исправником Миловичкой. Позднее, также через подкоп, было обокрадено и Севастопольское казначейство. В продолжение всего лета и осени 1879 года подпольные издания, вроде «Земли и Воли», «Черного Передела», «Народной Воли» и др. продолжали беспрепятственно появляться в Петербурге и провинции, что вызвало усиленный надзор за типографиями, не поведший однако ни к каким результатам, пока-то не была наконец открыта, в ночь на 18 января 1880 года, конспиративная квартира с тайной типографией «Народной Воли» в Саперном переулке. Открытие это, как во всех подобных случаях, сопровождалось вооруженным сопротивлением захваченных там мужчин и женщин и самоубийством одного из их сотоварищей. При этом было найдено громадное количество только что отпечатанной «Народной Воли», много типографских шрифтов, фальшивых печатей и паспортов, а также различные яды, взрывчатые вещества и принадлежности для взрывов. Затем, спустя десять дней, в ночь на 28 января, открыта была на Васильевском острове тайная типогра-

фия «Черного Передела», где захвачены паспортные бланки, оружие и несколько соучастников преступного сообщества. 4 января 1881 года последовало открытие еще одной конспиративной квартиры в Киеве, где арестованы двое мужчин и две женщины. При обыске этой квартиры, найдена «Программа южного рабочего союза», крайне террористического направления, рекомендовавшая поджоги, грабежи, политические и социально-экономические убийства «несимпатичных лиц» из числа собственников, фабрикантов, не сочувствующих делу мастеров и ремесленников и проч., а также захвачены: разного рода оружие, револьверы, кинжалы, топоры, все принадлежности для тайной типографии и для фабрикации фальшивых паспортов, до двадцати фальшивых печатей, значительное число прокламаций, брошюр и книг революционного содержания и смертный приговор одному из начальников киевских военных мастерских. Все приготовления к убийству его были уже сделаны, но не приведены в исполнение, благодаря лишь своевременному раскрытию этого замысла.

В это же время в военно-окружных судах Петербурга, Москвы, Одессы, Харькова, Киева, Курска, Казани, Архангельска и проч. следовали целые ряды политических процессов, в коих мотивами преступлений являлись: принадлежность к тайным революционным и анархическим сообществам, пропаганда бунтарства в народе, войсках и учебных заведениях, вооруженные сопротивления властям и административным агентам, ограбление почт, казначейств и полковых ящиков, увечия, истязания и обливание серной кислотой лиц, враждебных пропаганде, убийств с политической и социально-экономической целью и покушения на таковые, покушения на царубийство, фабрикация разрывных снарядов, взрывы здания и железнодорожных поездов и т. п. Во всех этих процессах красной нитью проходит прикосновенность ко всякого рода политическим преступлениям еврейского элемента. Не говоря о прежних процессах, об этом свидетельствует целый ряд имен за один лишь двухлетний период 1879–1880 годов, где встречаются: Лейба Дейч, Шмуль Абрамов Шнее, Лурия, Шлема Виттенберг, Ми-

кель Абрамов Морейнис, Арон Лейбович Рашков, Гершко Левенсон, Абрам Баршт, Сима Баршт, Гершко Гольденберг. Зайднер, Майданский, Млодецкий, Фриденсон, Натансон, Арончик, Баська Якимова, Лейба Левенталь, Арон Зунделиович, Лейзер Цукерман, Геся Гельфман, — и это пересчитаны только наиболее выдающиеся личности, не упоминая уже тех, что скрыли свое еврейское происхождение под чисто русскими именами и фамилиями, ни того множества второстепенных и третьестепенных соучастников, перечисление коих поименно заняло бы слишком много места. И замечательно, что ближайшее и наиболее деятельное участие евреев относилось именно к наиболее выдающимся и тяжким преступлениям, каковы, например: Чигиринское дело (Лейба Дейч), кража из Херсонского казначейства (Абрам и Сима Баршты), покушение на жизнь государя на Лозово-Севастопольской железной дороге и под Одессой (Гольденберг, Баська Якимова, Шлема Виттенберг), покушение Гартмана под Москвой (Гольденберг и Арончик), покушения Соловьева (Гольденберг и Арон Зунделио-

вич), взрыв Зимнего дворца (Лейзер Цукерман), 1 марта (Геся Гельфман). Затем, весьма видное участие в разнородных политических преступлениях принадлежит и лицам польского происхождения, каковы: братья Владислав и Генрих Избицкие, Ян Зубржицкий, Владислав Красковский, Леон Мирский, Фелиция Левандовская, Виктория Гуковская, Людвиг Кобылянский, Квятковский, Гоштовт, Андрузский, Верцинский, Гриневецкий и проч. Между политическими преступниками встречались даже иностранцы, как прусский подданный Брандтнер, саксонский — Кизер, французский — Доллер, австрийские — Флориант Богданович и Николай Франжоли, не считая евреев, оказывавшихся иногда то румынскими, то турецкими подданными. А что участие этих иностранцев было далеко не маловажно, доказательство тому, что Брандтнер был приговорен к смертной казни, а Богданович, Франжоли и другие к каторжным работам, и это несмотря на снисходительность суда, нередко ходатайствовавшего о смягчении участи осужденных, и на крайнюю снисходительность генерал-губернаторов, в особенно-

сти во время Лорис-Меликова, когда смертная казнь зачастую заменялась срочной каторгой, каторга — ссылкой, а ссылка простым арестом. Вопрос, что нужно было этим иностранцам в наших внутренних смутах, какие интересы влекли их к участию в них, так и остался тогда не выясненным, но потом уже стало очевидным, что тут работала «интернационалка».

Все политические процессы, в особенности в провинции, обставлялись более или менее эффектно, и даже торжественно. В Одессе и Киеве иногда прибегали даже к охране суда войсками, причем на несколько дней прекращалось всякое сообщение по улицам, примыкающим к зданию суда, и обозначались на них военными караулами пределы, далее которых публика к суду не подпускалась. Делалось все это в том соображении, что революционная партия в названных городах будто бы так сильна, и «народ» настолько уже революционирован ею, что можно-де опасаться всяких насилий и даже взятия зданий суда приступом. Это, конечно, служило для бунтарей наглядным доказательством, что их боят-

ся, внушало им веру в самих себя и в свою партию, поддавало им жару, заставляло их думать, будто они и в самом деле страшная сила, перед которой правительство, не сегодня-завтра, должно капитулировать. Такое поведение представителей порядка в названных городах совсем не согласовалось с официальными же уверениями, что революционеры в России представляют собой не более как «ничтожную горсть» всякого сброда, оторванного от почвы. В то же время официальные органы неукоснительно печатали подробные стенографические отчеты о происходившем на всех этих судах, где председательствующие и прокуроры как бы соревновались между собой в изысканной предупредительности и снисходительной мягкости к подсудимым, а подсудимые, рисуясь перед судьями и «избранной публикой», нагло щеголяли своим атеизмом, с апломбом высказывали свою *confession de foi*, свои противогосударственные и социальные теории, свои критические взгляды на положение правительства и общества и старались выставиться в красивых ролях народных героев и мучеников. Все эти их

речи тотчас же перепечатывались с жадностью всеми газетами и уличными листками, которые нарасхват раскупались в розничной продаже и читались как в столицах, так и в провинции, в школах, в военных частях, на базарах, в кабаках и трактирах. Таким образом, привилегированные органы печати, по какому-то прискорбному недомыслию, являлись первыми распространителями этих идей и взглядов в публике, в инертных общественных и народных массах, в праздной уличной и трактирной толпе, развивая в ней смак и интерес к политическому скандалу. По истине, путанное было время.

И в самом деле, вольным или невольным образом, многое выходило так, как словно бы делается оно нарочно, для наивящего смущения общества. В конце 1878 года, в астраханской казачьей станице Ветлянке появилась болезнь, которую врачи не решались назвать настоящим ее именем — одни из боязни ошибиться, другие из опасения, как бы не внести всеобщую панику в Россию, и потому определяли ее то крупозным воспалением легких, то особой формой тифа, и так продолжалось до

10 января, пока наконец профессор Боткин не взял на себя смелость назвать ее в собрании Общества практических врачей прямо «индийской чумой, близкой к известной в истории черной смерти, появившейся в Европе в XVI столетии и произведшей-де тогда «огромные опустошения». Газеты сразу же подхватили и усердно стали раздувать эту тему. В особенности старался «Голос», в котором, наряду с некоторыми другими органами того же пошиба, беспрестанно стали печататься частные телеграммы и корреспонденции о появлении «подозрительных» заболеваний в Москве и разных городах, селениях, волостях и более значительных районах губерний Полтавской, Рязанской, Нижегородской, Московской, Харьковской и еще нескольких других. Хотя все эти телеграммы, вслед за их появлением, опровергались с места контр-телеграммами официального происхождения, тем не менее, публика больше склонна была верить первым, чем последним, и потому всеобщее беспокойство, страх и даже паника в обществе все возрастали. Анархисты прямо выражали в своих подпольных листках злорадную

надежду, что ветлянская чума поможет их стремлениям скорее и лучше всяких одиночных «предприятий» для поднятия народного бунта. Как раз, на руку им, в одной из одесских газет появилась корреспонденция из Харькова, автор которой удостоверял, что у них «в городе смертность страшная», что «массы гробов, провозимых по улицам, обескураживают жителей» и что «во всех церквах совершаются молебствия о прекращении чумы». Известие это, сейчас же подхваченное другими органами, хотя и было на другой же день опровергнуто «Правительственным Вестником», как совершеннейший и притом злонамеренный вздор, но опровержению этому плохо верили, тем более, что автор корреспонденции и газета, ее напечатавшая, остались совсем безнаказанными. Паника эта уже непосредственно охватила, наконец, и самый Петербург, когда тот же профессор Боткин, 13 февраля, открыл вдруг чуму у знаменитого с того времени дворника Артиллерийского училища Наума Прокофьева. К счастью, паника эта разыгралась лишь учено-медицинским скандалом, когда врачами исполнительной

санитарной комиссии было доказано, что этот Наум Прокофьев страдает такой заурядной болезнью, которую было более чем странно не распознать столь опытному врачу и диагносту, как Боткин. Наконец, и съехавшиеся на место европейские врачи из Австрии, Германии, Франции, Дании, Турции и Румынии единогласно определили ветлянскую болезнь хотя и чумой, но вовсе не индийской, как утверждал Боткин, а просто ее обыкновенно левантийской формой. И, однако, даже и после этого некоторые газеты все пытались поддерживать мнение Боткина, набрасывая тень сомнения на авторитет европейских врачей, хотя и самая чума в это время, к сожалению наших анархистов, совсем уже прекратилась.

Но бедствия России в ту эпоху далеко не исчерпывались одной ветлянской чумой. Сама природа своими стихийными силами как бы испытывала меру ее долготерпения и выносливости, вслед за тяжелой войной и беспочетным миром в Берлине. Сначала пошли было страшные разливы рек и наводнения, особенно в польских и западных губерниях, где явления эти, вследствие ледяных заторов, об-

наружились еще в самое суровое зимнее время. Затем, на юге появились на хлебах массы гессенской мухи и жучка «кузьки». Урожай вообще оказался ниже среднего, а при вывозе хлеба за границу дошло до того, что уже в январе 1880 года во многих губерниях обнаружился крайний недостаток продовольствия, вызвавший необходимость не только израсходования местных зерновых запасов, которых, кстати, у большинства уездных земств вовсе и не было, кроме как на бумаге, но пришлось обращаться к правительству с ходатайствами о ссудах из государственного продовольственного капитала. С весной 1880 года опять пошли известия с юга об отрождении там кузьки и саранчи, а с наступлением лета страшные вести эти приняли прямо уже грозный характер: извещалось о таких массах хлебного жучка, что борьба с ним стала окончательно невозможной. Нужда и безденежье почувствовались повсюду: и на Поволжье, и в Приазовье, и в Новороссийском крае, о двух последних краях последнее крестьянское имущество и овцы сбывались за бесценок то грекам, то евреям, а у кого ничего уже не бы-

ло, те отправлялись нищенствовать или запродавались в батраки. Арендаторы и колонисты-немцы осаждались предложениями рабочих рук, и не за плату уже, а только из-за прокормления. На гумнах не виднелось ни сена, ни соломы, ни топлива; о зерне и говорить нечего, даже и на огороды не было надежды. Отощалые лица угрюмых крестьян, исхудалые матери-кормилицы, полунагие, а то и вовсе нагие ребятишки, с неестественно раздутыми животами, тощий, взъерошенный, едва волочащий ноги скот, повсюду рыщущие скупщики-жиды, скупщики-греки, армяне, немцы, словно жадная саранча над погибающим народом, а вдали разглагольствующие «впустую» земства и бездействующая администрация, — такова была картина голода на юге. В то же время на Поволжье, в Саратове и других городах, никогда не замечалось такого множества совершенно особенных проституток, как в эту голодную зиму и лето: изможденное лицо, рубище на теле, а на устах, вместо слов нахальства и бесстыдства, слова тихой застенчивой мольбы... То был разврат от голода, и к нему нередко прибега-

ли двенадцатилетние дети, а одновременно с таким уличным развратом, росло и число преступлений, вызванных голодом и нищетой. Рядом с безработицей шел упадок всякой промышленности и торговли, общее безденежье истощило общественные кассы, городские управы сидели без денег и задерживали жалованье учителям, полиции и служащим в своих канцеляриях. Такое же безденежье было и в земствах, так что многие даже из воротил и делителей земского пирога должны были временно посократить свои широкие замашки и аппетиты. Дошло до того, что с ведома администрации и непрременных членов, во многих волостях стали практиковаться в грандиозных размерах принудительные отдачи крестьян в заработки за казенные и земские недоимки — своего рода кабала и невольничество, и это даже в весьма либеральных зем: твах!.. Впрочем, земства в это время, подобно тверскому, азглагольствовали более «о расширении прав общества» да эб «увенчании здания», чем о существенных нуждах своего населения, а если и обращались к сим последним, то разве гля того, что-

бы заломить для своих уездов у правительства такие ссуды, каких хватило бы на целые области. В этом отношении более других отличилось тогда камышинское зем- гтво, не постыдившееся требовать для себя 1 708 000 рублей, — более, чем отпускалось в труднейшие времена целым губерниям! В сентябре 1880 года на юге опять появились мае-:ы перелетной саранчи, залагавшей на больших районах свои яйца, а это открывало перспективы борьбы с голодом и в будущем 1881 году, — выходило какое-то хроническое, затяжное бедствие, которому, казалось, и конца не будет. И в этого ужасное время были обнаружены курьёзно-злостные попытки нескольких «умных» революционеров и их догадливых «мадамш» акклиматизировать саранчу в средней и северо-вос- гочных полосах Велико- россии, — пускай-де и мордва с чувашами, и зыряне с вотяками познакомятся на практике с благодеяниями саранчи, авось-де скорее подымутся!.. Дошло наконец до того, что к нам стали привозить иностранный хлеб, сначала на Кавказ и на Закавказье, а в сентябре уже и в Петербург привезли из Штеттина на-

шу собственную рожь, под видом прусской, — явление до тех пор небывалое! — и продавали ее немцы здесь втрое дороже того, за что сами у нас покупали. В Петербурге куль ржи стоил 15 рублей, а фунт третьесортного черного хлеба дошел до пяти копеек! Кредитный рубль пал до 62-х копеек, и Берлин великодушно обещал нам понизить его к зиме еще более. К январю 1881 года стали учащаться известия из провинций о голодном тифе, скорбуте, цинтерии и случаях голодной смерти. В Саратовской губернии лебеда к этому времени сделалась уже обычной пищей, а в Уральске, Самаре и Оренбурге бедствия голодовки представляли еще более ужасные размеры.

Но бедствия России и на этом далеко еще не кончались в ту достопамятную эпоху. Печально началась весна, печально продолжалось и лето 1879 года, да и все последующее время было не лучше. Целый ряд наводнений сменился пожарами, вести о которых беспрестанно следовали, одна за другой, отовсюду. Не успели опомниться от впечатлений опустошительного оренбургского пожара, испепелившего почти весь город, как телеграф

стал приносить все новые и новые известия о страшных опустошениях, произведенных огнем: 26 апреля — опять в Оренбурге и в Ирбите, 29 апреля — в Уральске, 30 апреля — опять в Ирбите, 1 мая — снова в Оренбурге, 8 мая — в Перми; 22 и 24 июня, в течение двух дней, выгорел весь Иркутск, а 25 июня и в последующие дни — Козлов; 6 июля в Нижнем сгорели торговые ряды, а 16 августа казармы, и было, кроме того, несколько случаев поджогов и пожаров на ярмарке 28 августа новый крупный пожар в Вязьме, где выгорело 200 домов; 6 сентября была сделана, при сильном ветре, попытка к поджогу в Екатеринославе, но сгорело только 7 домов, благодаря быстро принятым энергичным мерам; 26 сентября — сильный пожар в Уфе, не считая уже множества менее значительных пожаров в разных городах и селениях по лицу земли Русской, составляющих, более или менее, обычное явление. То же самое продолжалось и в следующем 1880 году: 9 февраля, под Москвой, горела в Петровском-Разумовском земледельческая академия, где понесено убытку от огня до 500000 руб.; 25 февраля страшный пожар

фабрики Гивартовского в Москве, где погибло в пламени до сорока рабочих. С весной погорели города в губерниях: Киевской — Радомысль, Подольской — Немиров, Московской — Коломна, Тверской — Ржев и Торжок, и во всех этих городах пожары начинались непременно при сильном ветре и удобном его направлении, вследствие чего дома за один раз сгорали целыми сотнями. 17-го июня — сильнейший пожар в Рязани; затем пошли гореть богатые слободы, села и посады, как например, известное поволжское село Балаково, где выгорело 300 дворов, подгородная воронежская слобода Придача — вся; Костромской губернии посад Пучеж — весь, и др. Кроме того, как и в предшествовавшем году, беспрестанно появлялись отовсюду известия о меньших пожарах в городах, деревнях и селах, печальный счет которым был бы слишком длинен и однообразен. В оба эти года подряд словно бы какая-то пожарная эпидемия свирепствовала по всей России, подобно такой же эпидемии 1862–1864 годов. Часть этих пожаров, конечно, следует отнести ко всегдашним и постоянным причинам наших русских

погораний, но несомненно были и систематические поджоги, в которых проглядывает как бы целый план действий огнем по отдельным краям и районам: сначала на востоке, потом на северо-востоке, потом в Нижнем, потом в центральном фабричном и промышленном районе, потом в земледельческих районах на оолге в Малороссии, в Украине и на Юге. Хотя некоторые либеральные газеты того времени и старались упорно доказывать, что никаких-де «особенных» поджогов нет и не было, что они существуют лишь в горячечном воображении Каткова и ему подобных безумцев и «сикофантов», тем не менее, военные суды над поджигателями в Нижнем, Перми и Полтаве показывали противное. Поджоги были, но поджигатели, по большей части, действовали не сами лично, а чрез подговариваемых детей и подростков. Иные из подстрекателей, как Селиванов, Мурзин, Чайковский и Донец были даже приговорены к смертной казни, но помилованы представителями высшей власти в провинции. Таким образом, злонамеренность в большинстве этих, далеко не случайных, пожаров не существовала разве

для некоторых газет, да для тех петербургских чиновников, которые, воспитавшись на тех же газетах, привыкли петть с их голоса и глядеть на все их глазами, опасаясь более всего, как бы грозные газетчики не сочли их недостаточно либеральными, а между тем, в действительности, пожары за эти два года обошлись России более чем в миллиард рублей. Но удивляться ли такому результату, если в печатную программу известной «южной фракции» террористов прямо входили поджоги общественных и частных имуществ, фабрик, заводов, городов и селений, как средство породить «пауперизм» в обездоленных массах рабочего и земледельческого населения, дабы вызвать в народе озлобление против бессильного, по их мнению, правительства и тем поднять наконец эти «инертные» массы на революцию.

Ко всем этим бедствиям вскоре присоединились еще крестьянские и фабричные волнения в некоторых местностях. Между крестьянами разных губерний стали усиленно распространяться слухи о предстоящем, будто бы, общем «черном» переделе земель, при ко-

тором вся земля будет окончательно отобра-
на от помещиков-дворян и передана в обще-
ственную собственность крестьян. Толкова-
лось и о новом «царском указе», которым, по-
ка что до передела, воспрещается, будто бы,
крестьянам брать менее сорока рублей с по-
мещичьей десятины, за уборку на ней хлеба.
Вскоре появились и особые прокламации на-
счет близости «черного передела», которые
чьи-то невидимые руки постарались распро-
странить в войсках, между нижними чинами,
вследствие чего унтер-офицеры не стали оста-
ваться на вторичную службу, и многие части
войск через это рисковали очутиться в очень
критическом положении. Среди всех этих
возбуждающих слухов, не малую долю тре-
воги и озлобления, но уже совсем с другой
стороны, вносили в крестьянскую среду и по-
лицейские урядники, которые, из усердия не
по разуму, зачастую зря хватали и «привлека-
ли» крестьян, за одно какое-нибудь неосто-
рожное или неразумное слово, и вообще до-
нимали сельское население составлением ак-
тов и протоколов, за все — про все, часто со-
всем вздорных и даже нелепых, но по кото-

рым мужика все же тягали то в стан, то к мировому. Наконец, в июле 1880 года проявилось несколько случаев крестьянских волнений и сопротивления властям в разных уездах губерний Черниговской, Псковской и Тульской, так что для усмирения их потребовались даже войска, но, к счастью, дело везде кончалось только арестами нескольких крестьян да мирскими расходами на содержание военных постоев. До стрельб не доходило. С осени того же 1880 года пошли беспорядки и на больших фабриках. Началось это дело с Ярцевской мануфактуры Хлудова (в Рославльском уезде), где толпы забастовавших рабочих били в фабричных зданиях стекла, выдергивали из гряд огородные овощи, а затем навязали на палку красный платок, вручили это знамя какому-то мальчику и носили последнего на руках, с криками «ура!», по селению. Это как раз напоминало подобную же выходку в петербургской демонстрации 1876 года на Казанской площади, и прямо наводило на мысль, что в данном случае, в Ярцеве, было не без подстрекательств со стороны смутьянов-бунтарей, хотя корень беспорядков

крылся и не в них (они только воспользовались им), а в прижимках фабричной конторы и в скидках с обусловленной задельной платы самими же владельцами фабрики. В октябре последовала новая большая забастовка, но на сей раз уже в Коломенском уезде, на фабрике Щербаковых, а причиной была опять-таки сбавка платы, как раз во время дороговизны и голода. Сокращение производства и понижение рабочей платы, вызванные, в свой черед, сокращением сбыта по случаю голодовки, отразились забастовками еще в Гуслицах и* вообще на фабриках Коломенского уезда, а вслед за тем и из Твери появились не менее тревожные известия, что на фабриках Морозова распускаются целые сотни рабочих. Таким образом район фабричных волнений распространился на три центральные губернии — Смоленскую, Московскую и Тверскую, — и правительство поневоле становилось в недоумении перед вопросом, что это, — единичные ли случайности, или более широкое бедствие, которым не преминули, конечно, воспользоваться подпольные агитаторы, для своих собственных целей? Но из подполь-

ных усилий на этот раз ничего особенного не вышло, даже и после того, как забастовки распространились на Владимирскую губернию. Что тут, однако, не без их руки, на это указывали отчасти предшествовавшие большие и буйные беспорядки в Ростове-на-Дону, против полиции, и в Саратове — против частной собственности вообще. В этом последнем городе, еще перед Рождеством 1879 года, появились на фонарных столбах странные объявления, раскленные неведомо кем и взывавшие ко гласным думы и богатым людям города: «Дайте нам заработок, устройте бесплатные столовые, а иначе мы должны совершать преступления». Подписаны были эти воззвания каким-то «председателем комитета будущих преступлений». В городе все это приняли было сначала за чью-нибудь глупую шутку, о которой вскоре и забыли; но 20 февраля 1880 года, ни с того, ни с сего, словно бы по чьей-то команде, вдруг появились на площади большие толпы простолюдинов, разных крючников, поденщиков, бурлаков и тому подобного люда, — толпы, которые стали бегать по улицам и, с криками «ура», разбивать лавки, ма-

газины, трактиры и кабаки, растаскивать и разбрасывать товары и разносить дом городского головы, пока, наконец, не уняла их военная сила. Лишь после такого погрома стало ясно саратовцам, что дело это было подстроено и организовано не без участия подпольных анархистов; но полиция ни до погрома, ни после его, никого и ничего не открыла.

Во время всех этих внутренних неурядиц и общественных бедствии внешняя политика наша плелась на поводу у князя Бисмарка, в хвосте австро-германского, против нас же заключенного, союза, да и состояние финансов наших тоже не представляло ничего утешительного в настоящем и не обещало ничего доброго в будущем. Деятельность тогдашних направителей финансового ведомства, выразилась только в установлении измышленного железнодорожным «королем» евреев Блюхом, 25-ти процентного налога на пассажирские билеты, да в налоге на страхование от огня (как-раз кстати, в эпоху усиленных пожаров!), и не мудрено, если оба эти налога возбудили тогда всеобщее неудовольствие и жалобы. В остальном же деятельность эта вы-

ражалась лишь ежегодными поездками по России, да обменом застольных и иных речей с местными представителями промышленности и торговли, причем в спичах этих выражалось много радужных надежд и уверений, что наше экономическое положение вовсе не так дурно, как кажется. А между тем, как раз в этот самый двухлетний период (1879–1880) совершился резкий процесс обесценивания кредитного рубля, вызвавший, между прочим, нерассчетливый усиленный вывоз за границу хлеба, что и создало, главным образом, тогдашнюю голодовку. Вследствие падения рубля появилась и неслыханная дороговизна, и застой в торговле и промышленности, и увеличение платежей по госудаосственным металлическим займам, которого, однако, нельзя было уследить по кратким, чересчур лаконическим отчетам государственного контроля. В начале 1879 года была образована комиссия о сокращении государственных расходов; но вся ее видимая деятельность ограничилась лишь проектами упразднения нескольких третьестепенных чиновничьих мест, как словно бы в них было все дело! Но

затем, когда цены на все выросли более, чем в полтора раза против прежнего[^] оказалось, что и эти сокращения ни к чему не приводят. Бюджет 1880 года был заключен дефицитом в 51 миллион рублей, да и виды на будущее не обещали в этом отношении никакого облегчения.

И замечательно, что это-то самое тяжелое время было по преимуществу временем наиболее крупных хищений казны и ее имуществ. Деятели, вроде интендантского чиновника Хващинского, получая всего лишь несколько сот рублей годового содержания, не стеснялись поражать соотечественников своим роскошным, безумно расточительным образом жизни, когда, например, один какой-нибудь завтрак, задаваемый этим самым Хващинским для «нужных людей» и приятелей, обходился ему ни более, ни менее, как в 45 000 рублей, а всего казенного имущества было им спущено более чем на 2 350 000 000 рублей!.. Время крупных аренд, широких синекур, беззастенчивого совместительства нескольких видных и лакомых должностей, изобретательное время фиктивных, но жир-

ных заграничных и внутренних командировок якобы «для изучения» чего-либо, совершенно вздорного, бесполезного, никому и ни к чему не нужного, время непотизма, концесий, гарантий, субсидий, — осатанелое время беспардонного и безнаказанного хапанья, жамканья и загребания... Безобразия насчет казенных сумм доходили до того, что даже частная служба оплачивалась иногда казною. Командируется, бывало, какой-нибудь чиновник из Петербурга в какую-нибудь провинциальную межевую или иную палату, с назначением ему оклада в две-три тысячи рублей, и числясь по целым годам «в командировке», никаких служебных поручений не исполняет, в палату свою, кроме как 20-го числа, и не заглядывает, а преспокойно управляет себе именьями того или другого из петербургских крупно-чиновных тузов и еще получает за это чины и отличия. Подобные примеры несколько позднее становились даже достоянием сенаторских ревизий. И это все в те самые дни, как особая комиссия изощрялась над проектами сокращения государственных расходов и усердствовала над урезыванием третьесте-

пенных чиновничков... Но грандиознее всего в эту эпоху, без сомнения, была широкая раздача громадных казенных земель в приволжском, уфимском и оренбургском краях, где получателями являлись преимущественно крупно-чиновные особы, — раздача, известная более под именем «расхищения башкирских земель» и соединенная со слишком уже явными и бесцеремонными неправильностями, положительными отступлениями от закона и даже с вопиющим нарушением прав частной (башкирской) собственности. Богатые земли эти якобы продавались «на льготных условиях» за двадцатую часть их действительной стоимости* и притом еще с долголетнею рассрочкой платежных взносов.

Не отставали по части хищений и всевозможные частные и земские банки с различными кредитными обществами и учреждениями. Так, в одесском коммерческом банке потрачено было более ста тысяч рублей: в харьковском обществе взаимного кредита не досчитались более трехсот тысяч, вследствие чего общество это, имевшее одних вкладов свыше чем на миллион, прекратило платежи

и пустило по миру до пяти тысяч семейств харьковских обывателей; в романовском общественном банке растрчено было семьдесят тысяч рублей, и виновные отделались либо выговором по суду, либо были оправданы, в херсонском земском банке тоже обнаружена была очень крупная растрата при ревизии, и т. д., и т. д. И в то время как одни просто расхищали, другие общества выступали в поддержку разных сомнительных и дутых, а особенно еврейских, предприятий, не отступая для этого ни перед какими акционерными скандалами в общих собраниях. Так, московское кредитное городское общество, попав под владычество еврейской клики, явно стало способствовать переходу московских домов в еврейские руки, и там, где прежний владелец дома не мог добиться под него самой скромной ссуды в «обществе», — покупатель-еврей, приобретая этот самый дом, сейчас же получал под залог его громадные деньги. В этих случаях «общество» не стеснялось даже миллионными ссудами, лишь бы только еврейское домовладение преуспевало и множилось в первопрестольной. И жида все бо-

лее и более захватывали Москву в свои руки, даже до того, что не постеснялись наконец устроить свою грязную микву против храма Христа Спасителя.

Состояние общества в эту эпоху было какое-то путаное, неопределенное, — кавардак какой-то, — и это не только в городе, но отчасти и в деревне. С одной стороны, целым синклитом избирают Салтыкова в почетные члены Харьковского университета, как обличителя и преследователя «общественного зла»; с другой — в Боровичском уезде крестьяне живьем сжигают бабу Аграфену Игнатьеву, в качестве колдуньи, в полной уверенности, что заслужат себе за это всеобщее одобрение, а никак не порицание начальства, так как тоже обличают и преследуют-де «общественное зло». Г-да Стасюлевич со Спасовичем, с одной стороны, ратуют за «расширение прав печати», за свободу слова; с другой — они же производят с понятиями обыск и выемку в редакции «Нового Времени» и тянут редактора и автора к суду, за какое-то, обидное для их самолюбия, стихотворение. В Тамбовской губернии какой-то пожилой иеромонах одного мо-

настыря и ризничая соседнего с ним женского монастыря, то же преклонного возраста, слюбившись между собою, оставляют монашество, соединяются браком и открывают в Усмани питейное заведение — и провинциальная газетка находит это «отрадным явлением», а некоторые столичные газеты перепечатывают известие об этой «современной идиллии», совершенно соглашаясь со своєю провинциальной сотоваркой. В публичные сады, кафе-шантаны и опереточные театры беспрепятственно допускаются воспитанники и воспитанницы средних и низших учебных заведений, вопреки запрещению министра народного просвещения, и это безобразие вызывает наконец циркуляр Харьковско-го генерал-губернатора, так как «на этих публичных увеселениях и представлениях не всегда соблюдаются правила благопристойности и приличия, к явному оскорблению общественной нравственности»; циркуляр этот взывает к поддержке «всех благомыслящих людей», — а благомыслящие люди, в качестве «отцов», отвечают в газетках будирующими заявлениями, что они, «как отцы», сами-де

знают, как лучше вести своих детей и что начальство напрасно-де позволяет себе врываться в домашний порядок их быта и стеснять их бедных, и без того уже измученных Толстовскою системой, детей даже в невинных развлечениях и прогулках, на которых если они и бывают, то по большей части вместе со своими родителями. В Орле гласный Нарышкин высказывает в земском собрании свой взгляд на женские гимназии, что* они, давая воспитание детям бедных горожан, отрывают их от своей среды и возбуждают в них такие потребности, удовлетворять которым те не могут, — а «деятели и сеятели», вместе с газетными корреспондентами-«отцами», начинают за это поносить имя Нарышкина, яко зол глагол, и пытаются даже поднять против него уголовный процесс «за оскорбление родителей». Гвардейский офицер Ландсберг желает жениться «для карьеры» на дочери своего, высокопоставленного начальника, и для поддержания себя, в качестве жениха, в приличной обстановке до свадьбы, не находит лучшего способа как зарезать своего благодетеля, старика Власова. В

апреле 1880 года, в петербургском окружном судеразбиралось уголовное дело братьев Висленевых, Катенева, Кутузова и нескольких «этих дам», обвинявшихся в подделке временных свидетельств 1-го восточного займа; Висленевы и Кутузов были осуждены на каторгу, — и известная часть «прессы» дружно и злорадно возопила: «Вот оно, русское дворянство! Вот каковы его представители!» Но в августе того же года и в том же самом суде фигурировал, в качестве подсудимого, присяжный поверенный Евгений Корш, обвинявшийся в нескольких преступлениях по своему званию (мошенничество, обман своих доверителей, Шереметева и князя Урусова, и растрата их денег, более тридцати тысяч рублей). Обвиняемый объяснял свои деяния на суде рядом жизненных неудач, в особенности неудач своих литературных предприятий, которые оканчивались или запрещением издававшихся им газет, или таким сужением их программ, по распоряжению главного управления по делам печати, что они проваливались с крупным дефицитом. К удивлению, присяжные его не оправдали, и Корш отправился на

житье в Томскую губернию; но либеральная «пресса» на этот раз не вопила и не зло[^] радствовала, — напротив, она всячески старалась заминать и замалчивать это крупное, в общественном смысле, дело, и без того уже поставленное на судебную сцену в самый глухой сезон, так как тут проворовался свой брат, либеральнейший юрист и издатель, сын известного в свою пору либерального редактора. А между тем, в то самое время, как «пресса» обмалчивала дело адвоката Корша, из провинции сыпались беспрестанные жалобы на подобную же адвокатскую деятельность. Дошло до того, что в одну из городских дум (Бобринецкую, Херсонской губернии) гласными ее официально было внесено заявление о крайних беззакониях, творимых местными патентованными адвокатами, деятельность которых, по словам заявителей, «не может быть терпима обществом и законом». В подтверждение этих слов, выставлялся целый ряд мошенничеств, подлогов, заматания и присвоения себе доверительских денег, кражи документов, подкупов свидетелей и т. д., причем гласные косвенно обвиняли и

личный состав своих мировых учреждений. Городская дума постановила ходатайствовать прѣд министром юстиции о назначении в Елисаветградский округ сенаторской ревизии, ввиду того, что обыватели сильно страдают не только от адвокатских плутней, но зачастую и от потворствующих им неправильных решений мировых судей названного округа. Но сенаторской ревизии им не назначили, — потому сами же они этих судей себе выбирали. Известия о подкупах присяжных заседателей довольно часто появлялись в это время в газетах, наряду с безобразными оправдательными приговорами, всяческими хищениями, конокрадством, дошедшим до ужасающих размеров, порубками, поджогами, грабежами и «интересными» убийствами, с женщинами, или из-за женщин. Уголовные процессы того времени нередко носили пикантно-кровавый характер. Девица Качка, например, в Москве, в веселой компании студентов и студенток, распевая песни, вдруг застреливает ни с того, ни с сего студента Байрашевского, человека совершенно ей постороннего. В обществе ходили тогда слухи, что

это-де «жребий», вроде Веры Засулич, но суд признал ее только психопаткой и отдал под больничный присмотр, впредь до выздоровления. В роли quasi-политических убийств являлись иногда чуть не дети, — таково было убийство близ Орла двух лодочников, совершенное тремя воспитанниками одесского технологического училища Гумидовых, Войцеховским и Триборном. Любители же более легкой пикантной уголовщины услаждались тогда интересными воровскими похождениями красивой и шикарной жидовки Блювштейн, известной более под прозвищем «Соньки-золотой ручки».

Вообще в провинции жилось какою-то смутною, чадно удушливою жизнью. С одной стороны, в ответ на каждое, счастливо избегнутое, покушение, сыпались оттуда к подножию трона бесчисленные адреса с изъявлениями верноподданнических чувств радости, преданности и негодования против злодеев-покусителей, служились молебны, делались общественные подписки на сооружение часовен, икон, киотов, богоугодных заведений или на учреждение разных благотвори-

тельных стипендий и в память события»; с другой же — это самое общество, в особенности на юге, совершенно пассивно, как баранье стадо, допускало в своей среде выпрашивание и даже вымогательство денег для разных преступных целей, вроде вспомоществования политическим арестантам, или для предоставления «нелегальным» возможности к укрывательству, для воспособления им на выезд за границу и т. п., в одном из больших южных городов не постеснялись даже открыть подписку специально для взрыва императорского поезда на пути из Крыма, — и подписка на это дело, по печатному свидетельству самих бунтарей и взрывателей, пребывающих ныне за границею, дала им полторы тысячи рублей, которые и были немедленно отправлены в кассу «динамитного комитета». Такие сборы «на политических» делались довольно открыто: в публике, во время судебных заседаний по политическим делам, на юбилейных обедах, в разных собраниях, на семейных вечерах, спектаклях и литературных чтениях, обыкновенно «в пользу одного бедного семейства», в светских гостиных, в

редакциях некоторых провинциальных газет и т. п. И дошло это до такой бесцеремонной публичности, что вызвало наконец особый строгий циркуляр генерал-адъютанта Тотлебена, в бытность его одесским генерал-губернатором.

Бабьегонское земство в это время, подобно многим другим уездным и губернским земствам, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, упражнялось, главнейшим образом, в lamentациях против графа Д.А.Толстого и в борьбе с министерством просвещения из-за земских школ и учительских семинарий, не желавших подчиняться правительственному контролю над духом и направлением их преподавания. И когда граф Толстой пал, наконец, как министр народного просвещения, земским и журнальным ликованиям не было конца: все это трубило и торжествовало свою победу, ибо теперь свободно можно было лягать павшего каждым копытом и устраивать ему общественные скандалы, в роде закидывания его «черняками», когда, по выходе в отставку, он пожелал было баллотироваться в гласные Михайловского

уезда (Рязанской губернии), как крупный местный землевладелец. Это «прокатили на вороных» составляло верх злорадного торжества у либеральных земств, в либеральной «прессе» и у столичных действительных явных и тайных сплетников, которые впоследствии, когда Толстой снова был призван на государственный пост, но уже в качестве министра внутренних дел, не затруднились первые же лакейски «приветствовать» его назначение, лебезить и слагать ему хвалебные гимны.

Среди, этого общественного вихлянья и путанья, хорошо себя чувствовали одни евреи. Денег им во время войны и вслед за ее окончанием перепали целые уймаща, а уголовного суда и ссылки за все эти свои военно-финансовые подвиги удалось им тогда счастливо избежать. Тут сразу как-то составились у них новые состояния, выплыли новые финансовые имена и предприятия, стали выходить разом две новые еврейские газеты, «Рассвет» и «Русский еврей», и вообще Израиль заметно приободрился, приосанился и, почувствовав за собою силу, поднял значительно выше

свой тон и свой нос, и без того уже достаточно нахальный. «Утучнел Иешуруп, — по слову пророка, — и стал брыкаться». Сила и уверенность в ней нашего Израиля сказались тогда, между прочим, в знаменитом Кутаисском деле, когда пред местным окружным судом предстало несколько евреев, обвинявшихся в похищении перед Пасхою 1878 года христианской девочки Сарры Мадебадзе. По поводу этого процесса, еще раньше его начала, появились в печати претензии против самого возбуждения «подобного дела», даже против начала следствия, так как одно-де следственное производство уже наносит будто бы вред еврейской репутации, — словом, явились крупные и наглые притязания на какую-то особую привилегию для евреев, на изъятие их из общего порядка судопроизводства. На судебную защиту обвиняемых, еще до выяснения самого дела, были уже отпущены значительные суммы совсем посторонними этому делу евреями, отчасти даже заграничными, — и у кутаисских евреев, несмотря на всю их бедность, оказались вдруг дорогие и «знаменитые» адвокаты, гг. Александров и Купер-

ник. Исход дела уже заранее был предрешен самими евреями, — и обвиняемые, несмотря на всю жесткость очевидных и тяжких улик, были, согласно этому предрешению, торжественно оправданы. Дело было перенесено затем в Тифлисскую судебную палату, но там уже прокурор отказался от обвинения, — и палата объявила обвиняемым новый оправдательный приговор. Утучневший Иешуруп торжествовал, а юные сыны и дочери его не уставали тем часом фигурировать в беспрестанных политических процессах.

В эту смутную, путанную и нервную эпоху, за исключением весьма небольшого, сравнительно, круга людей двух резко противоположных направлений, трудно, почти невозможно было отличить, кто каких убеждений, кто чего хочет, кто за кого и кто против чего, кто чему сочувствует и что отрицает или отрицает. Недаром же создалась тогда известная характерная фраза: «с одной стороны нельзя не сознаться, с другой — нельзя не признаться». Это была какая-то всеобщая вихлявость и сбитость с панталыку. Одни ошалевали, не понимая, что это вокруг творится;

другие, напротив, понимая очень хорошо, спешили половить себе в мутной воде рыбки и обработать, округлить свои личные делишки; третьи малодушествовали и охали в полном упадке духа; четвертые злорадно и ехидно хихикали, приговаривая: «чем хуже, тем лучше», и все одинаково ожидали чего-то, перемен каких-то; но каких, — на это никто не мог дать никакого точного определения. В чадном тумане, застилавшем глаза и мозги тогдашнего общества, сквозило только нечто неясное, призрачное, в виде расплывчатого понятия о «конституции», — какой именно конституции, на каких основах, до этого не добивались, а так, желали «конституции вообще», как «увенчания здания». Это недомогающее состояние общества очень верно было характеризовано тогдашнею «Неделей» в следующих выражениях: «То, что случилось сегодня, завтра уже забывается, как давно и безвозвратно минувшее: вечное ожидание чего-то нового, ожидание, страстное до боли, жжет и томит всех неустанно. Никто не знает, на чем остановиться, чего держаться. Сомнения, растерянность и тупая, ноющая боль

вносятся повсюду, как неизменные наши спутники. Это какой-то лихорадочный бред, с редкими минутами отрезвления, какое-то торопливое хватание первой подвернувшейся под руку вещи и отбрасывание ее затем снова в сторону. Перепутанное время!.. О какой-либо последовательности и определенности нет и речи». И вот, в это-то время вдруг появляется как бы некий Мессия.

XVI. «ДИКТАТУРА СЕРДЦА»

5 февраля 1880 года, в седьмом часу пополудни, последовал известный взрыв в Зимнем дворце, сопровождавшийся человеческими жертвами среди солдат, в караульной комнате. В Петербурге наступила полная паника. Распущены были слухи, что 19 февраля все парадные подъезды целый день будут закрыты и всех проходящих по улицам и входящих в ворота домов будут подвергать осмотру, так как этот день назначен для генеральных взрывов по всему городу. Поэтому многие состоятельные и чиновные люди еще до 9 числа поспешили выехать на дачи, или в провинцию, а еще более за границу, вообще, постарались быть подальше от Петербурга; множество же лиц из оставшихся в городе бросали в эти дни свои квартиры на произвол прислуги и старались шататься по улицам и ресторанам, в Царском, Павловске, Гатчине и т. д. Переполох был ужасный. Даже биржевые хроникеры свидетельствовали, что «угрожающие слухи о каких-то предстоящих ужасах запугали до невероятия многочислен-

ный класс крупных и мелких капиталистов; запуганные донельзя люди начали верить самому вопиющему вздору, самым крайним нелепостям и, потеряв голову, прибегали к мерам и действиям, лишенным человеческого смысла». В числе разных ужасов ожидался взрыв государственного банка. Но вот, 12-го февраля Петербург узнал вдруг великую новость, что в столице учреждена «Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» и что главным начальником ее назначен граф Лорис-Меликов. которому предоставлено избрание Высочайше утвержденных членоз этой комиссии, и, сверх того, право призывать в комиссию всех лиц, безразлично, присутствие коих будет признано им полезным. Вместе с этим, должность временного петербургского генерал-губернатора, в лице генерал-адъютанта Гурко, упраздняялась — и генерал поэтому удалился на житье в свое тверское поместье.

Граф Лорис-Меликов тотчас же издал прокламацию к обществу, где выставил прежде всего на вид, что «ряд политических зло-

действ вызвал не только негодование русско-го народа, но и отвращение всей Европы» (?!), и заявлял, взывая к обществу, что на «поддержку общества» он смотрит «как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого «общества», а в заключение, граф манил это «общество» конфеткой «равно для всех дорогой» — возвращения общества «на путь дальнейшего мирного преуспеяния». Хотя это были не более, как общие расплывчатые и туманные фразы, но «общество» осталось в убеждении, что под ними должно разуместь «конституцию». Из всей печати, один только М.Н. Катков решился заметить на это воззвание, что практических последствий от призыва правительства, обращенного к обществу графом Лорис-Меликовым, можно бы было ожидать только при том условии, чтобы правительство своим образом действия дало тон и направление умам и ясно определило, чего оно требует от общества. Но вот именно ясности-то этой и не хватало в прокламации гра-

фа. — «Правительство, замечал Катков, действующее с характером, быстро переладит в своем смысле общественное настроение». Но и характера определенного пока еще ни в чем не проглядывало, — он проявился несколько позднее. За исключением «Московских Ведомостей», вся остальная печать откликнулась на назначение и воззвание графа Лорис-Меликова ликующим образом, исполненным широких и самых радужных упований. «Неделя» удостоверяла, что, с его назначением, вдруг «повеяло чем-то новым, как будто запахло весной». Другая газета утверждала, в либеральном своем увлечении, что «одно имя графа, само по себе, есть уже целая программа!» — «Новое Время» заметило, что «чем-то новым, успокоительным, бодрящим повеяло в воздухе», и что газетные статьи и фельетоны (фельетоны — это главное!) приняли «несколько праздничный тон». — «Слава Богу! На душе стало легче!» воскликнул «Голос». — «Новости» назвали «первое слово» графа «столь же симпатичным, как и вся его деятельность». «С.-Петербургские Ведомости» находили, что «общее высокое доверие, жи-

вейшее сочувствие и любовь, которые снискал себе бывший харьковский генерал-губернатор, должны внушать нам йаилучшие надежды». В совокупности, все это было очень громко, очень радужно, но и очень неопределенно, как и сама прокламация графа. Одни только «Московские Ведомости», без всяких увлечений, утверждали, что верховная комиссия есть не более как высшее полицейское управление и советовали в то время графу не искать себе популярности «везде и у всех» и «не поддаваться влиянию чиновных и светских кругов петербургской интеллигенции, бредивших конституцией». За это вся либеральная «пресса» опрокинулась на Каткова и стала отрицать даже самую *raison d'etre* его газеты и вообще охранительных начал, вопрошая, во имя чего же может поднимать «эта партия» свой голос теперь, когда обстоятельства не допускают уже колебаний, а требуют прямого и решительного образа действий и совершенно определенной политики, в смысле увенчания здания?» А московский журнал «Русская Мысль», так тот дошел даже до требования «обузданий», восклицая:

«неужели все это пройдет (Каткову) даром и не будет обуздан этот оскорбительный для всего русского общества наглый, сумасшедший крик распаленной инквизиционным жаром фантазии?!» Это либералы-то вzywали об «обуздании» к правительству, за независимое слово!

Итак, за исключением Каткова, вся печать ликовала и надеялась, а либеральная часть ее сразу же обнаружила некоторую тенденцию руководить своим новым protege и стала указывать ему, по своему собственному усмотрению, «задачи Верховной комиссии», ибо общество относится-де к ней «с широкими и вполне основательными (?) надеждами». От комиссии требовалось печатью «упростить и ускорить следствия по политическим делам», «умерить излишнюю подозрительность и рвение исполнительных органов» и «увенчать здание благодетельных реформ правовым порядком», а несколько позднее, когда убедились, что граф охотно следует этим указаниям, «пресса» еще с большею настойчивостью приступила к нему со своими советами и требованиями якобы «необходимых для

умиротворения России мер», в ряду которых прежде всего была поставлена необходимость уничтожить генерал-губернаторов, с их «исключительными» правами и полномочиями, которыми они «не только могут пользоваться, но и действительно пользуются»;— затем настойчиво предлагались отмена бесполезно стеснительных паспортов и вообще всяких письменных видов, отмена административной высылки и возвращение «как можно скорее» всех административно высланных и поднадзорных лиц. О возбуждении новых политических процессов отзывались с неудовольствием, слегка журя за них графа, и находили, что «подобные процессы теперь производят уже впечатление анахронизма»; даже по поводу расстреляния двух нижних чинов, в Сумах и Кременчуге, за такие чисто воинские, тяжкие преступления, как убийство своего полкового врача и сорвание погон со своего полкового командира, одна либеральная газета замечала с неудовольствием, что, к сожалению, дела этого рода все еще рассматриваются на основании исключительных военных законов. Одновременно с

совета́ми и требова́ниями печати, раздали́сь и из провинции́ голоса́ разных г-д Рагозиных, де-Роберти, Гольцовых, Корсаковых, Гордиенков, Южанинов и др. по вопросам о расширении прав земства, о сокращении дворянства, о ненужности административных высылков, о строгостях школьного надзора, об отмене Толстовской системы образования, о снятии запрещения с малороссийского языка, о олаговременности «увенчания здания» т. д., и т. д. Что же касается террористов и бунтарей, то на все эти туманные обещания и прокламации «нового начальства» и на все советы, требования и заигрывания «легальной» либеральной прессы, они с самого начала, еще 20-го февраля, ответили выстрелом еврея Млодецкого в графа Лорис-Меликова и тем наглядно показали полную свою непримиримость ни с какими «новыми эрами» и «новыми веяниями» и полное свое презрение как к правительству, так и к либералам.

Млодецкого на другой день судили, а на третий, утром, уже повесили на Семеновском плацу, несказанно удивив этим петербургскую публику, не приученную еще к таким

быстрым расправам. Казалось бы, подобною быстротою граф удовлетворил требованиям печати об упрощении и ускорении политических следствий и судов, но вышло так, что ожидатели этим не удовлетвоались, — им хотелось бы лучше видеть Млодецкого помилованным, и не только помилованным, но и совсем прощенным, — ступай, дескать, милый человек, себе с Богом на все на четыре., и пусть бунтари, видя этот умильный пример великодушия, почувствуют все его значение и исправятся!.. Впрочем, выстрел этого еврея не изменил ровно ничего ни в розовом настроении либеральствующей печати, ни в готовности самого графа следовать и далее ее указаниям. Некоторые из публицистов и фельетонистов известного лагеря, как было слышно тогда в литературных кружках, получили даже премирующее и направляющее значение в интимных оеседах графа, в его кабинете, доступ в который раз навсегда был открыт им радушным сановником, а один из их доктринеров-издателей, в поощрение своей либеральной деятельности, как уверяли тогда, был даже представлен графом ко звезде

св. Станислава.

Вскоре последовал целый ряд общих мероприятий, перемен в личном составе правительственных учреждений, подготовительных работ, разных отмен, смягчений, послаблений, циркуляров, — и направление новой правительственной деятельности выяснилось. Граф был очень доступен, любезно принимал и выслушивал всех, особенно студентов и студенток, делал для них все, что мог, расширял стены учебных заведений, распоряжался быстро, гуманно, либерально, самовластно, обворожительно и заслужил, себе имя «диктатора». Потомок армянских властителей, он ничего не имел против этой клички, — напротив, она очень ему нравилась, и он охотно соглашался, что если это диктатура — пусть так, но только «диктатура сердца». Название «диктатуры сердца» сделалось очень популярным в обществе, и вся эпоха правления Лорис-Меликова перешла потом в историю под этим же, несколько сентиментальным, именем.

В первых числах марта генерал-адъютант Дрентельн был уволен от звания шефа жан-

дармов и должности главного начальника Третьего Отделения, без назначения ему преемника. Пошли приятные слухи, что и само Третье Отделение, кажись, уничтожается; но в публике слухам этим еще не отваживались верить безусловно, — как же так, вдруг, без Третьего?! Больно уж к нему привыкли!

В апреле, на место нелиберального В.В. Григорьева, в Главное управление по делам печати был назначен другой руководитель, которого общее мнение почему-то сразу и без достаточных оснований признало либеральным. Отставка Григорьева была встречена несколькими газетами весьма злорадно; с павшим чиновником, благосклонности которого вчера еще эти журналисты так заискивали, сегодня не считали уже нужным церемониться, — ведь розничной продажи не запретят из-за этого!

В апреле же петербургским городовым категорически разрешено было графом не отдавать чести офицерам, ни даже генералам. На это некоторые газеты жаловались, что городовые, по старой дурной привычке, все еще продолжают прикладывать руку к козырьку,

а другие, завидев офицера, спешат отвернуться в сторону, чтобы не вводить себя в искушение, — «ну, дескать, а как вдруг возьму да отдам!» По этому поводу те же газеты радовались, что «слава Богу, подруга опущена!» и что они теперь «понимают лошадь, когда ей опустят подруги».

Затем было сделано графом распоряжение о собрании данных относительно положения и поведения лиц, административно высланных под полицейский надзор, ввиду облегчения их участи, — и в первые же месяцы освобождено их было 433 человека, из коих 279 человек без всяких ограничений, а 58 переведены в ближайшие, более удобные местности. Потом следовали еще новые освобождения, не в меньшем количестве. Хотя некоторые из этих освобожденных отличились впоследствии в новых политических преступлениях, но в этом была, по крайней мере, та хорошая сторона, что тихие, захолустные городки нашего севера и северо-востока избавились наконец от этой, навязанной им заразы, нравственно-разлагавшей их молодежь и семьи.

24 апреля министр народного просвещения граф Д.А. Толстой. был уволен в отставку. Величайшее торжество и ликование всех газетных, земских и чиновных либералов встретило падение этого человека, более всех остальных им ненавистного, за свою неуступчивую твердость противных им убеждений. Лгать и бросать в него комками журнальной и земской грязи можно было теперь невозбранно, б графе Толстом граф Лорис выразился: «я его спихнул», а о его преемнике — «я его предложил, но я его не знаю». Первым делом нового министерства было восстановление во всей своей силе Головнинского «Университетского устава 1863 года» и отмена «преобразований» графа Толстого.

Высочайшим указом от 6-го августа упразднено наконец Третье Отделение. Маков из министра внутренних дел превратился в министра почт, телеграфов и иностранных исповеданий, а Верховная распорядительная комиссия, «за осуществлением главной ее задачи», закрылась, и граф Лорис-Мсликов, с его диктаторскими полномочиями, делается всемогущим министром внутренних

дел. По сему поводу в либеральных газетах писали, что «политика этого государственно-го человека состоит не только в замене людей, но в изменении самого принципа», и указывали ему «условия общественной деятельности» и «с чего следует начать». Он продолжал слушаться. Депутации от петербургских дам подносили ему за это букеты с надписями на лентах «умиротворителю» и «в знак умиротворения». Одна из ликующих газет выразилась, что отныне граф Михаил Тариелович «обобщается на всю Россию и сам становится обобщателем». «Русская Речь» обращалась к нему с мольбою: «Разбудите нас, граф! Вдохните в нас энергию!» А один из либеральных жидовских стихотворцев сравнивал его даже с Моисеем и взывал:

*Доколе ж нам стоять серед пути,
Жить в шалашах, питаться манной?
Где ты, о Моисей? Веди же нас, веди
К заветным рубежам земли обетованной!*

Либеральная колесница невозбранно ка-

тилась теперь по лицу земли Русской, и тогдашняя «Неделя», в статье «Новые порядки», с похвальной откровенностью высказывалась, что «никому в настоящее время не придет в голову объяснять тот или другой взгляд желанием заявить свою благонамеренность, так как подобные заявления сделались уже ненужными и даже несколько компрометирующими, ибо в настоящее время гораздо удобнее и выгоднее выставлять себя с так называемой либеральной стороны, чем с противоположной». И действительно, из независимых органов печати, верных здравому смыслу и историческим началам русского народа и государства остались только «Московские Ведомости» да «Русь», И.С. Аксакова, выступившего наконец из-под запрета и вынужденного молчания снова на публицистическое поприще. Но всякая попытка Каткова или Аксакова и каких бы то ни было частных и даже духовных лиц к разъяснению нигилистических козней и сущности нигилизма дружно и ретиво встречалась гамом, лаем и травлей в газетах и журналах, а еще более в уличных, сатирических и порнографических

листочках; люди эти объявлялись как бы вне гражданских прав и закона, — совсем, как под еврейским «херимом», — имена их публично шельмовались, их невозбранно обливали помоями самой грязной клеветы, заподозревали их честность, взводили на них тяжкое обвинение в продажности, обзывали их сикофантами, доносчиками, добровольцами шпионства и т. д. Под этим деспотическим давлением разнузданной и ошалелой «прессы», даже духовные проповедники оставляли возвышенный и строгий церковно-ораторский стиль и, говоря — довольно, впрочем, сдержанно — о растлевающих язвах современной русской жизни, старались на высоте церковных кафедр усваивать себе вульгарно-модный газетный жаргон передовиц «Голоса».

В конце августа появились в газетах известия о сенаторской ревизии нескольких губерний разом, подобранных из самых различных местностей севера, востока, средней полосы, Малороссии и западного края, — и все это «ввиду готовящихся крупных реформ», но каких собственно, — об этом никто ничего по-

ложительного не ведал, и все витали только в области приятных предположений насчет «правого порядка». Вообще, относительно этих реформ, либеральные газеты обещали, по выражению одной из них, «что-то широкое и неясное, а отчасти даже и положительно нелепое», пока-то, наконец, не было обнародовано Высочайшее повеление 22 сентября, определявшее права и обязанности сенаторов, коим поручалось произвести ревизию восьми губерний. Это мероприятие, вместе с преобразованием бывшего Третьего Отделения, составляло одну из действительных заслуг графа Лорис-Меликова. К сожалению, не все сенаторы, вместе с захваченными ими из Петербурга канцелярскими «силами» и «умами», оказались на высоте порученной им задачи.

Но период розового увлечения графом и возбужденных им надежд и ожиданий начал уже колебаться. Явились скептики, и даже между наиболее ликовавшими пять месяцев назад либералами. Освободительный престиж и либеральная репутация «диктатора» в их глазах уже несколько потускли, и — кто

бы мог ожидать! — ближайшею причиною этого было именно уничтожение Третьего Отделения. И в самом деле, на верховную комиссию, при ее возникновении, возлагались в обществе, и особенно в его либеральных и чиновных кружках, чересчур уже богатые, но ни на чем положительном не основанные надежды. Все такие господа почему-то были уверены, что в эту комиссию непременно будут приглашены и они, вместе с прочими, как представители общества, земства, адвокатуры и печати, что из них будет образован какой-то особый учредительный комитет, где оудут выслушиваться их мнения, предложения, советы, что правительство будет только покорным исполнителем их предначертаний и решений и т. д. И однако же, — говорили будирующие скептики, — ничего из этого не вышло, никого из «выдающихся» общественных сил не приглашали, никаких комитетов не учреждали, ничьих мнений не спрашивали, да и самая система, в сущности, во всем осталась прежняя; переменились разве лица кое-какие да названия, и только-то! Но что же из того, что «Третье Отделение» переименова-

ли в «Департамент полиции государственной»? Только название удлиннили, — прежнее было гораздо короче и потому удобнее, — а ведь сущность-то функции того и другого остались все те же. Это выходит один только отвод глаз почтеннейшей публике, армянский фокус-покус с фальшивыми бумажками, не более! Чему же тут радоваться? О чем ликовать и чего ожидать еще?

Чуткий по своему либеральному престижу, граф Лорис-Меликов поспешил поддержать в обществе свою колеблющуюся репутацию и потому пригласил к себе, 6-го сентября, на интимную беседу за чашкой чая редакторов девяти периодических петербургских изданий, преимущественно либерального и радикального лагеря, и откровенно раскрыл пред ними те ближайшие задачи, которые он поставил себе целью своей деятельности, изложив заодно уже и свою политическую программу, клонившуюся к неременному «увенчанию здания». Польщенные таким вниманием, редакторы сейчас же, конечно, оповестили об этом свою публику и вынесли на базар ежедневной журналистики всю пи-

кантную суть своей интимной беседы с «диктатором». Вслед за этим, либеральные фонды графа снова поднялись в публике, и ожидания ее опять оживились. Для поддержания того и другого, он, в октябре месяце, съездил на короткое время в Ливадию, а по возвращении его оттуда с шестью проектами, «касающимися», как писалось тогда, «различных преобразований в области государственного управления», опять лихорадочно пошли по Петербургу и России новые «сенсационные» слухи, что теперь-де уже «окончательно конец всему старому» — конституция!!!.. Конституция самая широкая, самая либеральная уже подписана и будет торжественно дана не сегодня — завтра, и вот здание реформ наконец-то увенчается правовым порядком!

А между тем, внутри России продолжались и разрушительные пожары, с поджогами, и голод, с сопровождавшими его болезнями и смертностью, и страшное конокрадство, и земские неурядицы, дошедшие до того, что земля войска Донского усерднейше стала ходатайствовать об избавлении ее от благодеяний навязанного ей земства; продолжались

и крупные хищения из казенных и земских сундуков и банковых касс, безвластие в уездах среди избытка разнообразных, но бессильных властей, и спаиванье народа кулаками-кабатчиками и жидами, и кабала его у кулаков, и отдача обнищавших крестьян в принудительные работы за недоимки, и фабричные забастовки, и крестьянские волнения по поводу «черного передела», и разращение детей в земских школах, вносимое туда разными Софьями Перовскими, Кутитонскими, Нечаевыми, Соловьевыми, и Желябовыми, которые в свое время все были сельскими учителями и учительницами, — все это шло своим обычным порядком, равно как и подпольная работа притаившихся и притихших, пока что, бунтарей, которые, тем не менее, в это самое время энергичнее чем когда-либо подготавливали величайшее из своих злодеяний. Но ко всем этим невздам прибавилась еще и новая, давно уже не проявлявшаяся, в виде повсеместных студенческих волнений.

Начались эти волнения с поездки представителя подлежащего ведомства по учебным округам, где в каждом университетском горо-

де он считал нужным обращаться со своими «руководящими» речами и спичами не только к профессорскому персоналу, но и к студентам, в полном составе последних. Эти красивые речи, исполненные «новых веяний» и идей «децентрализации» учебного дела и освобождения его от «излишней регламентации», вместе с критикой всех распоряжений и направления графа Толстого и с обещаниями полной их отмены и полного восстановления либерального университетского устава 1863 года, — речи эти из уст такого лица, обращаемые непосредственно к самой молодежи, производили на нее тем более сильное и охмеляющее впечатление, что автор их тут же предоставлял учащимся право входить к нему с «петициями» о своих корпоративных нуждах, потребностях и желаниях. А при этом еще и газеты, как столичные, так и провинциальные, с торжеством возвещали *orbī et urbī*, что он «в основу своей деятельности кладет принцип диаметрально противоположный тому, каким руководствовался граф Толстой, доводивший регламентацию до крайних пределов возможного». Эта поездка по

России вызвала со стороны студентов разных университетов и некоторых специальных институтов множество «петиций» о расширениях их студентских прав и преимуществ. По всем университетам пошли опять бурные сходки, волнения и столкновения с начальством, с полицией и т. д. В «петициях» этих ходатайствовались о невозбранном праве сходок, во всякое время, для обсуждения не только своих бытовых, но и учебных вопросов, о праве избирать самим своих профессоров, об устранении общеполицейского и уничтожении специально инспекторского надзора за студентами, внутри и вне стен университета, о восстановлении университетского и особого еще студенческого суда, о правс'подачи и впредь петиций, помимо своего начальства, непосредственно самому министру, чрез своих выборных представителей, о праве иметь бесконтрольно свои осоые библиотеки (помимо университетских), свои читальни, кассы, кухмистерские, о допущении в университеты, без всякого ограничения, евреев и учащихя женщин в признанном звании студентов и со всеми университетскими для них

правами, о праве студентов вступать в брак и т. д. Таким образом, не иное что как сами же эти «руководящие речи» возбудили в учащейся молодежи излишние, не оправдавшиеся надежды и неуместные притязания, и отвлекли этим людей от занятий прямым своим делом.

Понятно, что такие чрезмерные притязания студентов не могли быть безусловно удовлетворены никаким правительством. Последовали канцелярские оттяжки, заминки, отказы, а это вызвало в молодежи взрывы новых неудовольствий и, прежде всего, разочарование в самих представителях ведомства. 5-го декабря начались крупные беспорядки в Московском университете, продолжавшиеся и в последующие дни, так что 8-го числа пришлось прекратить чтение лекций, и университет временно был закрыт. По этому поводу поднялась горячая газетная перепалка, даже в своем собственном либеральном лагере. Доктринерские органы подняли гвалт в защиту представителей ведомства, стараясь отстоять их от обвинений в том, что причиною беспорядков было их популярничанье в речах;

другие же старались притушить историю, усердно доказывая, что в ней нет и не может даже «в настоящее время» быть ничего «политического», — просто-де домашнее дело из-за кухмистерской да из-за исключения шести товарищей, и только; прежде, мол, такие истории могли, пожалуй, иметь и политический характер, но теперь, в эпоху «новых веяний», — это-дс немислимо! Одна из газет старалась внушить кому следует даже такой взгляд, что главную пользу студенческих касс и кухмистерских следует-де видеть не в том, что они облегчают материальные нужды студенческого быта, а в том «нравственном влиянии, какое эти учреждения, в связи со сходками, должны оказать на студентов и которое будет составлять необходимое дополнение к университетскому образованию». Та же газета доказывала необходимость, чтобы университетское начальство, ближайшее и отдаленнейшее, изменило свой взгляд на студенческие беспорядки вообще и «смотрело бы на них просто сквозь пальцы». Высшее начальство, по-видимому, приняло и этот добрый совет к исполнению, но увы! — такое беспри-

мерное попустительство не утишило, а напротив, довело беспорядки до своего рода катастрофы.

Разыгралась эта катастрофа — скандал 8-го февраля 1881 года, в Петербурге, на торжественном годовом университетском акте, при большой и избранной публике. В этому торжеству нарочно были подогнаны некоторые «отмены», которыми надеялись угодить студентам. На первом плане стояла отмена «временных правил», введенных прежним министерством, о стеснительности которых наиболее распространялись студенческие «петиции», а затем, в числе прочих, была даже отмена и университетской «инспекции». Все это было торжественно, громогласно и совершенно официально объявлено на самом акте, от лица присутствовавшего тут же представителя ведомства. Ожидались в ответ радостные рукоплескания, благодарственные восклицания и трогательные овации, — в этом были уверены. Но вдруг, вместо ожидаемого, вслед за объявлением, с хор университетской актовой залы послышались «неуместные» возгласы, полные резких выходок и даже руга-

тельств лично против того же представителя. Картина. Онемевшая зала в изумлении обратила очи горе — и в этот момент с хор дождем посыпались на головы ученого ареопага и публики литографированные листки с прокламацией от имени какого-то «центрального кружка» студентов, выражавшей в самой резкой форме недовольство и неудовлетворенность молодежи состоявшимися «отменами» и облегчениями. Новая картина и сугубое изумление. Чей-то голос с хор начал было читать эту прокламацию, но тут уже невозможно было разобрать ничего, потому что по всей зале, и вверху, и внизу, начался такой неистовый шум и гам, вместе с топаньем, стуком, свистом, криками, мяуканьем и ломаньем стульев, что избранная публика и ученый синклит оцепенели от ужаса. Тщетно ректор шжглашал студентов к порядку, надрываясь изо всех сил, чтобы голос его был услышан, тщетно члены отмененной инспекции и некоторые «популярные» профессора бросались в толпу манифестантов, с уговариваньями и мольбами прекратить скандал, пощадив свою *alma mater* и достоинство науки, — их

не слушали, не замечали и потоками ломились вперед... Среди общего движения, поднялась такая суматоха, толкотня и перетасовка по всей зале, что сразу унять этот беспорядок не представлялось никакой возможности. В этой сумятице, продолжавшейся более четверти часа, одним из негодяев было нанесено известному лицу оскорбление, после которого не оставалось ничего более, как поскорей ретироваться. Положение ужасное, — и все это из-за игры в популярность. Прерванный акт преждевременно кончился сам собою, без всякой уже торжественности, а на последовавших затем студенческих сходках выяснилось, что большинство студентов хотя и высказывается против такой грубой формы манифестации, но все-таки считает себя неудовлетворенным, так как ведомство не сдержало слова своего представителя, и объявленные им облегчения далеко не дают всего того, на что они надеялись, о чем просили в «петициях» и что им было обещано. Но замечательно, что и тут не обошлось без евреев. Между зачинщиками всего этого беспримерного скандала, на первом плане стояли студенты:

Лейба Коган, Бернштейн, Папий Подбельский, а затем уже шли Паули, Энгельгардт Ходзский и др. «Диктатура сердца» отнеслась к ним вообще довольно снисходительно, а по городу пошли новые слухи, будто представитель ведомства думает оставить свой пост, по расстроенному здоровью. Но это случилось уже позднее, после 1-го марта.

Между тем, игра «диктатуры» в популярность продолжалась. Как было слышно, она готовилась подарить и поразить Россию таким «правовым порядком», который превзошел бы самые смелые ожидания г-д Градовского, Стасюлевича и Лелево-Полонского. И хотя время от времени полиция продолжала еще случайно захватывать в Петербурге и в провинции бунтарей-социалистов и террористов, но это «диктатуру сердца» не смущало, тем более, что и газеты либерального лагеря дружески советовали ей не обращать на такие пустяки серьезного внимания. Одна из них, по поводу поимки в декабре 1880 года двух важных террористов, напечатала очень пикантную статью, под заглавием «Блуждающие огни», где проводилась параллель между

«анархистами» и «охранителями» и доказывалось их обоюдное сродство между собою, почти полное тождество, а насчет декабрьских поимок политических злоумышленников в Петербурге и Харькове говорилось, что подобные случаи — «не более как блуждающие огни, которые не должны сбивать нас с дороги, не должны заставляя нас лихорадочно кидаться в их сторону, а иначе с новой дороги мы опять легко можем забрести в непролазные дебри и болота». Подобным советам продолжали благосклонно внимать и «не сбивались с дороги».

В февральские дни 1881 года, в чиновных и журнальных сферах все весело торжествовали близость «увенчания» и играючи утверждали, что все совершенно спокойно и тревожиться нечего, что это один только безумный Катков каркает там что-то такое на своем Страстном бульваре, но на это старческое карканье не стбит-де обращать внимания. Действительные статские и тайные либералы из чиновных и сановных и светские m-mes Рекамье пошиба г-жи Миропольцевой с самодовольством отмечали наши «поступательные

шаги на пути к свету и свободе», ставя в числе их на первом плане отставку Толстого, уничтожение Третьего Отделения, речи представителя просветительного ведомства, освобождение административно высланных и небывалый до сих пор простор либеральной печати. Вообще же, действительные статские и тайные «винтили» и «флиртировали» себе с легким духом, самым благодушным образом, исправно получали себе награды и «подъемные» на разные развлекательные командировки, произносили ипжво-либеральные речи на юбилейных и «товарищеских» обедах сослуживцев, услаждались женским оголением в «Стрекозе» и передовицами «Голоса» и «Порядка», entre autres слушали доклады и подписывали «текущие» в своих департаментах, или заседали в десяти «временных» комиссиях разом, ездили на гастрономические завтраки к его превосходительству Самуилу Соломоновичу Полякову, а по вечерам заглядывали в балет или оперетку и нередко решали между собою важные служебные дела с двух слов, за картами в клубе и в антрактах, в фойе Михайловского театра. Вообще, жили

весело и довольно-таки беззаботно.

Утром 1 марта, как сообщали в газетах, в высших правительственных сферах происходило уже совещание о немедленном призыве депутатов из губернии, для совместного с правительством обсуждения вопроса о том, как наложить конец нынешнему нестерпимому положению дел. Мысль эта обсуждалась в последнее время в одном из высших учреждений, и было уже предположено назначить комиссию для ее детальной разработки, «при участии представителей от существующих выборных учреждений». Газеты, предназначенные на этот раз к подготовке общественного мнения у нас и за границей («St.-Petesb. Herold»), уверяли, будто «при этом имеется в виду не ограничение верховной власти, а напротив, ее укрепление, желание оградить главу государства от ропота и борьбы партий, а также от опасностей, существенно облегчив его тяжкую ответственность сложением части ее на признанных законом представителей страны». Представитель «диктатуры сердца» уже изготовил доклад об «увенчании здания», который должен был представить на

утверждение 1-го марта, — доклад, начинавшийся знаменательными словами: «В настоящее время, когда крамола в России уже окончательно подавлена»... как вдруг, в два часа пополудни, на Екатерининском канале раздалась два роковых взрыва.

XVII. ВОЖДЕНИЯ Г-НА АГРОНОМСКОГО

После учительного съезда в Горелове, Тамара стала замечать, что г. Агрономский сделался к ней заметно любезнее, чем прежде: при встречах с нею старается держать себя, что называется, гоголем, с каким-то охорашивающимся подскоком, и все выразительнее поглядывает на нее с игриво-плотоядной улыбкой плешивого сатира, обнажая при этом свои противные серо-желтые зубы. Она делала вид, будто не замечает этого, и продолжала держаться с ним по-прежнему — ровно, спокойно, в пределах чисто деловых отношений. Он, между тем, чаще стал заглядывать к ней в школу, и нередко в неурочные часы, по окончании ее занятий, оправдывая эти визиты какою-нибудь случайностью, вроде того, что пошел-де прогуляться, шел мимо, да и зашел, — дай, мол, проведу, что поделывает наша милая учительница... Позвольте присесть, отдохнуть минутку? — «Сделайте одолжение». — Что же

тут оставалось иначе, не выгнать же человека, да еще, в некотором роде, «начальство»! — и длится эта минутка с час, а то и больше. В другой раз зайдет спросить, не; хочет ли она новых газет почитать и журналов, или заедет с предложением, не желает ли она прокатиться с ним на его рысачке, для освежения, — погода-де чудесная. Но от подобных прогулок вдвоем Тамара всегда отказывалась под каким-нибудь благовидным предлогом. Тому такие отказы ее были досадны, но, пока-что, приходилось скрывать эту досаду на свои неудачи и ждать перемены к лучшему. Ведь она что такое, по мнению Агрономского. — «Так, девчонка себе, и только! Ни кола, ни двора, ни роду, ни племени. В таком положении, на ее месте, сделайте одолжение, всякой бы льстило такое его внимание, а она... Дура еще, не понимает своего счастья!» Но он не терял надежды, что «авось пообъездится со временем, поймет! И тогда можно будет предоставить ей разные преимущества, жалование увеличить, наградные, пособие дать, обстановочку маленькую сделать, а наконец, и подарочки от него кое-какие будут... Шляп-

ка там, пальтишко, платице лишнее, по-ди-ка, то же нужны ведь, а на пятнадцать рублей в месяц не больно-то разошьешься. — Все это должна же она когда-нибудь понять и почувствовать!»

Однажды он пригласил ее к себе обедать, предупредив, что ожидает кое-кого из Бабьегонска, и прислал за нею лошадь. Тамара поехала, но никаких бабьегонских друзей налицо не оказалось.

— Надули, негодные! — извинялся и оправдывался, лукаво осклабляясь, Агрономский. — Не приехали!

И пришлось им обедать вдвоем. Алоизий Маркович расщедрился при этом настолько, что даже бутылку шампанского приказал откупорить, в приятной надежде подпоить недотрогу, — авось-либо станет уступчивей. Та поняла его цель и решительно отказалась от вина, как ни уговаривал и ни упрашивал ее Агрономский хоть пригубить. Нечего делать, пришлось пить одному целую бутылку («не выливать же, ведь оно денег стоит, проклятое!») и к концу обеда это сделало его смелее. Восторженно закатывая свои водянистые

глазки с идеальным выражением, он стал распространяться о прелестях взаимной, разделенной любви, не применяя, впрочем, этого к личностям, но так, вообще, в отвлеченном смысле и более с философской, социологической и биологической точек зрения. Он говорил, между прочим, что знает нескольких хороших девушек, из которых одни даром только губят в одиночестве свои лучшие годы, свою молодость, которую и помянуть-то будет им нечем, когда она минет — и какая кому с того польза?! — все равно, что собака на сене, — тогда как другие хорошие, и даже прелестные, девушки, наскучив себе таким одиночеством, махнули рукой на всякие условности, избрали каждая себе подходящего друга — и счастливы! И благо им, потому-де это «настоящие» девушки, передовые, честно мыслящие, с независимым характером и независимыми убеждениями, и все порядочные люди еще более уважают их за это, — именно за то, что они так распорядились собою, признавая и уважая не условную нравственность, а только реально-естественные, физиологические законы, так как других, по-

жалуй, и не хуществует, если хотите. Затем он заговорил о преимуществах гражданского брака, потому-де, что брак этот свободен от всяких предрассудков, свободен по существу и основан только на взаимном уважении, без всяких уступок отжившим и ложным принципам и т. п., и наконец, в жару своего увлечения, схватил руку Тамары и жадно стал целовать ее и сверху и в ладонь, все с тою же улыбкой сатира. Девушка поспешила освободить ее и сдержанно-сухо заметила, что не любит, чтобы ей целовали руки.

— Но ведь это в знак уважения! — оправдывался Агрономский.

— Можно уважать и без поцелуев.

— О, какая вы, однако, строгая! — отшучивался он, почувствовав, как нельзя лучше, данный ему нравственный щелчок по носу.

После этого он делал еще две-три попытки звать ее к обеду «запросто», но Тамара каждый раз отказывалась от этой чести, под тем или другим удобным предлогом. Агрономский наконец понял, что это неспроста, а когда получил еще один отказ на новое свое приглашение, то решил себе объясниться с

нею, — что, мол, это значит, что она так упорно отказывается от его хлеба-соли?..

Тамара откровенно высказала ему, что не считает такие обеды вдвоем, наедине, удобными для себя, здесь, в деревне, она живет вся на виду у всех отцов и матерей своих учеников, для которых голос ее только до тех пор и авторитетен и которые только до тех пор ее слушают и уважают, пока никакая сплетня, никакая тень сомнения или подозрения не коснулась ее доброго имени, а потому она просит его раз навсегда — ни на какие прогулки и оеды наедине не приглашать ее больше.

Агрономский ушел от нее совершенно опешенный. Но это объяснение не охладило, однако, его домогательств: оно раздражило только его самолюбие, вторично уже задетое девушкой. — «Так нет же, постой, я докажу тебе!» — Тамара видимо понравилась ему не на шутку, а он, привыкнув в подобных случаях к охотной уступчивости со стороны некоторых своих «подчиненных», был очень озадачен и даже раздражен своим неуспехом у «этой девчонки». — Такая вдруг неподатливость! — Как

не ценить внимания его, Агрономского, почетного попечителя, члена Совета и главного воротилы по учебным делам уезда!?. Нет, это что-то смешное даже! Другая бы счастливой почла себя, на ее месте, а эта... смеет фыркать еще! Скажите пожалуйста, важное кушанье какое!

Но прошло немного времени, и он решил-ся попытать Тамару с новой стороны: не под-дастся ли она на предложение насчет закон-ного с ним брака. Чем не жених? Годы его еще самые настоящие, лицо дышет умом и полно выразительности, глаза идеально пре-лестны, — это ему не раз говорили учитель-ницы, и даже акушерки — интеллигентные акушерки! — которых он очаровывал своею неотразимостью, да он и сам хорошо это зна-ет и видит каждый день в зеркале, — затем, богат, деловит, интеллигентен, влиятелен, уважаем всеми порядочными, честно мысля-щими людьми, это ли еще не жених, в самом деле?! Какого ж рожна еще ей надобно!?. Же-нится ли он взаправду, или вернее, что как-нибудь обойдется, — это другое дело, вопрос будущего, и загадывать о нем пока нечего; но

для нее-то, для бедной, ничтожной учительницы, такое предложение, такая видная, можно сказать, блестящая партия, — да оно ей, поди-ка, и во сне не снилось!.. Будет жить барыней, на всем на готовом, — надоело, поди-ка, мыкаться впроголодь!

Идея эта стала занимать почтенного Алоизия Марковича и все чаще и чаще приходит ему в голову — сначала слегка, потом серьезнее. — А почему бы и нет?.. Если бы, то есть, и в самом деле жениться, взаправду? — Что ж, будет у него, по крайней мере, красивая жена, неглупенькая, образованная, музыкантша (кстати, по случаю можно будет рояль для нее купить, чтобы недорого), по-французски, по-английски говорить (и это, пожалуй не лишнее... если и за границу как-нибудь поехать, переводчику платить не надо), и будет она, к тому же, признательна ему за то, что осчастливил, из грязи и нищеты вытащил, из ничтожества барыней сделал, положение дал в обществе, в холе содержит, одевает, обувает, — какого еще ей мужа надо!? Уж это, извините, не она ему, а он ей жертву приносит.

Долго думал, раздумывал и передумывал сам с собою Агрономский насчет своих матримониальных предположений, прикидывал и так и эдак, высчитывал и взвешивал все выгоды и удобства, какие может принести ему женитьба; о невыгодах же ему как-то не думалось. Не то чтоб они вовсе не приходили ему в голову, но, как человек с искривленным позвоночником, он вообще был слишком самонадеян и уверен в самом себе, в своей наружности, в своем уме и характере, и потому не сомневался, что сумеет такую молодую, неопытную девчонку сразу взять в руки, как следует, переработать ее по-своему, вылепить из нее, как из мягкого воска, такую фигурку, какая самому более по вкусу, и держать ее по-строже, баловаться не давать, молодых халачонов в дом не принимать, да и в гости одну куда не пускать, а не угодно ли, сударыня, вместе, вдвоем с супругом, как велит долг и приличие... И в Петербург, и в Москву вместе поедем повеселиться, — в театр свожу вас и в оперу, к Тестову или к Палкину там поужинать, — все это можно, отчего же? — но только вдвоем, не иначе-с! Уж раз что жена, раз

что человек решается ради вас пожертвовать своими принципами, своими лучшими, святыми убеждениями, и делает такую крупную уступку общественным предрассудкам, так не угодно ли это ценить и быть ему примерною женою всегда и во всем, как следует, повиноваться беспрекословно и любить, а в стороны на посторонних мужчин взглядов не запускать и глазками не стрелять! Не-ет-с, уж об этом надобно перестать и думать, этого мы не позволим! И вот, надумавшись, Алоизий Маркович, наконец, решился. Заехав как-то к Тамаре под вечер, она. нашел минуту эту подходящею и обстоятельно сделал ей тут же формальное предложение, выставив на вид. и свою любовь, и все выгоды для такой бедной девушки, как она, от подобного брака.

Тамара никак не ожидала такого предложения. Оно ее ошеломило и даже испугало. Никогда еще Агрономский не казался ей более противен, как в эту минуту, после его предложения. которое вдруг открыло ее воображению всю перспективу будущего сожительства с таким мужем. Нет, это сверх всякой уже возможности! — и потому она реши-

ла себе положить конец его домогательствам теперь же и разом. Собрав все свои силы, чтобы быть сдержанной и спокойной, Тамара поблагодарила его за честь и попросила извинить ее, если она, в ответ на это, позволит себе откровенно напомнить ему, что у него есть уже известные семейные обязанности по отношению к женщине, у которой, как всем известно, от него двое детей, и что поэтому, если кто имеет наибольшее право на его руку и сердце, то это — конечно, та женщина, мать детей его.

— Да, но ведь это простая баба, мужичка, — пробормотал сконфуженный Агрономский. — И наконец, что ж, такое!.. У кого этого не бывает!? Ей можно дать... обеспечить... Она мужичка, говорю вам... и будет очень благодарна даже.

После этих слов, Тамара окончательно уже почувствовала к нему какое-то гадливо-презрительное отвращение, и ей стоило большого усилия над собою, чтобы не выказать ему этого прямо.

— «Мужичка?» — повторила она, удивленно оглядев его смеющимся взглядом. — И это

говорите вы, социал-демократ и народник?

— А что ж такое?

— Как что? Где же ваша последовательность, убеждения?..

— Хм... убеждения? — усмехнулся он в свою очередь. — Значит, я люблю вас, если решился пожертвовать даже своими убеждениями.

— Напрасная жертва, — сухо заметила девушка. — Позвольте мне не принять ее и остаться при своем взгляде.

Агрономский был окончательно срезан. Он ушел от нее подавленный и оскорбленный, поняв, что отныне между ними все уже кончено. Самолюбие его вопило. — «Дура, дрянь эдакая! Ей благодеяние сделать хотели, а она «позвольте отказаться от чести»... Ну, хорошо, матушка, посмотрим!» — Хотелось бы как ни на есть отомстить «этой дерзкой, самонадеянной девчонке», дать ей почувствовать... Но как: Прогнать ее с места? — Чего бы, казалось, проще и короче! Но нет, тут есть своя заковычка: что скажет на это г-жа Миропольцева?

«Да, г-жа Миропольцева, — это вопрос!..»

Дело в том, что Тамара последовала в свое время доброму совету и наставлению отца Никандра написать этой барыне благодарственное письмо, в котором она описывала, между прочим, свою школу и жизнь в Горелове. Письмо это, по совету отца Никандра же, было отправлено через земскую управу — чтобы знали-де и чувствовали. Тамара никак не рассчитывала на ответ: где уж такой важной барыне, при ее вечных хлопотах и филантропии, заниматься еще ответами на письма какой-то там сельской учительницы, которой она мимоходом успела оказать услугу! Но, сверх ожидания, ответ был получен, и доставлен из Бабьегонска в Горелово тем же самым путем, чрез управу, и ответ притом очень благосклонный, милый и любезный, принеся Тамаре большое удовольствие, а отцу Никандру — истинное торжество. — «А что, говорил я вам! Так и вышло, и даже превзошло! Теперь можете быть за себя спокойны: не тронут!» — Агрипина Петровна вообще очень любила осчастливливать смертных своею корреспонденцией, с изложением разных умных, хотя бы и совсем не идущих к де-

ду, мыслей, в самом изящном стиле «а la mon ami Tourgeneff». Это, прежде всего, доставляло большое удовольствие ей самой: она не сомневалась, что со временем, после ее смерти, эти письма и эти ее изящные и умные мысли, как женщины, стоявшей в центре современного движения, будут иметь большое значение и непременно появятся когда-нибудь в «Русской Старине», — для этого она нарочно и с М.И. Семевским познакомилась, чтобы заранее уже заручиться бессмертием, — и пишучи свои письма, всегда имела в виду не столько тех лиц, к кому они адресуются, сколько потомство. Так, и в этом ответе своем, достаточно очаровав, по ее мнению, Тамару своею благосклонностью и умными мыслями на целых трех страницах самой изящной и красивой бумаги, она просила ее писать ей хоть изредка об интересных сторонах местной жизни и школы и, пожалуй, об общих знакомых, «наших милых и добрых земляках», так как все это не безынтересно ей, в качестве бабьегонской землевладелицы. Достаточно было одной пересылки писем этих через управу, чтоб о них сейчас же стало известно де-Казатису и

членам, а чрез сих последних и Агрономскому. — «Вы-де смотрите, батенька, тово... они, оказывается, в переписке, — черт ее знает, что еще написать там может!» Алоизий Маркович в то время мало обратил внимания на это дружеское предостережение, но теперь вспомнил о нем довольно кстати, и это обстоятельство воздержало его от крутой меры по отношению к гореловской учительнице. — «И в самом деле, черт ее знает! — пожалуй, напишет еще, нажалуется, а та обозлится, — как, мол с моей «протежеей» смели так поступить! — да станет еще из-за этого в чем-нибудь пакостить... и ни с какой просьбой после этого нельзя уже будет обратиться, — а тут мало ли что может понадобится... По нынешним временам, заручку в Питере иметь — ох, как не мешает!..» И Алоизий Маркович решил, что черт с ними, лучше быть поосторожнее.

Он прекратил свои посещения школы в неурочные часы, да и вообще стал заглядывать туда редко, а при встречах с Тамарой показывал ей сухую холодность, держась в строго официальных рамках. Бабьегонским прия-

телям его не безызвестно было, что он «приударяет» за гореловдсою учительницей. да и сам он вначале не считал нужным делать из этого особенный секрет. — «Свои люди, чего там?» — и не скрывал от них в застольных беседах, особенно после нескольких рюмок, что «Тамарка эта прелесть что-за девчонка!» и что он «пожалуй, тово... не прочь бы». Но теперь, несмотря на убеждение в своей «неотразимости», Агрономский стал как-то заминать приятельские разговоры на тему о «Тамарке», и однажды в клубе, на лукаво-интимный вопрос «милого Пьеро», г-на Семиокова, как идут его сердечные делишки с жидовочкой. отозвался даже с легким пренебрежением:

— Ну ее! Ни рыба, ни мясо, — кислятина какая-то... Не стоит!

— Э, дружище, значит вам нос натянули! — попросту брякнул ему на это присутствовавший тут же Ратафьев. — Понимаем!.. То-то вы так и отзываетесь!

Дружеская компания рассмеялась на эту, не в бровь, а в глаз попавшую, выходку: Агрономского же нервно передернуло, но он притворился, будто не понимает, в чем тут соль,

и благородно смолчал. — «Не на дуэль же вызывать, в самом деле!.. По морде разве дать, но... Ратафьев куда его сильнее: измозжит, пожалуй»... Зато в душе он еще пуще обозлился, но не столько на друзей, сколько по рефлексу, камуфлетом каким-то — на Тамару: «это все из-за нея-де, проклятой!.. Погоди ж ты!»

— Н-да-а-с, а жидовочка-то прелесть! — поддразнивали его приятели. Все это его взвинчивало и пилило ему по оскорбленному самолюбию. Простить Тамаре он не мог ни ее отказа, ни тем более, своего *fiasco* перед друзьями. Но все-таки, из-за этой Миропольцевой, ни с какой стороны пока ее не укусишь: пожалуй, себе дороже обойдется... Надо, значит, терпеть и показывать полное равнодушие.

Так прошло несколько месяцев, и Тамара была очень рада, что наконец-то Агрономский оставил ее совсем в покое, как вдруг, получает она через управу форменное извещение, что по распоряжению училищного совета, она переводится на вакантную должность учительницы в Пропойскую сельскую школу,

куда и предлагается ей отправиться в продолжение трехдневного срока, сдав по инвентарю все школьное имущество Гореловскому сельскому старосте, под его расписку.

Как громом поразило ее это предписание. Ничего подобного она не ожидала и даже предполагать не могла. Как, за что, почему?.. Ведь эта Пропойская школа считается у них в уезде, все равно, как ссылка, куда смещают, как бы в наказание, только неисправных учителей, пьяниц каких-нибудь или нерадивых... Ведь это глушь, медвежий угол, где слова перемолвить не с кем, книжки почитать, так и то-то достать не у кого... Да там и жалованья меньше, всего только десять или восемь рублей, и жить даже негде: школа холодная, и комнаты учительской при ней не полагается, — придется, значит, нанимать угол у крестьян, где-нибудь в летнике или в бане, питаться Бог знает чем и как, а заболеешь, не дай Бог, так и помощи подать некому... Господи, да за что же все это? что она сделала, в чем провинилась?.. Догадаться, что это все подстроено Агрономским, было не трудно: очевидно, это ей мщение за ее отказ, — хочет,

значит, доехать не мытьем, так катаньем.

И вся расстроенная, взволнованная, Тамара побежала к «батюшкам» поделиться с ними своим горем и посоветоваться. Тех, не менее ее самой, поразило и возмутило это неожиданное известие.

— Это все Агрономский! Это его штуки, не иначе, — с нгрвых ее слов воскликнул с негодованием отец Никандр. — Сделает, негодяй, пакость, и сам как будто в стороне, сейчас за совет прячется... Вот она, иезуитская школа!

— Да, и у этого жидополяка в руках народное образование всего уезда, в руссейшей из русских губерний! — с горечью вздохнул старик Макарий. — Господи/да что ж это такое на свете делается!? Он же и спаивает народ, он же его и воспитывает!

Но что ж теперь делать? Что делать мне, научите Господа-ради! — обращалась то к тому, то к другому растерявшаяся девушка. — Неужели же так-таки через три дня и ехать?

— Нет, постойте! — перебил ее отец Никандр. — Ехать — это пустяки! Ехать никуда не надо! Это он врет, это мы еще посмотрим!

— Но, ведь предписание? — заикнулась

было Тамара.

— А хоть бы и десять, что ж такое!? Как даются предписания, так и отменяются. Нет, вы вот что, — остановился он перед нею, подняв указательный перст кверху, — вы, прежде чем что, благодетельницу за бока, госпожу Миропольцеву, понимаете?

— Да, чем же она-то тут поможет? — в недоумении спросила Тамара.

— Всем, как-есть, всем: одно ее слово — и кончено, и никаких более разговоров!.. Телеграфируете ей сейчас же... Или нет: телеграмма денег стоит, больно дорого, — пишите лучше письмо, сейчас же, немедленно, и выскажите все откровенно, — церемониться с этим скотом больше нечего, — все, как есть, понимаете: как он приставал к вам, — слюнявец эдакий! — чего добивался, все!.. Садитесь и пишите, а я уже сам отправлю, только на сей раз не через управу, в то догадаются.

Тамара возразила, что, во всяком случае, письмо до Петербурга раньше трех-четырех суток не дойдет, а через три дня ей все-таки ехать надобно.

— И ни под каким видом! И думать не

смейте!.. В крайнем случае, пошлите им рапорт: заолев, мол, сего числа, ранее недели выехать не могу, — вот и кончено.

— Пришлют врача свидетельствовать.

— Ну и пускай! У них ведь все это на канцелярских формальностях, — пока там в доклад, пока предписание врачу, пока что, да пока врач соберется еще приехать, — ан неделя-то вся и прошла! А в неделю-то уж наверное чего-нибудь дождемся.

Тамара исполнила все, как советовал ей отец Никандр, тем более, что и отец Макарий вполне разделял на этот раз его мнение. Письмо к г-же Миропольцевой было написано, рапорт тоже, и не только написан, но и препровожден в волостное правление для отправки в управу, а отец Никандр, тем часом, запряг с работником пару своих «поповских» саврасок и сам отвез письмо в ближайшую почтовую контору, где и сдал его «заказным», чтоб уже повернее было.

На шестой день после этого, сотский принес от волостного Тамаре бумагу из уездной земской управы, где, в отмену прежнего распоряжения училищного совета, ей предлага-

лось оставаться в Горелове и, если школьное здание с его имуществом сдано уже ею по инвентарю местному старосте, то «принять от него школу вновь в свое заведывание, по инвентарю же, и о последующем донести».

— А что, не моя правда вышла? — торжествовал, потирая руки, и радовался отец Никандр. — В воскресенье, уж так и быть, благодарственный отпоем вам! Ай-да благодетельница! Ай-да молодец!.. Хоть и дурында, а молодец, — исполать ей! Отстояла-таки, не дала в обиду!

Впоследствии Тамара узнала от г. Семиокова, что де-Казатис совершенно неожиданно получил от Агрипины Петровны телеграмму, которая произвела тогда во всей управе большую сенсацию, хотя и состояла всего-то из пяти слов: «Прошу оставить учительницу Бендавид в Горелове», — и только.

— У вас, однако, большая поддержка там, — значительно заметил ей при этом г. Семиоков не то завистливым, не то заискивающим тоном.

— Что, батенька, гриб скушали?! — приветствовали потом управские друзья Алоизия

Марковича, при первом же приезде его в Ба-
бьегонск. — Ведь советовал вам тогда де-Ка-
затис не делать этого, так нет, не послуша-
лись!.. Ну, вот и с носом!

— Да я-то что же? — оправдывался с видом
совершенной невинности Агрономский, — я-
то при чем же тут!..

— Ну, да! толкуйте! Кому ж оно, кроме вас,
зудело!

— Вот, господа, и всегда-то вы так! — вко-
рял он при. этом их же самих. — Другие сдела-
ют, а на меня валят! А я тут виноват столько
же, как китайский император... Разве я сме-
щал ее? Совет, а не я... Советом решено было,
по большинству-с! А мне она ровно что на-
плевать, я и думать позабыл о ней!.. Стану я
унижаться до мщения какой-то там девчонке,
скажите пожалуйста!.. Стыдились бы вы и ду-
мать, а не то что высказывать мне в глаза та-
кие несообразности!

— Ну-ну, дружище, уж вы, никак, обижать-
ся начинаете, пойдем-ка лучше, дербанем по
маленькой, да в винтик!

На том все это дело и кончилось.

Агрономский совсем перестал посещать

школу, кроме как в самых экстренных и необходимых случаях, вроде встречи проезжавшего на ревизию губернатора, который пожелал посетить мимоездом Гореловскую школу, или вроде экзамена на льготу по воинской повинности. С Тамарой он уже не разговаривал и даже перестал ей кланяться, а если встретится, бывало, на улице, то отвернется, или еще заранее перейдет на другую сторону.

XVIII. «ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ»

Во время поездки по России нового представителя ведомства просвещения, в газетах появилось как-то известие, что на жалобу, принесенную ему одною из уездных земских управ в лице своих депутатов, на местного инспектора народных училищ, с просьбою удалить его, как ярого «толстовца» и гасильника истинного просвещения, представитель ведомства будто бы предложил этой управе самой указать ему кандидата из «излюбленных людей» на должность инспектора. Управа указала, и кандидат ее будто бы немедленно был назначен и утвержден в должности.

Прочтя это известие в газете, Агрономский сразу встрепенулся и взыграл духом, осененный счастливою мыслью. Если М-ской управе дозволили самой выбрать инспектора и утвердили его, то почему бы не сделать того же и для Бабьегонской? Ведь бабьегонский инспектор тоже «чинодрал толстовского режима». И хотя он человек, пожалуй, смир-

ный, инертный, в дело мало теперь мешается, но все-таки мешается же иногда со своими дурацкими ссылками на какие-то там циркуляры «его сиятельства графа»; все же спорить и даже грызться с ним приходится порою. Да и что же из того, что человек только «не мешается»? В настоящее время этого еще мало! Надо пользоваться таким редко счастливым временем, надо ловить минуту и работать, — работать для будущего всеми силами совместно. Для действительной пользы дела надо, чтоб инспектор не сторонился только, а помогал, чтоб он дружно, рука об руку, шел вместе с ним, Агрономским, и его друзьями, к одной общей цели; надо, чтоб он работал в их духе и направлении, — вот что надо!.. А еще лучше, если б он сам, Агрономский, мог занять такую должность, — земство его бы предложило, а правительство жалованье ему платило бы. Уж чего бы лучше!.. И если правда, что министерство поступило так, как пишут, то тут и раздумывать нечего, а следует скорее ковать железо, пока горячо, — скорее снаряжать депутацию, составлять петицию и — айда с прошением! Так и так, мол, на основании бывше-

го примера, имеем честь почтительнейше ходатайствовать и т. п. Во всяком случае, это такое неожиданное и существенное расширение земских прав, что им следует воспользоваться, хотя бы только из-за принципа. И Агрономский сейчас же полетел в Бабьегонск, поднял там на ноги всех членов управы, составил на дому у де-Казатиса секретное совещание, сочинил проект самой'забористой, в «современном» вкусе «петиции», с критикой «прошлого», со ссылками на «призыв к обществу» и на «споспешествование мирному преуспению, в духе благодетельных реформ», и в два дня обработал «по секрету» всю эту свою затею. Совещатели, недолго думая, сами себя уполномочили (они слишком хорошо знали настоящий, ими же подобранный, состав своего земства и свою силу, чтобы постесняться «таким пустяком»), сами между собою избрали депутацию, в состав которой вошли бесцветный Коржиков, как уездный предводитель дворянства, солидный и представительный де-Казатис, как председатель уездной земской управы, и сам Агрономский, как почетный член училищного совета от зем-

ства, — а затем, сами же сейчас распорядились отчислить «г-м депутатам» из земского сундука подъемные, прогонные, суточные, да сверх того, еще на путевые и «непредвидимые» расходы, в количестве более чем достаточном, несмотря на всю скудость земской кассы. И вот, на другое же утро, втихомолку, не обмолвясь о своей затее ни единым словом не только посторонним лицам, но и своим управским служащим, «излюбленные люди» эти отправились на железную дорогу. Насчет временного опустошения ими земского сундука они не беспокоились, так как были уверены, что в случае удачи, да даже и при неудаче, «многочтимейший сосунок» Пихимовский не откажется пополнить их «позаимствование» ради такой благой цели: ведь тут дело идет о таком важном «расширении прав земства», да еще и по такому вопросу, который прямо касается будущности «молодого поколения», в лице «детей народа»! На такое дело Пихимовский никогда не откажет!

В Петербурге их приняли, где следует, очень любезно, — еще бы! «излюбленные люди», уполномоченные депутаты! — выслуша-

ли их очень благосклонно, причем даже высказались в смысле полной готовности со своей стороны всегда содействовать и удовлетворять, по силе возможности, всем справедливым и «симпатичным» желаниям земства и, в заключение, обворожив их своею «доступностью», направили всю эту «почтенную депутацию» к кому следует, в департамент, — там же вашу петицию обстоятельно рассмотрят и дадут заключение.

В департаменте приняли их тоже очень любезно, но уже не с такою обворожительностью и, перейдя прямо на деловую почву, спросили, кого же именно они желали бы?

Но вот тут-то и встретилось затруднение. Кого именно — они и сами не знали. Конечно, если б можно было учредить должность инспектора от земства, но с содержанием от министерства, как они и предполагали, между прочим, в своей «петиции», то «излюбленные» не затруднились бы предложить министерству «своего» кандидата. Но в департаменте на этот счет их очень разочаровали. Из департаментских объяснений оказалось, что, к сожалению, такой должности создать для

них в настоящую минуту никак нельзя, и не только «с содержанием», но даже и просто как «почетную», потому что это выходит, извините, что-то совсем уже новое, ни на каких бывших примерах не обоснованное: инспектор вдруг от земства! Тогда причем же контроль от правительства? А вы еще хотите, чтобы должность была в одно и то же время и «по выбору» и «по назначению»: вы будете выбирать, а мы оплачивать, — как же это так? на каком основании?.. Идея, может быть, и очень остроумная; может быть, она и понравится, но чтоб осуществить ее, нужно восходить до Государственного Совета, проводить ваш проект в законодательном порядке, а это история долгая и, главное, теперь не до того: тут идет вопрос об «увенчании здания», а мы вдруг станем лезть с такими, извините, мелочами! Словом, это неудобно, несвоевременно, — просто нельзя, а потому нечего об этом и разговаривать.

Земцы опешили, но сдаться сразу и уехать с носом им не хотелось. Агрономский, в глубине души сильно задетый за самолюбие, пожелал объясниться и сослался на пример Н-

ской земской управы, напечатанный в газетах, — как же, мол, так вы изволите говорить, что наш проект ни на каких бывших примерах не обоснован? Пример самый свежий, вчерашний!

— Ах, это совсем другое дело, — возразили ему. — Если б и вы то же пожелали, как Нская управа, выбрать вместо нынешнего вашего инспектора, кого-нибудь из наших же, из министерских, — сделайте ваше одолжение! Новое министерство наше никогда не прочь оказать посильную любезность земствам, так как тут весь вопрос сводится для нас к замещению одного лица другим, — пришлось бы только сделать, своего рода, маленькое *chasse-croise*, переместить двух чиновников — одного на место другого, — это сколько угодно! И если вы желаете того же, мы к вашим услугам.

— И то хлеб! — согласился де-Казатис.

— Так вот, и подумайте, если согласны... можете вы указать на кого-либо?

Земцы призадумались. Чувствуют они, что нечто вроде дураков из себя сломали, благодаря Агрономскому: сунулись просить, сами

не зная толком о чем. Вот-те и благосклонный прием у министра! Но отступить уже поздно: надо «думать», коли приглашают. Думали они. думали, кого бы, в самом деле, назвать, на кого указать бы/- и никого не придумали. Спрашивают у Агрономского, не знает ли он кого, так как ему это дело ближе знакомо? — Но и он никого подходящего назвать не может. Однако, надо же наконец что-нибудь выдумать! А то, из-за чего же было и в Питер ездить?!. Думайте, Алоизий Маркович, как знаете; это ваше дело, вы затеяли, вы и думайте.

— Да я, господа, что же?.. Дело общее, — отозвался Агрономский. — По-моему, пускай само министерство назначит нам кого угодно, лишь бы только не человека прежнего режима. Прежнего режима мы не желаем, с нас уже довольно, Бог с ним! Дайте нам человека нового, порядочного, честно мыслящего. который не ложился бы нам бревном поперек дороги, а шел бы рука об руку с земством, и мы скажем вам великое, наше русское спасибо!

— О, в таком случае, дело ваше совершенно упрощается. Да вот, не хотите ли, — предложили им. — Есть у нас тут один отчислен-

ный от должности бывшим министром, причислен теперь к департаменту без содержания... Он, вероятно, охотно пошел бы, да и мы ничего не имели бы против, так как теперь желательно давать ход именно всем тем, кто был обойден прежде.

— А кто такой? — осведомились земцы.

— Да некто Охрименко, коллежский асессор, — в Украинской женской гимназии учителем состоял, — отчислен по одному там доносу местной жандармерии, но, очевидно, пустяки, потому что граф Михаил Тариелович приказал освободить его.

— Охрименко, — вдруг припомнил Агрономский. — Позвольте, да это не тот ли?.. С одним Охрименкой мы вместе в Одесской гимназии когда-то были, в одном классе, на одной скамейке сидели... Как его зовут? не Онуфрием ли?.. Нельзя ли справиться?

Потребовали «дело» об Охрименке, заглянули в формуляр, — так и есть. Оказывается, что и Онуфрий, и из Одесской гимназии.

— Батюшка, так это тот самый! — обрадованно воскликнул Агрономский. — Я хорошо его знаю, — как же! Помилуйте, друзьями ко-

гда-то были... Пожалуйста, нельзя ли узнать его адрес?

Дали справку и об адресе. Пообещав в департаменте завтра дать окончательный ответ насчет своего выбора, земцы откланялись, и Агрономский тут же, на швейцарской площадке, решил со своими товарищами, что поедет в Охрименке, сегодня же — пощупать его насчет убеждения и прочего, и если он остался таким как был, то лучшего нам и не надо!.. Этот, мол, человек энергичный и будет всегда петь в унисон с нами!

В тот же день вечером, вернувшись в свои «нумера» на Невском, Алоизий Маркович радостно и с полным торжеством объявил друзьям своим, что Охрименко — тот самый и встретился с ним с распростертыми объятиями, чуть лишь Агрономский назвал свою фамилию, — расцеловались, разговорились, вспомнили старину, потом поехали вместе к Палкину обедать, — «уж я, так и быть накормил его; счет вам потом представлю», выпили маленькую толику — ну, и ничего, человек оказался верен прежним своим убеждениям, не исподлился, такой же непримиримый, ка-

ким был и прежде, и даже пострадал за это в последнее время, при Толстом... Словом, человек совсем порядочный и самый подходящий, — лучшего не найти, да и искать не следует, благо он согласен.

Друзья Агрономского тоже согласились. Охрименко, так Охрименко, — все равно, пускай будет и Охрименко, если вам нравится, — а остальное обработать было уже не трудно, и «излюбленные люди» уехали восвояси, заручившись в департаменте обещанием, что дело будет пущено в первый же доклад и более двух-трех недель не затянется.

И действительно, менее, чем через месяц по возвращении своем в Бабьегонск, де-Казатис разослал уже циркуляр по всем училищам уезда, что приказом по министерству народного просвещения от такого-то числа, за № таким-то, инспектор училищ такой-то переводится на соответственную должность в N-ский уезд Московской губернии, а на место его назначен, тем же приказом, коллежский асессор Охрименко, о чем и поставляются в известность все г-да учителя и учительницы земских народных школ, дабы они могли

заранее подготовиться к предстоящему в непродолжительном времени инспекционному объезду г-ном Охрименкой всех училищ вверенного ему района.

По прочтении этого циркуляра, у Тамары похолодели и опустились руки. Охрименко... неужели тот самый, ее бывший учитель, который когда-то хотел было «развивать» ее и давал ей для этого «пять умных книжек» каких-то, посвящал ее в «общее дело», подговаривая, кстати, сбыть тайком, обманным образом, ее материнские брильянты в Одессу, а деньги за них употребить на то же самое «общее дело» и самой «идти в народ»... Вспомнилось ей и то, как она осадила его за это на семейном вечере в клубе, как он весь позеленел от злости, и из ее поклонника, прямо с места превратился во врага... Все это припомнилось теперь Тамаре, — и, вот быть может, с этим самым Охрименкой придется ей снова столкнуться в жизни... Что-то выйдет из этого?.. И неужели это, в самом деле, тот?!

Охрименко... одно уже это имя заставило ее вздрогнуть, — и на сердце у нее смутно заныло как будто предчувствие чего недобро-

FO...

ХІХ. НОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Наконец он появился, этот г-н Охрименко, желанный, жданный и заранее уже заочно прославляемый Агрономским и всею земско-управскою кликой. — Вот-де инспектор, так инспектор! Дождались таки! Сами себе назначили, — сами подыскали, сами и выбрали!

* * *

Тамара присутствовала в классе, вместе с отцом Макарием, который объяснял детям закон Божий, когда ко крыльцу школы подъехал экипаж Агрономского, и затем, минуто спустя, в классную комнату сановито вступил неизвестный посетитель, в сопровождении Алоизия Марковича и волостного старшины Сазона Флегонтова: все вместе сюда и приехали, объезжая школы волости. Впустив «начальство» в классную, вошел туда же за ними следом и школьный сторож Ефимыч. Осторожно затворив за собою дверь, он остановился у дверного косяка и застыл в солдатской позе навтыжку.

При входе почетных лиц, учительница

сейчас же скомандовала детям «встать!», как учил ее некогда этот самый Сазон Флегонтов, — и ребятишки бойко поднялись со своих скамеек.

— Наш новый инспектор народных училищ, — представил Агрономский почетного гостя безразлично всем присутствующим, назвав при этом его чин, имя, отчество и фамилию.

Инспектор не без важности отдал общий молчаливый поклон и сейчас же медлительно повел приподнятым носом по стенам классной комнаты, оглядывая с кислото-наморщенным выражением всю её обстановку.

Для Тамары с первого же взгляда не осталось сомнения, что это именно тот самый Охрименко, который некогда преподавал физику и математику в Украинской женской гимназии. Но как он с тех пор переменялся!.. В лице у него появилось теперь значительное, чиновно-солидное выражение, какого прежде и тени не было. На носу, вместо легкомысленного пенсне, сидели основательные золотые очки, — настоящие «ученые» очки, — оказывавшие, впрочем, поползновение съез-

жать иногда на самый кончик этого прыщеватого носа. Когда-то волосатая, грива запущенных волос приведена в приличный вид, значительно подстрижена и причесана; верхняя губа подбородок и щеки гладки и досиня выбриты, тогда как прежде зарастали себе невозбранно, во всю силу своей природной растительности, так что Тамару даже удивило, как это он решился расстаться со своею литературщицкой наружностью, какую придавали ему именно борода с усами и лохматая грива. Белье теперь у него чистое и туго накрахмаленное, вицмундир словно бы сейчас с иголки, пуговицы с гражданскими орлами так и сияют, и — к довершению удивления Тамары — в петлице этого вицмундира алела свеженькая орденская ленточка, и весело, но вовсе уже не либерально, болтался на ней, выглядывая из-за отложного борта, Анненский крестик. Словом, на вид это был и тот же Охрименко, да не тот. Вместо прежнего кашлатого и развинченного разгильдяя, вечно бравировавшего своим радикализмом и сочувствием, если не сопричастием, к «общему делу», пред Тамарой стоял теперь фор-

менный, чопорно подобранный и подтянутый чиновник, из числа видимо подающих большие надежды на дальнейшее преуспевание свое в чиновно-педагогическом мире. На левой руке его, в которой держал он свою новенькую форменную фуражку с кокардой, была даже надета туго затянутая лайковая перчатка гриперлового цвета, и от самого его пахло эс-букетом. Все это ясно свидетельствовало, что в настоящее время он вполне усвоил себе известное педагогическое правило, по которому истинный педагог должен быть всегда одет «не с роскошеством, но с изяществом». Отказался ли Охрименко в душе от прежнего сочувствия «общему делу», — это другой вопрос, но очевидно, что после постигшей его неприятности, в виде ареста по «прикосновенности» к какому-то южному политическому делу, от которого, впрочем, удалось ему счастливо отделаться лишь благодаря «новым веяниям» известной «диктатуры сердца», — он стал умнее, поняв всю тщету своего пустозвонного бравирования и уразумев надлежащим образом, где раки зимуют, разом совлек с себя «ветхого адама» нигилиз-

ма и преобразился по внешности в благонамеренного чиновника. А что до «сочувствий» его, так ведь сочувствовать и «содействовать» чему бы то ни было, конечно, гораздо выгоднее и безопаснее под солидной чиновничьей оболочкой, за которую казна еще и жалованье платит и награды дает, — это-то он понял. Итак, это был Охрименко рафинированный, Охрименко в новой фазе своего развития, которую Тамара угадала в нем своим женским чутьем с первого же раза. Во всяком случае, — такая метаморфоза явилась для нее новостью совсем неожиданною.

— Учительница Бендавид, — официальным тоном представил ее Агрономский инспектору.

Охрименко, поверх очков, сползших у него в эту минуту на кончик носа, глянул исподлобья совсем безразличным взглядом, как на особу, совершенно ему неизвестную, имя которой ровно ничего не говорит ему, и послал ей издали, вместо поклона, кивок головою, точно бы и в самом деле видит ее в первый раз в жизни и не имеет о ней никакого понятия. Это притворство вышло у него довольно

удачно, и Тамара, поняв его про себя именно как притворство, осталась в душе даже довольна таким оборотом дела, который, по крайней мере, избавлял их обоих от лишних фраз и напоминаний друг другу о неприятном прошлом.

Затем Агрономский таким же порядком представил Охрименке и отца Макария, как законоучителя, и вот, к величайшему удивлению Тамары, инспектор почтительно подошел к нему под благословение, после чего весьма любезно Пожал его руку.

— Извините, батюшка, я, кажется, прервал ваши занятия? — обратился он к старику. — Пожалуйста, продолжайте не стесняясь... Мне будет очень интересно послушать... Чем именно вы занимались?

— Толкованием на текст «Воззрите на птицы небесные».

— Ах, на «птицы небесные»?.. Очень поучительно. Нус? — повернулся он к первому попавшемуся на глаза мальчугану. — Что же мы знаем о птицах небесных?.. Во-первых, скажите мне, что такое птица? и почему она небесная? потому ли, что она небесного про-

исхождения, или по другому чему, как вы думаете?

— Птица: — заморгал на него мальчик недоумевающими глазенками. — Известно что... птица — она и есть... летает.

— Да, но ведь и пух тоже летает, и одуванчик летает, и муха летает: значит, и пух, и одуванчик тоже птицы по-вашему?

Мальчик замолк и только растерянно поглядывал то на отца Макария, то на учительницу, словно бы ища у них поддержки и ответа на свой безмолвный вопрос — чего это пристали к нему с «птицей» и чего собственно хотят от него? — воробей птица, — заговорил он, наконец, — галка птица, куры, гуси, — мало-ль их там!.. Птиц много бывает... разные.

— Да, но что такое собственно есть птица?.. Организм ли это, или механизм какой? живое ли она существо, или же вещество неорганическое?.. Какие ее отличительные внешние признаки? Почему, например, мы говорим, что это есть птица, а не собака, не стол, не грифель и т. д.

От всех этих, педагогически «наводящих»

вопросов мальчик напряженно пружился до поту, пыхтел, сопел, пошмаргивал носом и начинал с отчаяния подумывать про себя — уж не сказать ли лучше «позвольте, мол, выдти, живот болит».

— Чем, например, отличается птица от человека? — попроще подсказал ему меж тем отец Макарий.

— У птицы перья, крылья... она летает, а человек летать не может, — домекнулся наконец перетрусивший мальчонка, неуверенно и боязливо взглядываясь то на батюшку, то на инспектора.

— Ну вот! Наконец-то! — усмехнулся Охрименко. — Птица, значит, летает, а человек ходит, собака бегаёт, стол стоит, а грифель лежит. Но этого мало, — продолжал он. — Вы должны бы отчетливее формулировать вашу мысль, следовало бы отвечать так: птица есть существо органическое, способное к произвольному передвижению в воздухе, отделяясь от почвы, потому что природа снабдила ее для этого крыльями и перьями, дающими ей способность летать, и при том летать, подчиняясь не направлению и силе случайного

ветра, как пух, например, но по собственной своей свободной воле, для чего у нее имеется хвост, служащий ей при полете как бы рулем, или правилом. Понимаете?

Мальчик, вместо ответа, шмаргнул только носом, что на обычном языке ребячьей школьной мимики равносильно было выражению полного непонимания.

— Какое, однако, жалкое развитие! — с кислотовато-сожалительною гримасой, вполголоса обратился Охрименко, как бы в скобках, к Агрономскому. — Таких простых вещей, и вдруг ученик сразу объяснить не может!.. Ужасно жалкое!

Алоизий Маркович со вздохом только плечами пожал на это замечание, — дескать, вижу и сам, и скорблю, но что же прикажете делать, если у нас такая учительница!

— Ну-с, так расскажите-ка мне, — обратился к другому мальчику инспектор, — что вам объяснял сейчас батюшка насчет птиц небесных?

— Птицы небесные, — начал в ответ ему подбодрившийся ученик! — они не веют, не жнут, ни в житницах не собирают, а Бог их

кормит.

— Так. Значит, Бог их кормит? — Правильно. Ну, а чем Он их кормит?

— Чем случится... Которая на огороде клюнет, которая на гумне, алибо в овсах... Это как. когда, всяко бывает.

— Ну, а человек может так?

— Человек не может.

— Разве не может?.. Почему же птица может, а человек не может? почему вы так думаете?

— Потому — птица что!.. Она уворует себе и улетит, — ей ничего, а человека пымают и сичас в острог[2].

— Вот как!?. Убедительно!., очень убедительно... и оригинально. Это вы, батюшка, так объясняете им евангельские притчи? — сдерживая невольную улыбку, не без легкой иронии обратился Охрименко к Макарию.

Старик сконфузился и, в оправдание мальчика и себя, стал было докладывать, что тот не достаточно пока развит, так как недавно еще посещает школу, да и сам-де он, будучи прерван приездом г-на инспектора, не успел еще довести до конца объяснение ученикам

данного текста, и потому нет ничего мудреного, если мальчик дал такой ответ, до которого додумался сам, на основании житейского быта, но что, впрочем, в ответе этом он, отец Макарий, кроме детской наивности, не видит ничего особенного.

— Н-да, это вы не видите, — пожалуй, и я не вижу, — согласился Охрименко, не терпевший никаких возражений себе со стороны «подчиненных», — а начальство, может быть, взглянет иначе-с. — веско заметил он, выразительно кивнув приподнятыми бровями. — Наедет, например, г-н губернатор или жандармский штаб-офицер, да услышит подобный ответ, — как вы полагаете, разве не могут они умозаключить из этого... ну, скажем, хотя бы о чересчур уже «реалистическом направлении» нашего преподавания.. И без того уже земство Бог знает только в чем не обвиняют!.. Обвинят еще, пожалуй, в несогласии с духом христианского вероучения, или усмотрят, в некотором роде, нигилизм, потрясающий основы... Чего доброго!

Отец Макарий посмотрел на него с недоумением, не понимая, всерьез ли говорится

эта глупость, или же г-н инспектор тонко иронизировать изволит? Последнее показалось ему вернее, и потому он скромно позволил себе заметить, что ничего подобного не полагает, и даже предполагать не смеет, так как не думает, чтобы в лице таких особ могли находиться люди столь недалекие.

Охрименку слегка передернуло: опять, черт возьми, возражение, и даже предерзкое! В душе он принял эти слова за косвенный укол, и потому холодно смерив отца Макария не совсем-то приятным взглядом, пробормотал себе под нос. — «Как знать, чего не знаешь!» — и отвернулся от него в сторону.

— А «Боже Царя храни» они поют у вас? — обратился он к Тамаре.

— О, да! — подтвердила та. — Поют целым хором. Угодно прослушать?

— Пожалуйста.

Учительница вызвала учеников из-за парты, разбив их по голосам, выстроила всю группу в должном порядке. Отец Макарий, став сбоку перед хором и вынув из кармана камертон, щипнул его за рожки, затем послушал над ухом звук и подал голосом тон — «do, mi,

sol, mi, do». И вот, по дирижерскому взмаху его рук, хор дружно и стройно грянул народный гимн.

Инспектор прослушал его с сосредоточенно серьезным видом, подобающим официальной важности этого момента, сложив на козырьке фуражки свои опущенные руки и склонив, в знак особого внимания, несколько набок голову.

— Это вы занимаетесь хором? — обратился он по окончании гимна к отцу Макарию.

— Да, вот, вместе с учительницей, — ласково указал старик на Тамару. — Стараемся, по силе возможности, и — благодарение Богу — достигаем-таки кое-какого успеха.

— Н-да, оно недурно, — снисходительно отозвался тоном знатока инспектор. — Видно, что спевшись, и голосишки есть. Но... не достаточно благоговения.

Последнего замечания уж никак не ожидали ни батюшка, ни тем более Тамара, и потому с невольным недоумением воззрились удивленными глазами на Охрименку.

— Благоговения, говорю, не достаточно, — вразумительно повторил им последний. —

Надо больше, больше благоговения... больше этого проникновения, так сказать, высоким смыслом священных слов гимна... чувства больше, вот что!

«Час от часу не легче!»— думалось про себя удивленной Тамаре. — «Охрименко и вдруг благоговения требует!.. Да уж не сон ли это?»

— А отчего ж у вас на стене не вижу я царского портрета? — оглянувшись вокруг, спросил вдруг инспектор. — Дети должны петь гимн, обращаясь лицом к портрету. Разве школа не имеет его?

Тамара объяснила, что портрет есть, но, по приказанию попечителя, снят и убран.

— Объяснение это не совсем верно, — скромно отозвался Агрономский. — Я, действительно, приказал прятать портрет, но это лишь в обыкновенные дни, для большей сохранности от порчи, — собственно говоря, от детской резвости, чтобы часом не разбили стекло мячиком, или не испортили как-нибудь раму; но я в точности приказывал г-же Бендавид всегда вешать его в торжественных случаях и в ожидании посещений начальства. А о предстоящем инспекторском объез-

де были циркулярно предуведомлены все школы, по крайнем мере, месяц тому назад. Такова инстинная подкладка этого дела. Но по каким причинам г-же Бендавид не угодно было исполнить мое распоряжение, мне неизвестно.

— Почему вам не угодно было повесить портрет? — обратился Охрименко к учительнице в сухом тоне официального вопроса, — или вы не находите его здесь уместным?

«Вот этого только не доставало, чтобы меня же обвинить, как какую-то революционерку!» с горьким смехом в душе подумалось девушке. Но она не смутилась последним вопросом инспектора и начала спокойно объяснять ему, что, по принятии школы, в первый же день, случайно найдя портрет в шкафу, она сама обмыла его и отчистила, и собственноручно повесила на надлежащее место, но г-н попечитель сделал ей за это строгий выговор, и даже сторожа чуть было не прогнал с места, что как тот смел допустить самовольную отмену его распоряжения, и тогда же приказал ему убрать портрет подальше.

— Да, и я нахожу это распоряжение вполне

рациональным, ввиду тех разъяснении, какие представил г-н попечитель, — рассудительно решающим образом отпарировал ее доводы инспектор. — Но это не снимает с вас упрека в небрежном отношении к его приказаниям, — внушительно продолжал он. — Если вам было сказано, в каких именно случаях следует вывешивать, вы должны были исполнить, — нравится ли вам это, или не нравится, но должны. Тут нет никаких оправданий, и я вас покорнейше прошу, потрудитесь, пожалуйста, повесить портрет сегодня же! — распорядился он в заключение внушительным тоном безусловного приказания.

«А что, гриб съела, матушка!» — с насмешливым торжеством, красноречиво говорил ей устремленный на нее взгляд Агрономского.

— А это что у вас, библиотечка? — спросил инспектор, кивнув на книжный шкаф. — Каталог есть?.. Позвольте-ка мне каталог.

Тамара отперла шкаф и подала ему тетрадку со списком библиотечных книг и изданий. Охрименко просмотрел список, видел в нем перечень всех этих, пожертвованных Агрономским, томов «Дела», «Современника»,

«Отечественных Записок», Щедринских «Благонамеренных речей», «Ташкентцев» и проч., но ничего не сказал на это, — словно бы всем таким изданиям тут самое настоящее место. Пробормотал только сквозь зубы «очень хорошо-с», возвращая учительнице тетрадку; но к чему собственно это его одобрение относилось, — к составу ли школьной библиотечки, к порядку ли, в каком она содержится, или к ведению самого каталога, — понимай, как знаешь.

— А это что такое у вас тут написано? Диктант? — прищурился он на классную доску и стал читать выведенные на ней мелом строки. — Заемная расписка какая-то?

— Да, расписка, — подтвердила та спокойно.

— Зачем же это? — в недоумении удивился Охрименко.

Учительница объяснила, что это она занимается иногда с учениками старшего возраста, с целью знакомить их с формами общеупотребительных деловых бумаг, чтобы они знали, как, например, писать расписки, условия, доверенности и т. п.

— «Расписки», «условия», — с оттенком иронии и недоверия повторил вслед за нею инспектор. — Ради чего же это, однако?

— Ради того, вероятно, что оно может пригодиться им в практической жизни, в их повседневном быту, — пояснила девушка.

— Ну, знаете, этой жидовской практике насчет расписок и условий лучше бы уж в кагальном хедере обучать, а не в школе: этому они впоследствии и без нас научатся сами.

Тамара вспыхнула, почувствовав в этой грубой выходке обидный намек на свое происхождение. Однако же она сдержалась, потому что, вдумавшись в мысль упрека Охрименки, сознала в душе, что, быть может, он и прав: к чему, в самом деле, преждевременно посвящать двенадцатилетних мальчиков в казуистические формы юридических и денежных отношений. Но в оправдание свое она заметила только, что учит этому не по собственной выдумке, по предложению училищного совета, и притом по книге барона Корфа, где помещены образцы подобных форм.

— Мало ли что где помещается! — под-

фыркнул Охрименко.

— Книга рекомендована министерством, — заметила на это Тамара.

— Так что же-с?.. У Корфа свой взгляд, а у меня свой, и я нахожу это излишним.

Девушка замолчала, так как возражать далее, очевидно, было бы бесполезно, да незачем и отстаивать подобную учебную «практику», раз что она сама, после жестких слов Охрименки, внутренне сознала несообразность и фальшь этого дела.

Инспектор, между тем, взял одну из хрестоматий и, раскрыв ее на случайно подвернувшейся странице, положил перед одним из мальчиков старшего отделения:

— Читайте!

Тот довольно бойко, без особенных записок, хотя и не совсем осмысленно, прочел стихотворение Пушкина «Пророк».

— Объясните мне, что заключается в этом стихотворении? какая мысль его? — предложил ему инспектор.

Ученик задумался в видимом затруднении пред такую задачей.

— Мы этого не проходили, — смущенно

отозвался он наконец.

— Так что ж что не проходили! Это не отговорка. Ведь вы же прочли его, по-русски понимаете, — ну, и объясняйте.

Мальчик смутился еще более и молчал. Один уже вид наезжего «начальства» — всякого, какое бы оно ни было — обыкновенно нагонял на весь класс смущение и холод, как, впрочем, всегда и везде, во всякой школе, потому, во-первых, что само «начальство» кажется сельским ученикам чем-то недостижимо высоким, важным и умным, а самая внезапность его приезда и эта торжественность приема, как явление, сравнительно, весьма редкое, исключительное, им совершенно не в привычку. Но главное, весь этот холод и смущение нагонялись тем, что в каждом «начальстве», значение коего не всегда было им понятно, ученики, по наибольшей части, встречали не то простое, сердечное отношение к делу и к самим себе, к какому приучила их своя учительница, а что-то холодное, формалистичное, безучастно сухое и постороннее, — словно бы какой-то контрольный аппарат, присланный сюда кем-то для проверки

кого-то и чего-то. В «начальстве» они видели точно бы внезапно нагрянувший «страшный суд» над собою и над учительницей — суд, который вот наехал, Бог его весть, откуда и зачем, разнес за что-то и сейчас уедет куда-то дальше... И кто его знает, что это за «начальство» такое, и чего ему нужно, из-за чего разносило оно преподавателей и зачем спрашивало учеников из всех предметов по кусочку, понадергивая из каждого и того, и сего, и десятого понемножку, на выдержку... Если даже оно и ласково, это «начальство», то и самая ласковость его опять же не та простая, сердечная ласковость, какую привыкли ученики встречать в своей учительнице, а какая-то деланная, принужденная, — словом, рассудочная, а не душевная ласковость, и это дети хоть и бессознательно, но всегда очень тонко чувствуют своим непосредственным детским инстинктом. А тут, на этот раз, «начальство» выходит совсем новое, — в первый раз и в лицо-то они его видят, — и едва лишь наехало, как уже успело показать свою строгость учительнице, сказать что-то, кажись, неприятное батюшке, выказать свое неудо-

вольствие на что-то. Все это окончательно смущало учеников, парализуя, вследствие невольного страха и недоумения, их волю, сообразительность, память, путая их мысли и сбивая с толку, под гнетом смутного опасения, как бы не ответить на задаваемые вопросы что-нибудь невпопад и тем не вызвать бы со стороны этого грозного «начальства» нового разноса себе и учительнице.

— Что значит «духовной жаждою томим?» — продолжал, между тем, пытаться ученика инспектор.

Мальчик упорно продолжал молчать.

— «Духовной жаждою»... Подумайте, — «духовной»... Что это такое «духовная жажда»? Не знаете?.. хм... Однако! — знаменательно взглянул Охрименко на Агрономского. А тот при этом опять пожал плечами, с таким видом, который ясно говорил: «я тут ничего поделать не могу, — сами теперь видите, как идет дело».

— Ну, а вы что скажете? — обратился инспектор к соседу первого мальчика. — Можете объяснить нам, или тоже в молчанку играть будете?

— «Духовной жаждою томим», — начал было мальчик, но сейчас же запнулся и стал растерянно поглядывать на учительницу, мучительно стараясь в то же время выжать из себя какую-нибудь подходящую догадку, что такое могло бы значить это «духовной жаждою».

— Священником, верно, хотел быть, — высказался он, наконец, и сам обрадовавшись, что, — слава Тебе, Господи, кажись, додумался!

— Священником?!. Вот тебе на! — удивился Охрименко. — Почему же вы так полагаете? Почему священником?

— Да потому, как тут сказано «духовной»...

Инспектор строго взглянул на учительницу и укоризненно покачал головой, — и вам, дескать, не стыдно!

Агрономский даже потупился от притворного смущения, меж тем, как на растянутых губах его так и мелькала многодольная ядовитая ухмылочка. — «То ли, мол, еще будет, погодите!»

— Ну, а это что значит? — продолжал инспектор:

*«Моих зениц коснулся он,—
Отверзлись вещи зеницы...
Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон».*

— Как вы это понимаете? — обратился он вообще к старшему возрасту, пытливо поглядывая то на того, то на другого из мальчиков. — Отвечайте, милые, кто может... Не бойтесь, бояться нечего, — ведь я не съем вас и не забодаю — мне только хочется знать, насколько вы усваиваете себе читаемое. Ну, кто же скажет?.. Живее, братцы, живее!

— Должно, затрещину дал здоровую, — домекнулся один из бойких.

— Что-о?! — выпучил на него глаза инспектор. — Затрещину?.. Благодарю, не ожидал! — иронически поклонился он учительнице. — Бот так сюрприз!.. Это вы как же, мой милый, додумались до затрещины-то? Объясните, пожалуйста, — любопытно.

— А как же?.. Известно, как ежели дать по уху, в ём сейчас и зазвенит... и шум сейчас в ухе делается...

— Нет, не то, — рассудительно перебил его другой мальчик. — Нешто серафим станет

драться! У ево и рук нет, а одни крылья, как на картинке показано, а это он чудо Господне, значит явил. Верно, тот был слепой и глухой, а потом стал видеть и слышать... Исцеление, значит.

Инспектор только плечами пожал, укоризненно заметив учительнице. — Какое жалкое развитие!

Тамара хотела было возразить ему, но он остановил ее, не дав ей сказать даже слова — Позвольте-с, разговаривать с вами мы будем потом, а теперь я желаю дойти до конца, чтоб наглядно убедиться в степени достигаемых школою успехов.

И он опять взялся за «Пророка» и дошел постепенно до «дольней лозы прозябанья». Тут оказалось, что под «лозой» одни понимают лозняк, растущий у них по болоту, а другие — просто «лозаны, секутся которыми мужики промеж себя на сходе, али, может, розгу на ребят непослушных». Вообще, энергия учеников, чем дальше, тем больше все падала, и надежда постичь тайну прочитанного видимо у них слабела и исчезала. Когда же потребовалось объяснение на дальнейшие стихи,

то одни из учеников старшего возраста оказались того мнения, то тот, кто все это сделал, должно быть, вовсе не серафим, а злой дух, и только нарочно прикинулся серафимом, — для обольщения, значит, — потому больно уж он над этим самым человеком тиранствовал и мучил его, и змею даже припущал к нему в рот, а дьявол, известно, еще в раю в образе змия был. Другие же высказывались, что это серафим, вероятно, казнил великого грешника за грехи его, за лукавство и празднословие, а третьи приходили в полное недоумение, что как де, мол, так, сказано тут «пророк», а между тем ничего он не напрогночил... И где он, и кто он, — Бог его знает![3]

— Какие, однако, грустные результаты! — с печально горькою усмешкой покачал головой Охрименко, обратясь к Тамаре. — Признаюсь, я возмущен до глубины души. В первый раз в жизни приходится еще слышать и видеть такое непонимание, такое грубое искажение и профанацию высокой мысли — и кого же? — Пушкина!.. Такое, можно сказать, невежественное глумление над нашим великим народным поэтом! И вам не стыдно?!

— Позвольте, г-н инспектор, — снова попыталась возразить ему Тамара. — Позвольте вам объяснить, они этого стихотворения не читали, и я им никогда не объясняла его, потому что смысл его нахожу слишком отвлеченным для их понимания. Такую вещь едва ли поймет и взрослый между простыми крестьянами, а это ведь дети, — примите во внимание.

— Позвольте-с, — возразил ей, в свой черед, Охрименко. — Эта книжка издана и одобрена для народного чтения в школах. Так-с? Против этого, надеюсь, вы спорить не будете?...

— Не буду. Но что ж из этого?

— А то, что если составитель нашел уместным включить в нее и «Пророка», то, с вашей стороны, полагаю, было бы слишком самонадеянно считать себя компетентнее его... «Отвлеченно»! Что такое значит «отвлеченно»?.. Это не отговорка-с. Любая молитва не менее отвлеченна, и однако же дети учат молитвы, им объясняют их — и они понимают. Ваше дело — развивать своих учеников, поднимать их до понимания отвлеченных идей, объяс-

нять им, и наконец, — на то вы и учительница. Но, конечно, там, где на первом плане — изучение форм долговых расписок, там не до отвлеченностей. Вот что прискорбно-с!

— Они Пушкина знают... все, что доступно их пониманию, мы читали и читаем, — защищала себя Тамара. — Да вот, позвольте на проверку, — предложила она и обратилась к одному из мальчиков. — Павлик, расскажи-ка нам содержание «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина, — помнишь?

— Позвольте, — значительным тоном и жестом остановил его инспектор. — Если я не ослышался, вы, кажется, обращаетесь к ученикам на «ты»?

— Да, я всегда говорю им «ты», — подтвердила Тамара.

— Хм... Вот как!.. Но на каком же это основании?

— На том, что «вы» для них не сродно, оно их путает... даже звучит им как-то дико, в их возрасте.

— Да, но по какому же праву и с чьего разрешения вы позволяете себе отступать от установленных требований? После этого и

они вам «ты» говорить будут!

— Да и говорят иные, — что ж такое?! Обидного для себя я тут ничего не вижу... Они ведь это по простоте... И притом, извините меня, но я думаю, что если это и отступление с моей стороны от правил, то не особенно важное, тем более, что обращение на «ты» для них выходит гораздо теплее, сердечнее как-то, это сближает и роднит их с учительницей.

— Нет-с, извините, это не «сближает», а унижает их человеческое достоинство. Если закон требует, чтобы на суде даже преступникам «вы» говорили, то как же детей-то, этих оудущих граждан наших, вы лишаете этого права!?

— Позвольте и мне, г-н инспектор, сказать свою слово, — скромно вмешался с разговор отец Макарий. — Вот, госпожа учительница заметила, что «вы» дико звучит для детского уха. А я скажу, оно не только дико, но — с позволения вашего — даже бестолково, потому дети это «вы», обращенное к ним, обыкновенно принимают в коллективном, так сказать, значении, а не в персональном. В личном

смысле они его даже не понимают, потому так уж они у нас в деревне привыкли, что все им «ты» говорят.

— То есть, вы этим не только оправдываете учительницу, но еще хотите сказать, что и вы тоже им «ты» говорите? — усмехнулся Охрименко, с плохо скрытым ехидством.

— Я отцам их «ты» говорю, так уж к ребятам-то на «вы» обращаться — извините — в моем сане и при моих летах, оно даже смешно как-то было бы.

— Отцам вы можете говорить как вам угодно, — заметил ему Охрименко тоном, в котором начинала уже неприятно проскальзывать нотка внутреннего раздражения, — там это ваше дело; но здесь уже наше-с, и я вам должен сказать, что школьные правила требуют, чтобы преподаватели говорили ученикам «вы», а не держали бы их в вечном напоминании им этим «ты» времен крепостничества. Они более не рабы-с, а такие же полноправные будущие граждане, как и мы с вами.

— Да, будущие, — подчеркнул отец Макарий, — согласен; но пока — они не более как

дети.

— Одним словом, — нетерпеливо перебил его Охрименко, — из уважения к вашему сану, о котором самим вам угодно было напомнить, я бы покорнейше просил вас, святой отец, не нарушать на будущее время установленных требований новой школы относительно рациональных педагогических приемов... Да-с!.. так как, в противном случае, мне было бы очень прискорбно лишиться в вашем лице достойного преподавателя закона Божия.

— Стар я, г-н инспектор, ломать свои привычки, — вздохнул с видом отказа отец Макарий. — И тем более, что предосудительного, — воля ваша — ничего в этом не вижу.

— Это уже ваше дело, — с сухим полупоклоном оборвал его речь Охрименко, показывая тем самым, что не желает дальнейших объяснений на эту тему. — Я свое сказал, а там — как вам угодно. А вам, сударыня, — повернулся он к Тамаре, — предлагаю переменить ваш род обращения с учениками. Вы слышали, что я сказал батюшке? — Ну-с, так то же самое относится и к вам. Имейте это в

виду, если вам желательно продолжать вашу службу.

Проговорив это официально-внушительным тоном, Охрименко взялся за другую попавшуюся ему под руку, книжку.

— Да-с, — говорил он, перелистывая и просматривая ее страницы, — так «Пророк» считается у вас слишком отвлеченным произведением, недоступным для понимания? Хорошо-с, возьмем что-нибудь попроще... что-нибудь совсем уже легкое, доступное... Ну, вот хоть это бы, что ли... Читайте! — предложил он мальчику лет восьми, положив перед ним книгу и указав пальцем на выбранную статью.

Тот, запинаясь несколько на слогах, начал читать неуверенным, монотонным голосом. — «Как на море-окияне, на острове на Буяне лежит бел горяч камень Алатырь».

— Про что вы читаете? — остановил его Охрименко. — Можете объяснить?..

— Про Алатырь-камень, — неуверенно ответил мальчуган.

— Хорошо, — подбодрил его экзаменатор. — А что еще Алатырем называется?

На этот вопрос мальчуган не сумел ответить и замолк, растерянно глядя мимо инспектора в стену.

— Ну знаете?., хм... Ну, может быть, кто другой знает? кто может ответить? — обратился он ко всему классу. — Что еще Алатырем называется:

— Город, кажись, есть такой, — отозвался один из учеников старшего возраста.

— Верно. Но что это за город, где он находится, на какой реке, в какой губернии, чем замечателен, сколько в нем жителей?

Но на весь ряд этих, сыпавшихся один за другим, вопросов, Охрименко не получил никакого ответа.

— Однако, милостивая государыня, — обратился он к Тамаре, — позвольте вас спросить, что ж это значит?., и чему, наконец, вы их учите?

— Г-н инспектор, подробности о малозамечательных уездных городах не входят в утвержденный курс сельских школ, — скромно и сдержанно ответила ему учительница.

Охрименко не выдержал, наконец и вспыхнул.

— Что вы мне тычете в глаза «утвержденным курсом»?! — грубо накинулся он на девушку. — Вам, кажется, угодно учить меня?.. Я знаю и без вас, сударыня, что входит и что не входит, но вижу только одно, что они у вас ровно ничего не знают, то есть, ровнехонько ни-че-го! — Это я вижу.

— То, что полагается по программе, они знают, то есть, старший возраст, по крайней мере.

— Ах, вам угодно спорить? — подавляя в себе свою вспышку, с утрированной и ехидною вежливостью покорно склонился перед нею инспектор. — Извольте-с, я подчиняюсь вашему желанию, чтоб доказать вам... Будь по-вашему! Пойдем далее. Итак, мой милый, — сдержанно обратился он к тому же мальчугану, — остановились мы с вами на камне Алатыре. Скажи мне, где же он находится, этот Алатырь-камень?

— На острове...

— Отменно. А что такое остров?

— Остров — у нас деревня такая есть, Островом зовется[4].

— Ну, это, наконец, из рук вон!.. — в отчая-

нии хлопнув себя по бедрам и расставив руки, обратился к Агрономскому возмущенный инспектор. — «Остров — деревня такая», — ну, сделайте ваше одолжение!.. То есть, ровнёхонько-таки ни-че-го не понимают!.. И даже совершенно не умеют сколько-нибудь отчетливо формулировать свои представления и мысли... Чему же их учат, после этого?

— Извините, г-н инспектор, если осмелюсь заметить, — вмешался опять отец Макарий. — Не судите по одному этому мальчику; он еще только склады прошел недавно, и если не имеет пока понятия об острове, то это потому, что никогда не видал его: у нас на речке, изволите видеть, островов никаких не имеется, а деревня Остров точно-что есть в нашей волости, — это верно, и это он знает.

Инспектор с презрительной усмешкой лишь плечами пожал да вскинул со вздохом очи свои горе, — дескать, о, Господи! Пошли только долготерпения!.. Как бы изнемогая от нравственного утомления и безнадежности, он снова огляделся вокруг стен и, заметив висевшие там карты России и обоих полушарий земли, сдержанно обратился к Тамаре упав-

шим и почти кротким голосом:

— Отчествоведение преподаете им?

— То есть, что это? — переспросила она. —
Географию?

— География, собственно говоря, отжившее слово-с, — все так же кротко, но не без внутреннего ехидства и как бы с сожалением о ее невежестве, пояснил он, — й к тому же, география есть собственно землеведение, или мироведение, если подразумевается мир астрономический, или же, наконец, народоведение, если мы имеем в виду географию политическую, а я вас спрашиваю об отчествоведении.

— Ах, это географию России? — домекнулась Тамара. — Как же, преподаю, — старшему возрасту и в общих чертах, конечно, согласно программе.

— А родиноведение преподаете?

На лице девушки отразилось некоторое недоумение.

— То есть... отчествоведение и родиноведение — это, полагаю, одно и то же? — проговорила она, приходя в некоторое смущение от странно кроткого экзаменаторского тона

этих его вопросов.

— Одно и то же? — проговорил он за нею и вздохнул с томною грустью. — Нет-с, не одно. Далеко не одно. Это меня, с вашей стороны, даже изумляет, признаюсь откровенно... Ч Как же это вы так учительствуете, а сами не знаете, что такое отечествоведение и что ро-диноведение? Какая же вы — извините — учительница после этого, когда не имеете ясного представления о различии таких простых и даже азбучных, можно сказать, предметов в науке?

Тамара только плечами пожала, в полном недоумении, чего от нее хотят и ради чего все эти придирки? Если желают отказать ей от места, то не проще ли сказать прямо: уходите, вы нам не нравитесь; — но к чему все эти инквизиторские издевательства над нею!

— Отечествоведение, — продолжал, между тем, Охрименко наставительным и поучающим тоном, точно бы жуя и в рот кладя ей — отечествоведение, сударыня, это — география, статистика и этнография России, во всем объеме ее государственных границ. Понимаете?.. А родиноведение — та же география, стати-

стика и этнография относительно одной своей губернии, или уезда, города, или села, то есть, той, административной округи, в пределах которой родился и живет обучаемый[5]. И вы такого пустяка не знаете!.. А еще учительница!.. Удивляюсь, удивляюсь бесконечно, — обратился он к Агрономскому. — И откуда только вы таких Жительниц добываете?! Ведь в губернии у вас есть, казалось бы, женская учительская семинария, неужели это отсюда выпускают с такими познаниями?

— О, нет, как можно! — солидно вступился Алоизий Маркович за достоинство этого земского учреждения. — Наша семинария, — помилуйте, это образцовейшее заведение на всю Россию. Но г-жа Бендавид не из нашей семинарии, — пояснил он тоном ехидного снисхождения к «убожеству» учительницы, — она определена к нам по протекции одной высокопоставленной петербургской дамы, отказать которой нашим земцам, по некоторым соображениям, было трудно... Полагаю, этим все сказано.

— Кто эта «высокопоставленная»? — небрежно спросил Охрименко. — Не секрет,

надеюсь?

Агрономский назвал г-жу Миропольцеву.

— Только-то?.. Ну, господа, извините! — иронически поклонился ему инспектор, расставляя свои руки, — если земство почему-то там находит нужным считаться с какою-то г-жею Миропольцевой, то мне, как представителю ведомства, до этого нет никакого дела. И я не обязан справляться, будет ли это там приятно кому или неприятно... У меня есть свои инструкции, и мне до этих протекций нет никакого дела, я их и знать не хочу!.. Мое дело блюсти интересы народного просвещения, и только. А потому, извините, я должен заявить вам без околичностей, что подобную учительницу (он указал при этом на Тамару) я нахожу совершенно невозможною, — да-с, и именно здесь, в Горелове. Помилуйте, тут проезжий тракт, начальство разное проезжает, преосвященный, губернатор, члены суда, наконец и туристы могут случиться, корреспонденты разные, мало ли кто!.. Иной может и любопытствовать, зайдет в школу, а тут ему вдруг преподнесут «остров — деревня такая», или «священником хотел быть», — ведь

это же срам, скандал!.. — Да и в самом деле, подумайте, что ж это такое — Евангельские тексты объясняют просто на смех, народный гимн поют, как деревяшки какие, даже царский портрет, — так и того-то повесить не потрудились!.. Не-ет-с, господа, так нельзя!.. Подобных безобразий я не потерплю, и дело вести спустя рукава — не позволите, это уж как вам угодно! — обратился он с обобщающим жестом к отцу Макарию и Тамаре.

— Напрасно обижать изволите, ваше-скородия! — раздался вдруг посторонний и не совсем-то трезвый голос за спиной инспектора, у двери.

Охрименко в недоумении обернулся назад. — Тебе что надо? Ты кто?

— Сторож здешний, ваше скордие! — выпалил Ефимыч, не изменяя своей солдатской позы навтыжку, — а только позвольте вашей милости доложить, что совсем занапрасно... потому как ежели что насчет патрета, так это не барышнина вина... Верно!

— Я тебя, любезный, не спрашиваю, так ты и не суйся! — внушительно заметил ему инспектор.

— Никак нет, ваше скордие, а только позвольте доложить, — может статья, что барин наш, их высокоблагородие Агрономский господин, запямятовали, а только-что они сами приказали убрать патрёт-от, и даже очень забранились тогда на нас, так это я — во, как перед Истинным...

— Молчи ты! — строго цыкнул на него шепотом старшина — Чего раскаркался?!. Аль пьян уже? С утра-то зеньки залил?

— Пьян? — с достоинством повел на него головою сторож, не меняя позы. — С чего пьян? Нешто ты мне подносил?.. Ты поднеси сначала, а потом кори. Не пьян я. а надо правильно говорить, по присяге, по-Божью! Вот что!.. И ты, коли ты есть старшина, твое бы дело было сказать, а ты, небойсь, молчишь!

— Ну-ну, неча тут, неча!.. Коли несведущ с законами, то и молчи!.. Пошел-ка лучше вон!.. Пошел, пошел! — стал подталкивать его старшина к двери.

— Не пойду!.. И ты не моги! — Потому я тут при своем месте состою, службу свою справляю... Я, брат, тоже свою праву понимаю не хуже тебя, — у меня святые медали, и ты луч-

ше меня не трошь!.

— Да что ж это за безобразие, наконец! — возвысил голос Охрименко. — Этого еще не доставало, что пьяный солдат какой-то смел тут сцены делать!.. Прогнать его с места, и кончено!

— Вот изволите примечать, какая проклямация! — степенно обратился к инспектору Сазон Флегонтов, с видом обличающей укоризны и жалобы указывая на солдата. — Я уж неоднократно входил насчет его в суждение с хрестьянами и более всего повторял слова с касаемым подтверждением о желании тишины и спокойствия от тому подобных и продчих сицилистов, а равно как и о благополучии, и даже самому ему говорил, что за хорошее ваше мнение насчет тишины и спокойствия, будьте мне другом. Кажется, уж достаточно, — чего бы лучше!.. А он, изволите видеть, как ценит, коловращение какое и невежество показывает! Вот каков народец анафемский ныне пошел! — Ироды препонтийстии, одно слово!

Сазон Флегонтов говорил с жаром, с увлечением, и сам казалось, заслушивался музы-

ки своего красноречия. С тех пор, как имя его, в качестве «друга просвещения», было напечатано в знаменитой корреспонденции об учительском съезде; он, любя и прежде уснащать свою речь «образованными словами», стал после этого сыпать ими уже без всякого удержу, «как преосвященный человек», так что в разговорах его с «господами» зачастую невозможно было теперь доискаться человеческого смысла, а бряцал в них, как металл звенящий, один только бесшабашный набор случайных «образованных слов» да канцелярских оборотов речи. С мужиками говорил он по-прежнему — просто и толково, но с «господами» и с «телигенцией», — беда, да и только! И все это наделала одна статья в газете!

— И откуда вы взяли такого?! — возмущенно дивился, между тем, на Ефимыча инспектор. — Неужели нельзя было найти на должность сторожа приличного человека?.. Срам! Позор!.. После этого, порядочным людям в школу войти невозможно, чтоб не наткнуться на скандал!

— Позвольте, честь имея войти в форме доклада к вашему высокоородию, — снова заго-

ворил с подобающим достоинством Сазон Флегонтов, — допреж училища, он у нас, по общественному присуждению, в ночных сторожах сидел при околице, но только ходит, бывало, ночью по улице, с деревянными орудиями, в испуганном положении, а потому сельский сход, иаслушав, мнением своим приказали, согласно соизволения их пысоблагородия, господина Аловизия Марковича, определить ого, при старости лет, в сторожа при школе. Но теперь, очевидно, следует учинить над ним отдых и спокойствие, посредством привлечения к ответственности за нарушение общественной тишины и благочиния специально в офециальном месте, по имеемой статье уложения.

— Просто, вон его, и конец! — порешил Охрименко.

— Позвольте, вон — это само по себе, а впродчем, я его по подверженности должен предать к привлечению по инстанции мировых учреждений, за оскорбление, значит, моих привилегии, при исполнении служебных обязанностей.

— Предавай куда хошь! — махнул рукой

Ефимыч, — мне что!.. Невидадь какая, место ваше сторожевское!.. Эка в ём сласть, подумаешь!

— Ну, однако, я вижу, нам лучше уйти отсюда, — заметил Агрономскому инспектор, — а то пререканья эти, чего доброго, дойдут у них еще и до драки, пожалуй. Что же касается вас, сударыня, — прибавил он в официально-холодном тоне, обращаясь к Тамаре, — то относительно себя вы получите на днях распоряжение. — Честь имею кланяться. Прощайте, батюшка! До свиданья, дети!

И г-н Охрименко, как за час пред сим вошел, так теперь и удалился из школы с одинаковым достоинством и сановитым видом. В своем участке, пред сельскими учителями и учительницами, он мнил себя великою особой.

XX. ЛЮДИ, ПОЗНАВШИЕ «В ЧЕМ СУТЬ»

В этот же день, сидя у Агрономского за обедом, Охрименко, после двух-трех рюмок водки и нескольких стаканчиков вина, разговорился с ним с глазу на глаз, по душе, как со старым школьным товарищем и единомышленником. В подобных случаях, при интимной беседе, чувствуя прилив благодушества и потребность выказать пред «хорошим человеком» душу свою нараспашку, он, как прирожденный хохол и притом хохломан, всегда испытывал сердечный позыв в хохлацкому «жарту» и пересыпанью своей русской речи разными малороссиискими словечками, от чего во всякое другое время строго воздерживался. В этой их беседе обнаружилось, что Алоизий Маркович остался несколько шокирован и не совсем-то доволен его инспекторскими приемами в школе: зачем-де эта ортодоксальность, даже до подхода под благословение «к этому старому козлу», когда «мы» только к тому и стремимся, о том и хлопочем,

чтобы как ни на есть освободить земскую школу от клерикальных элементов и влияний; к чему-де эта излишняя лояльность в требованиях насчет народного гимна, портрета и т. п., и для чего, наконец, перед детьми величать Пушкина «божественным», «великим», «народным поэтом», когда Писарев уже чуть не двадцать лет тому назад доказал, как дважды два — четыре, что этот ваш «гений» был не более, как ограниченный пошляк, полный самых уродливых предрассудков, придворный льстец и, вообще, самый легкомысленный человек, никогда не возвышавшийся и не способный даже возвыситься до понимания народной скорби и высших социально-демократических интересов, а мы вдруг теперь опять его в «великие» возводим, — к чему все это?! Не знаменуют ли подобные требования прямо регрессивный поворот назад и не сбивают ли они с толку детей, толкая их куда-то, совсем в другую сторону от того строго реального и протестующего направления, которое «мы» всячески стараемся привить к ним в видах будущего, в интересах «общего дела»? — Все эти свои сомне-

ния и недовольства он совершенно откровенно и в самой дружеской форме высказал за стаканом вина старому приятелю, тем более, что приятель этот еще так Недавно, в Петербурге, за обедом у Палкина, сам высказывался ему в совершенно солидарном с ним смысле, и вдруг сегодня такая странная с его стороны эволюция!

Охрименко молча и терпеливо выслушивал всю эту речь и только глядел неотводным взглядом в лицо Агрономскому, тихо улыбаясь про себя все время с чисто хохлацкою, якобы простодушною, хитрецою, — дескать, мели, мели мельница, пока все не вымелешь!

— Э-эх! простыня ты моя прямолинейная! — с дружеской иронией укоризненно покивал он на благоприятеля головою, когда тот наконец высказался. — Ничему-то жизнь вас не научает в ваших медвежьих углах, как я погляжу!.. Каким сорвался со школьной скамьи, таким и остался, все в тех же шорах ходишь; а жизнь-то, тем часом, она вона куда ушла!.. Ведь, с нею, друже ты мой, хочешь не хочешь, а приходится считаться!..

— А разве же мы не считаемся? — задор-

но вступился за себя и «своих» Агрономский. — Побывал бы ты хоть на одном земском собрании, так и увидел бы!

— Вы? — полупрезрительно, но благодушно ухмыльнулся Охрименко. — Ну, де там у чертова батька считаетесь?! Оппозиционные словоизвержения против губернатора загибаєте, и только! Так разве же это «считаться» называется? — Все те же либеральные шоры!.. Э, братику мий ридный, колысь-то бувь и я таким-то, тоже в шорах ходил, и донкихотствовал за «общее дело», кричал не хуже любого голоцуцаго скубента, и даже злапан был за это самое, як тий карасик у борщ, — ну, и отсидив свое у кутузи, и на допросы мене тягали, и усе таке — бодай им сто чертив их батькови!.. И вот тут-то, во время этого сиденья «во юзех», стал я сам с собою думу думати, тай додумавсь, что все эти наши «хождения в народ», прокламации, демонстрации, динамиты, — все это не та кабака! — Одна брехня собача, або дивочьи забавки, — от так соби, михаймося картонными мечами «по воздухам», а в точку- то самую, в настоящую, значит, все это а ни малюсенько не бьет!.. Для

«общаго дела», выходит, по нынешним временам, совсем не это нужно.

— Как не это? — вспыхнул рисуясь напускным революционным жаром, Агрономский. — Как, черт возьми, не это?!. На какой же чорт тогда все, чему мы учились, во что мы верили, к чему стремились еще со школьной скамьи?.. Идеалы, значит, все по боку?.. Все наши авторитеты, Сен-Симоны Луи-Бланы, Фурье, Лассали, Марксы, Бакунины, все эти святые имена и их заветы, и наши традиции, и целый мартиролог наших мучеников, — все это к черту?

— Чувайте, братику все это с вашей стороны, — выбачайте, — одна пустая фразеология и метафизика, сиречь брехня; а к тому же я вовсе этого и не говорю, — спокойно возразил Охрименко. — Зачем же непременно побоку и к черту — Я говорю только, что все мы шли до сих пор неверным путем, что все эти наши приемы уже устарели, выдохлись и больше не действуют. И в самом деле, разве же все эти «Народные Воли», «Хитрые Механики», «Сказки про четырех братьев» не глупость? Ей-же Богу, одна белиберда и только!.. Тут

нужно совсем другое...

— Так что же по-вашему нужно? — с ироническим недоверием спросил Агрономский.

— «По-нашему?..» хм! По-нашему, нужна новая эволюция, как сам ты ее сейчас назвал, — от що!

— То есть, что это значит «новая эволюция?»

— А то, что чем «ходить в народ», надо «идти в правительство», — серьезно и веско отчеканил ему Охрименко.

Ошарашенный Агрономский даже с места привскочил, не понимая еще ясно, что именно хочет сказать этим приятель?

— Да, идти в правительство, — уверенно подтвердил последний. — Народ этот ваш разлюбезный — баран на баране и болван на болване. С ним ничего пока не поделаешь, — в этом пора убедиться, — и ну его к дьяволу!.. А надо идти в правительство, говорю, в чиновдралы, и там добиваться себе видных мест и влиятельных положений.

— Это зачем же? — вытаращил на него глаза Агрономский. — Наша задача — бороться с правительством, а не присоединяться к нему.

— Я не говорю «присоединяться», а говорю только «идти», — поправил его Охрименко. — Идти затем, чтобы работать для народа помимо народа, потому что народ глуп еще, не дорос до нашей идеи, и надо его заставить принять ее. Правительство — оно тоже работает для народа, но разница в том, что оно думает одно, а мы другое... Стремления-то наши, пожалуй, одни, да цели разные.

— Да, но каким же образом думаете вы достигать «наших» целей, работая заодно с нашими злейшими врагами?

— О шоры, шоры! вечные шоры! — воздел руки к небу Охрименко. — Да пойми же ты, наконец, что если нужно для пользы «общего дела» надеть эту ливрею и даже подобный брелок привесить, — указал он на свои вицмундир и на Анненский крестик, — так надевай смело и то, и другое, и плюй на всех. — тряся их матери!.. Коли надо для тех же целей «Боже Царя храни» петь, — пой, пой громче других и ори «восторженное ура» во всю глотку, ходи на все высокаторжественные молебны, на ефимоны, на всенощные, бей земные поклоны, если это надо, — выбивай лбом

себе карьеру... Одним словом, помнишь, как у Тредияковского: «Держись черни, а знай штуку». Вот в этом-то и вся сила, чтобы «штуку» знать! Определят тебя на место, — все равно куда: в полицию, положим, — будь Держимордой, но знай кому, когда и как дать зуботычину; в цензуру — преследуй «вольный дух» во всех поварских книжках, но знай, что пропустить «своим» между строками, а что прихлопнуть, особенно у этих, у «консервативных обличителей»; в синодальную контору посадят, — будь паче Аскоченского и Аввы Фотия, а по нашему ведомству — самого Магницкого превзойди, лишь бы только в тебя поверили, — понимаешь? — лишь бы поверили и успокоились. закрыли на тебя очеса свои, — и тогда ты победил, ты сила!

Теперь уже Агрономский, в свою очередь, молча слушал вешания приятеля, но не с хитрецкою ухмылочкой, как тот, а с полным и серьезным вниманием, точно бы какое откровение.

— Ты, конечно, помнишь Конрада Валенрода? — спросил его Охрименко.

— О, еще бы! — с чувством горделивого са-

моллюбия встрепенулся Алоизий Маркович. —
Моя мать, ведь, полька была.

— Ну, так вот тебе, друже, наш путь. Старайся всячески, хоть ужом проползай в лагерь врагов/облекайся в их шкуру, ешь и пей, и подпевай с ними, усыпи их подозрительность, и незаметно, как Конрад, заражай всех и вся вокруг себя своею чумою. Это, брат, рецепт верный!.. И подумай-ка сам, если бы по всем-то ведомствам да сидело бы на верхах и под верхами хоть пятьдесят процентов «наших», «своих», — го-го, що бы воно було!.. Да мы бы, брат, в какой-нибудь один, другой десяток лет тишком-молчком так обработали бы исподволь и незаметно нашу матушку Федору великую, довели бы ее до такого положения, что ей, як тий поповий кобыльци, а ни тпрру, ни ну!.. Сама бы пошла на капитуляцию перед нами, и тогда мы — господа положения. Канцелярия!., хм!.. Вот тоже дурни Бога нашего ругают там в газетах своих, да в журналах канцелярию, — канцеляризм, вишь, заедает нас и проч. Не-ет, голубе мий сизый, канцеляризм — великое дело, с нашей точки зрения, она нам за лучшего союзника,

и с ним мы куда скорее придем к искомому результату!., похерить канцеляризм, живую власть поставить на место его, — да это Боже избави! Это погибель наша!.. И это публицистическое болваньё такой простой штуки не понимает!., дурни, братику, мы были со своими хождениями в народ и конспиративными квартирами. Пропасть «своих» только ни за полшелега погубили, пользы — а-ни на щепоть кабаки!.. Не-ет, шалишь, брат, больше никто меня на эту штуку не подденет. Служить надо, канцелярию забирать в свои руки, от що! — а не донкихотствовать!.. И тогда подымись-ка что в России заправское, — одолейте вы, положим, — ан мы тут как тут, мы готовы! — к вашим услугам! При первом же серьезном успехе движения, — конечно, мы ваши и с вами, и всю государственную машину сохраним для вас в непрерывном действии, и преподнесем ее вам, як крашанку на Велик день! — Ось вона вам, наша мать-канцелярия сиропитательнииа!

Агрономский еще с «ливреи» и «брелока» поймал уже хвост и уразумел суть его идеи, но не мешал ему высказываться до конца, по-

тому что ему доставляло высокое, в своем роде, наслаждение следить в убежденной речи друга за развитием столь «симпатичной» ему темы и смаковать всю прелесть этой «умной и новой эволюции». Как практик сам, он не прочь был отдать дань достодожного уважения своему практическому другу, раскрывшему вдруг перед ним такие широкие, новые горизонты, такие смелые течения для «общего дела», о существовании которых он и не подозревал, сидя в своем медвежьем углу и пережевывая жвачку писаревщины и чернышевщины 60-х годов. Чувствовал он только, что все это тем более ему симпатично, что и сам он, в сущности, делает подобное же практическое дело, только попроще, в более суженной рамке местного земства и не задаваясь столь дальновидными целями, а просто играя, с одной стороны, в свою пользу, в либеральную оппозицию на земских собраниях и «способствуя просвещению» в известном духе «детей народа», а с другой — преспокойно спаивая в то же время в своих кабаках «отцов» этих самых «детей». Но то, чем является теперь перед ним Охрименко с его идеями и практиче-

ским их применением, — это, очевидно, продукт новейшего времени и новых веяний, от которых они, старые идеалисты нигилизма 60-х годов, куда как отстали! «Да, все это превосходно, все это дивно хорошо», думалось ему, «если... если только приятель не врет перед старым товарищем, драпируя свою чиновничью физию во львиную шкуру». Но идея — о! самая идея — это другое дело. Идея нравилась ему бесконечно, независимо от того, правду ли говорит Охрименко, или врет, думая, может быть, оправдать этим свое чинодральство.

— Однако... это вы тово... ловко! — проговорил он, чуть не захлебываясь от восторга, при представлении себе этой идеи, и блаженно закатывая свои водянисто-идеальные глазки, на которых даже слезы умиления проступили.

— Ловко, братику, ловко, что и говорить!.. Узнали наконец, где раки зимуют и в чем суть настоящая! — самодовольно похвалялся, охорашиваясь перед ним, Охрименко. — Ну, да и пора же наконец за ум-то взяться... Так от воно цо, голубонько моя! — подсев к прия-

телю, интимно хлопнул он его по колену, — урозумив, небоже?.. Ну, то почаломкаемся, братику... Спасыби за хлеб, за силь, та за панську ласку!

И встав из-за стола, они, с распростертыми объятиями, попеременно подставили дважды друг другу свои щеки для взаимного облобызания и горячо пожали друг другу руку.

— Теперь ты доволен мною? — спросил Охрименко, похлопывая его, в сознании своего превосходства, по плечу, с оттенком как бы некоторого покровительства даже, а у самого на лице так и просвечивало выражение: «дураки, мол, вы, старые шестидесятники, куда вам до нашего брата»! — Пускай теперь пишут на меня какие угодно доносы, — не подденут! — продолжал он, — иголки под себя подточить не дам: ныне, мол, мы и сами «Боже, Царя храни» не хуже г-на Каткова воспеваем... Хе-хе!.. Так-то оно гораздо умнее и спокойнее.

— Но что ж ты думаешь делать, однако, с нашею-то школой, со здешнею? — озабоченно спросил Агрономский.

— Да что ж, батьку этого надо будет спла-

вить, как окончательно неспособного, — напишу в губернию к директору училищ, — нехай, его там сносятся с консисторией... Просить надо просто убрать эту археологическую ветхость, куда им угодно. Пускай назначат хоть причетчика, что ли, только из молодых бы.

— Ну, а ее? — осторожно и с напускным видом равнодушия напомнил Алоизий Маркович про Тамару.

— А ее можно просто вон, и только.

Агрономский как-то замялся.

— Мм... оно, конечно... я, пожалуй, и не прочь бы, но... не удобно это, по некоторым соображениям... Лучше бы просто удалить ее из Горелова.

— Ну, что ж, удалить, так удалить, — охотно согласился Охрименко. — На первый случай можно, пожалуй, перевести куда-нибудь... Но здесь, и в самом деле, держать ее невозможно, — заговорил он солидно убеждающим тоном; — село большое, бойкое, на тракте, здесь нужен человек развитой и ловкий, чтоб умел весь товар лицом показать и очки втереть, кому следует, а под сурдинку и

дело делать в-настоя- щую, — у тебя ведь есть же, вероятно, такие хлопцы?

— О, как не быть! Найдутся!.. Да вот бы ко- го, например!

И Агрономский назвал своего кашлатого любимца, умолчав, впрочем, о том, что этот любимец был его негласным соучастником по составлению известной корреспонденции об учительском съезде.

— Это тот, что ли, у которого мы вчера утром были, — в красной косоворотке, такой мрачный с виду, лохматый, нечесаный? — спросил припоминая инспектор.

— Он самый, а что?

— Да ничего... дубоват только и чересчур уже демонстративно типичен, — кислогато поморщился Охрименко. — По- обмыть бы его следовало и подстричь, да и костюм-то попривличнее посоветовать бы. А то ведь, в самом деле, нельзя же так резко бить в глаза посторонним такую наружность!.. Полегче все это надо, господа, помягче, попривличнее, — не те времена уже!

«Ой, брат, чинодрал ты, кажись, и только!» — подумал про себя Агрономский, впадая

в новое сомнение насчет старого друга, при этом новом, поставленном им требовании, которое разрушало уж и самую внешнюю форму нигилизма, так сказать, самый мундир его. Но он это только подумал себе в душе, а на словах не высказал — на словах он предпочел уступить эту внешнюю сторону, лишь бы сохранить внутреннюю суть, «ради пользы дела».

— Что ж, это все можно, и пособие ему на костюм исходатайствуем, — а уж зато человек самый подходящий, и вполне «наш», совсем надежный, удостоверил Алоизий Маркович.

— Ну, то и добре, — согласился Охрименко. — Значит, так и запишем.

— А ее-то? — повторил Агрономский свой вопрос насчет Тамары. — У нас вот остается вакантною Пропойская школа, — туда бы разве?.

— Это ссылочная-то, что бабьегонскою сибирью зовется? — ухмыльнулся инспектор. — Что ж, можно и в Пропойскую, если хочешь.

— Да я-то, собственно, ничего, — опять замялся Агрономский. — Одно только, говоря по

правде, меня смущает...

И он выразил свои сомнения насчет Миропольцевой, — как бы она опять не вступилась «за эту дрянь», — озлится на него, пожалуй, и тогда уже к ней не приступись, а ему ссориться с нею не с руки, неудобно...

— От-то, бисова баба!.. И чого се вы з ний ныначе як цыгане с писаною торбой!.. А по мне, злись она на меня, кильке влизе, — чхать я хотив!.. Мне-то что!.. Я ведь не земский человек, а коронный, у меня свое начальство, и мне плевать!

— Да, тебе-то хорошо толковать, а мне... аф-аф! — почесал у себя за ухом Агрономский.

— Ну, так что же? Обидится, — вали все на меня да и кончено! — предложил Охрименко. — Не я, мол, а инспектор!.. А со мною разговоры коротки: я в ответ, ежели что от высшего начальства, сейчас «Боже, Царя храни» запою, и баста! — Не походяща, мол, ни по умственному, ни по нравственному развитию, ни по методу своего преподавания, и не внушает, к тому же, особого доверия по степени своей политической благонадежности, как прирожденная еврейка, — ось тобі и сказ на

показ, мий друже!

* * *

Последствия этого интимного разговора были для Гореловской школы «самые благотворные». В непродолжительном времени первым номером вылетел из нее сторож Ефимыч, приговоренный мировым судьей за оскорбление волостного старшины, при исполнении служебных обязанностей, к тюремному заключению на месяц. На место же Ефимыча был привезен Агрономским из Бабьегонска какой-то выгнанный семинарист из «поднадзорных», которого он выпросил у исправника перевести, в виде исключения, к ним в стан, из жалости и человеколюбия-де, ради пропитания, так как в Бабьегонске харчевых денег от казны ему-де решительно не хватает, а тут он будет, по крайней мере, сыт и при должности, причем и жалованье особое ему от сельского общества положат, а надзирать за ним, кроме станового, можно бы поручить еще и местному уряднику, если в том окажется надобность. И действительно, благодаря Агрономскому, выставившему на сельский сход два ведра водки, Сазон Флегонтов

убедил мужичков поштенных положить новому сторожу жалованье от мира, по четыре рубля в месяц, да два пуда муки, да меру картошки, на месяц же, а крупы — сколько кто сам отсыплет, по желанию, потому-де этот сторож не какой-нибудь, а ученый и будет в помощь учителю.

Вторым номером вылетела из школы Тамара, получившая от инспектора бумагу о состоявшемся переводе ее в селение Пропойск, отправиться куда предписывалось ей «с получения сего — немедленно». Она еще не успела выехать из Горелова, как на ее место явился уже принять от нее по инвентарю все школьное имущество кашлатый друг Алоизия Марковича, удостоенный пред сим, по его ходатайству, награды из земских сумм, в семьдесят рублей, «на экипировку». Оставался еще пока отец Макарий, но и его дни, в качестве законоучителя, были уже сочтены, по достоверным сведениям, вместо прежнего пожилого дьячка, должен был в непродолжительном времени быть прислан в Гореловский приход молодой причетник, из «современных», который и будет-де законоучительствовать в шко-

ле. Поговаривали еще, что есть слухи, будто и отец Никандр скоро будет переведен на другой приход, так как здесь он не угоден Агрономскому, который будто бы и сплавит его подальше, при содействии инспектора, имеющего-де руку в консистории.

Таким образом, в самое короткое время, радикально был «освежен» весь личный состав Гореловской земской школы, что, по уверению Агрономского, непременно должно повести к ее «нравственному оздоровлению» и преуспеянию в будущем.

XXI. СРЕДИ ДЕБРЕЙ «ПРОПОЙСКОГО КРАЯ»

Все село Горелово в тот же день обежала Внежданная новость: нашу-де учительницу в Пропойск переводят. Новость эта очень не понравилась семейным мужикам из степенных, а в особенности крестьянским маткам, которые за время более двухлетнего пребывания Тамары в Горелове успели оценить свою учительницу, видя, что дети их и к божественному приникают, и в грамоте преуспевают, дома читают батькам с матками душе-спасительные грамотки, по праздникам в церкви поют и читают, срамных слов и ругательств не употребляют в играх и разговорах между собою, озорства куда меньше стало между ними, и драки почти совсем прекратились, а главное то, что против прежнего времени, за эти два года вдвое больше учеников окончило курс сельской школы с правом на льготу по четвертому разряду. Это крестьянские матки ценили в особенности. Да и кроме того, учительницу свою облюбовали они еще

и за многое другое: полечит ли кого домашними средствами, письмо ли отписать той к сыну в полк, этой к мужу «в отходе» в Москву, либо в Питер, посоветоваться ли насчет своих ребят, или по другому какому делу, а то просто себе покалякать о том, о сем в досужую минуту, — за всем этим они бывало, идут к своей учительнице, зная, что встретят в ней всегда радушную готовность помочь чем можно, и словом, и делом. И вот теперь ее от них убирают. Зачем? с какой стати? чем она дурна? чем не угодила?

Десятка три-четыре крестьянских маток собрались перед крыльцом школы, видимо озадаченные и озабоченные этими вопросами. Здесь они узнали от Тамары, что перевод ее состоялся не по своей охоте, а по воле начальства, и потому ничего не поделаешь, надо ехать.

— Да нешто нельзя отмену сделать? — советовались промеж себя матки. — Как можно, чтобы нельзя! Захотят — сделают!.. Просить надо!

И они отправились гурьбой в усадьбу к Агрономскому с просьбой — нельзя ли ему как

устроить, чтобы не переводить учительницу в Пропоиск, так как они, да и мужики их, и дети очень ею довольны и не желают расставаться с нею.

Алоизий Маркович принял баб очень сочувственно и сам даже соболезновал с ними о случившемся, — прекрасная, мол, учительница, и ему тоже-де жаль расставаться с нею, но что же делать? — он тут ни при чем, — видит Бог, ни при чем, и напрасно бабы так думают, будто он что-нибудь может, — он ровно ничего не может; может уверить их только в том, что переводят учительницу не по его вине, — он и сам-де просил уже за нее, хлопотал и писал, да ничего не добился, потому такова воля начальства. Завись это дело от земства, — ну, тогда иная статья: земство — учреждение свое, народное, оно сейчас уважило бы мирскую просьбу, потому мир — святое дело; но ведь тут не земство, тут, сами видите, начальство, а против начальства, известно, ничего не поделаешь: на то оно и начальство, чтобы всем назло да в досаду делать, без всякой надобности. Ну, да ничего! Новый-де учитель будет не хуже, а гляди, — много лучше еще,

так что детки от этой перемены только выиграют.

И бабы-«ходательницы» ушли от Агрономского ни с чем, так как он, хотя и с сожалением, но решительно отказался доложить их усердное ходатайство «начальству». Нечего, значит, делать, придется расстаться с учительницей.

И вот, в час ее отъезда, опять собралась перед школой толпа маток и ребятишек, да несколько мужиков — проститься с учительницей. Почти каждая из этих женщин явилась с каким-нибудь узелком, — «расстанное, мол, на дорожку»: одна яиц принесла, другая — хлеба каравай, третья — оладушек с медом да крупки мешочек, та — курицу жареную, эта — масла или творогу в чистой тряпиче и т. д. Всем им хотелось хоть чем-нибудь выразить учительнице свою признательность и сожаление об ее отъезде. Это их участие, по всей ею искренности и простоте, тронуло Тамару до слез и послужило ей большим утешением в постигших ее неприятностях. Оно напомнило ей дни войны и тех солдат в госпиталях, что так просто и глубоко-искрен-

но выражали ей свою благодарность за уход за ними, как и эти вот бабы. Она вспомнила, что в тех госпиталях, в лице солдата, впервые познакомилась с настоящим русским народом, узнала и оценила его душевную сторону и всем сердцем полюбила его так, что сама себя почувствовала вместе с ним русскою. И вот, те же высокие в своей простоте душевные качества этого народа опять встают перед нею в эту горькую для нее минуту, — он все тот же сердечно добрый, великодушный и серьезный народ, умеющий по-своему ценить и помнить всякое сделанное ему добро. И каким чуждым и чудовищным наростом на нем показались ей теперь все эти Агрономские, Охрименки, де-Казатисы, Грюнберги, Семиоковы, — вся эта земско-чиновничья «телигенция», со всем ее напускным «печальничеством» о народе, со всем-ее трескучим фразерством и темными делишками насчет и за счет того же самого народа.

Искренно всплакнула на прощанье с нею и «матушка» Анна Макарьевна, — да и как же, в самом деле, иначе? Ведь, подумать только, больше двух лет прожили почти вместе,

изо дня в день видясь друг с дружкой, и ни разу-то между ними никакой ссоры, никакого недовольствия, даже простого недоразумения не вышло, и так уже все привыкли к ней, совсем как за свою считали, и вдруг расставаться приходится.

Отец Макарий тоже был тронут и негодующе взволнован даже, хорошо понимая, жертвой чего и кого является бедная девушка, и ясно сознавая все свое бессилие изменить заведшиеся у них порядки и помочь не только ей, но и этим покидаемым ею детям и всей этой бывшей своей пастве, от которой нагло оттирают ее пастырей какие-то пришлецы новейшей формации, — эти, поистине, волки в овечьей шкуре, хитростно загоняющие ее с нивы Христовой в поле, полное волчца и терний.

Старик, как некогда мать Серафима в Украинске, благословил Тамару на прощанье образком и взял с нее слово писать его семье о себе и обо всем своем новом обиходе, а в особенности, если — не дай Бог — случится с нею что недоброе, болезнь или нужда, или неприятность какая, потому что, как ни как, а все

же они ей заместо родных и, по силе возможности, помочь чем ни есть постараются.

Отец Никандр запряг свою пару в рессорную тележку и сам отвез Тамару с ее двумя чемоданчиками в новое место ее служения, сам сдал се на руки пропойскому старосте и, вместе с последним, сам подыскал и сторговал для нее за два рубля в месяц светелку в избушке у старой бобылки-солдатки, которая за те же деньги взялась и варить ей пищу и белье стирать.

— Ну, дай вам Бог всего хорошего!.. Смотрите же, пишите, ежели что, сейчас пишите! — наказывал он ей на прощанье.

* * *

Селение Пропойск оправдывало свое название, хотя таковое было дано ему вовсе не за пристрастие современных его обывателей к кабаку, а еще исстари, по той причине, что Здесь, на погосте, как гласило местное предание, когда-то встарь, отцы сватам невест пропивали, — оттого-де и место Пропойским стало зваться. Селение бедное, в глуши, в стороне от почтовых и больших проезжих дорог, заброшенное среди лесистой и болотистой

местности, — оно недаром, как и весь этот участок Бабьегонского уезда, слыло под именем «медвежьего угла» или «Бабьегонской Сибири». Туда и станопой-то редко заглядывал, разве только если мертвое тело объявится, или когда начальство понудит недоимки выколачивать.

Задалось было земство целью «оживить» этот угол и поднять производительность «Пропойского края». В прежние годы, еще с незапамятных времен, почти все жители этого участка занимались смолокурением: гнали смолу просто в ямах, первобытным способом: лесу было много, а присмотру за ним никакого, — мужик где хотел, там и рыл свою яму, копал сосновые пни, рубил даже стоячий лес, много истреблял его без толку, и все никак истребить не мог, но заработок, во всяком случае, имел верный. Это последнее обстоятельство и навело земских «деятелей» на мысль, что надо все дело взять в свои руки, «урегулировать».

Было это как раз в период всероссийских увлечений «культурно-артельным началом», и потому земцы усиленно стали вводить смо-

докурные артели «на современно-европейских принципах этого дела», по Шульце Деличу. Правда, крестьян с большим трудом приходилось уламывать на устройство таких «рациональных» шульце-деличевских артелей, но что ж им оставалось делать, если иначе их промысел подвергался большим стеснениям от непомерного обложения маленьких хозяйских заводов со стороны земства.

Сейчас же «деятели и сеятели» завели в пропойских дебрях на широкую ногу завод, который назвали «образцовым земским заводом для разработки древесных продуктов» и который, по их предположению, долженствовал служить «рассадником рациональных усовершенствований в крестьянском смолокурении на научном основании» и вырабатывать не только смолу и скипидар, но и парафин, и машинные легкие и тяжелые масла, и колесные мази, и древесный спирт, и пустить в ход в народе производство уксусных солей, — и все это, конечно, с благою целью «улучшить материальное благосостояние крестьян и возвысить их умственный и нравственный уровень». Ради всего этого «ожив-

ления» и «поднятия», сейчас же отчислили в «безвозвратные расходы» здоровый куш земских денег — на содержание и разъезды «по артельным делам» члену управы Ратафьеву, как заведующему «артельным отделом» по части «изобретения и принятия мер к улучшению и развитию местных промыслов на артельном начале»; поназначали жалованье и выписным техникам, и особым участковым «артельным наблюдателям», на должности которых понапихали разных студентов-технологов, некончалых студентов-медиков, жидков и семинаристов, из поднадзорных и «подозрительных» (об этом уже особо Алоизий Маркович постарался), а остальная сумма разошлась по карманам «милого Пьеро» Семиокова и Ермолая Касьянова Передернина, не упустивших приятного случая взять на себя подрядец на постройку завода «хозяйственным способом».

Затем, в видах того же оживления и поднятия нравственного и экономического уровня, вздумали «деятели и сеятели» заводить на пропойских — болотах артельное сыроварение, — надо же ведь и их «утилизировать», —

для чего, первым делом, командировали за границу, за земский счет, невесть откуда вдруг объявившихся родственников-«специалистов» — «изучать вопрос», то есть, «рационально-научные приемы сыроварения» — голландскую систему, швейцарскую систему, грюйерский способ и эментальский способ, голштинское маслоделие, шведскую систему отстаиванья, варку американских сыров в Англии и т. д., и поручили всем этим «специалистам» непременно найти и выписать в бабьегонские дебри, на земский же счет и на хорошее жалованье, швейцарскую семью, голштинскую семью, голландскую мастерицу и шведскую девицу, — послали даже в Америку «позаимствоваться чем можно» и от американцев одного молодого человека, которого «интерес дела» привлек для этого даже из Сибири. Вместе с тем завели, разумеется, при «образцовой сыроварне» и особую «экспериментальную школу», куда «привлекали» преимущественно девиц духовного звания, в качестве будущих «ученых маслобойниц и сыроварниц», между которыми не обошлось, однако, и без Фаиги Розенблюм, интеллигент-

ной дочери бабьегонского часовых дел мастера и закладчика.

Дело сначала пошло было бойко, что и подало Агрономскому, принимавшему в устройстве артелей самое живое участие, удобный повод завести в «Пропойском крае» несколько лишних кабаков. Но кончились все эти артельно-смолокурные и сыроварные затеи тем, что крестьяне из-за копеечной выгоды лишали своих ребятишек последней крынки молока, а тут, кстати, и коровы их подошли от сибирской язвы, против которой земство много и хорошо говорило в экстренном собрании, но мер никаких не принимало, кроме поздней отправки на место земского ветеринара, «для исследования причин эпизоотии». Затем явилось и еще одно «непредвиденное» обстоятельство: несколько известных кулаков-скушчиков смолокурных продуктов устроили между собою стачку и сначала значительно понизили на них цены, а затем и вовсе перестали брать их с земского завода и его «филиальных» артелей. Из чистой выручки рабочим ничего не выдавалось, да и сколько именно прибылей получалось, артельные

надзиратели никогда им не объявляли, — дело велось «на доверии» и отлично расписывалось только в земских «отчетах», — и потому рабочие-смолокуры и маслобои поразбегались из артелей, ученые поповны пошли на разные «курсы», Файга Розенблюм в Желябовскую шайку, а все эти голштинские и швейцарские «семьи», мастерицы и девицы, не получая жалованья, — частью поразбрелись куда глаза глядят, проклиная «русски свин» и свою доверчивость, а частью пристроились к кое-каким купеческим саврасам «на содержание».

Неудачу всех своих «оживлений» и «поднятий» земские «деятели и сеятели» свалили в своих «отчетах» на дороговизну казенного смольняка, на трудность «нового» дела, на полную неразвитость населения, непривыкшего-де к самостоятельной, свободной деятельности, вследствие долгой своей крепостной зависимости, и наконец — на «неблагоприятные условия вообще». Заслушав все это, земское собрание в конце концов постановило — выразить достопочтенным г-м Ратафьеву и Агрономскому свою «живейшую благо-

дарность за их благотворную деятельность по устройству артелей», а в деньгах никому отчитываться не пришлось, так как и выданы-то они были на расходы «безвозвратные». Да и кроме того, деятелям было уже не до артелей, — ну, их к праху! Какие тут артели, помилуйте, когда им предстояло немедленно заняться другим, чрезвычайно важным с гумано-социальной точки зрения, проектом об улучшении быта семей конокрадов, ссылаемых по общественным приговорам в Сибирь.

Таким образом, в результате ото всех этих научно-артельных опытов, как нечто положительное, остались одни лишь кабаки Агрономского, дальнейшему процветанию коих крушение всех этих образцовых заводов и экспериментальных школ нимало не препятствовало. Крестьяне же, утратив своих прежних скупщиков и получив себе в регуляции и обложении своего извечного промысла значительное препятствие к ведению дела прежним порядком, совсем забросили его и обнищали больше прежнего. Только и утешения осталось им что кабаки их просветителя.

Тамара попала в Пропойск уже после окон-

чательной ликвидации попыток оживления, так что на ее долю пришлось только слышать крестьянские жалобы и ругань по адресу всех этих земских «оживителей». Нашла она тут и церковь, но церковь пустующую, вечно запертую на замок, и даже с заколоченными окнами, чтоб меньше соблазна было для святотатцев, так как при ней теперь не имелось и сторожа. Эта несчастная церковь, древней постройки, с шатровым куполом, после нескольких столетий свершаемого в ней богослужения, попала канцелярским порядком «под упразднение» постигшее ее в известный период сокращения числа приходов, ввиду особенных забот об улучшении быта сельского духовенства. Крестьяне пропойские по этому случаю были приписаны тогда к соседнему приходу, за семь верст от своего села, куда ходить им было совсем неудобно. Подняли было они по этому поводу особое мирское ходатайство — пощадить, не упразднить их древний храм, снарядили ходоков с прошением в свой губернский город и даже в Питер; но все это было втуне. Ходоки ни тут, ни там ничего не добились, потому-де упразднение совершено

из высших соображений, каковые не их ума дело, — и пропойские мужики, в конце концов, почти совсем перестали ходить в церковь, за дальностью. Зато необычайно процвел у них на селе кабак Агрономского, единственно оставшийся от этого в положительном выигрыше.

Школу пропойскую нашла Тамара в ужасном состоянии, которое особенно сказалось впоследствии, когда настало зимнее время. Помещалась эта школа в наемном «летнике», то есть в летнем отделении крестьянской избы, где поэтому не было никакой печи, так что воздух зимою согревался там лишь естественною теплотою самих учащихся и вечно был сперт и удушлив до невозможности. Тонкобревенчатые стены летника промерзали насквозь и стояли покрытые внутри помещения матовым налетом инея. На трех маленьких подслеповатых окнах — вечные ледяные сосульки и заметы снега, набившегося в скважины окон. А в ростепель с отсырелых стен и с подоконников текут, бывало, ручьи и отовсюду каплет; пол весь в грязи и в лужах; свету мало, теснота и духота страшная; в три ча-

са дня читать с детьми уже невозможно от темноты, а плохая керосиновая лампочка-жестянка на стене больше коптит, чем светит. У детей во время класса непрерывный кашель, чиханье и сморканье, — просто сердце надрывалось у Тамары, глядя на этих несчастных полубольных ребятишек в плохой одежонке, в дырявых и намокших сапожишках. Эта жалкая школа в позднюю осень и зимою была вечным рассадником кори, скарлатины, коклюша и чесотки, которыми дети заражались друг от друга. Много пришлось Тамаре на первых же порах хлопотать насчет ремонта и упрашивать пропойских мужиков, чтобы они сообща улучшили как-нибудь школьное помещение, хоть печку железную согласились бы поставить, что-ли, да рамы переменить в окнах.

— Э, матушка, живете и так! — беззаботно отвечали ей на все ее просьбы на сельском сходе. — Чай, и дело-то ваше не больно велико. В книжку-то читать — это ведь не рожь молотить.

— Нечего, ей делать-то, так и выдумывает, сидя на месте! — ворчали вслух другие.

— Да ведь не за себя хлопочу, — возражает им учительница. — О ваших же детях забочусь.

— Э, матушка, наши детушки ко всему привычливы, им и дома-то, почитай, не лучше! О них не печалуйся: померзнут, да так-вы же будут, им что!..

— Болеют ведь, без угару угорают от духоты одной, глаза впотьмах портят.

— Ну, что ж, — рассудительно возражают ей. — Угар и в каждой избе есть, без угару нельзя. А коли тесно да темно, так вот. подожди, потерпи малость, зима пройдет, весной светло будет, и на дворе заниматься будете, на просторе, а теперь что ж поделаешь, теперь и везде темно!

— Да звери вы, наконец, или люди!? Пожалейте детей своих! — в отчаянии взывала ко сходу Тамара.

Поживи-ка, как мы, по-нашему, — озверешь и ты, как жрать-то нечего... Нам и школа-то ни к чему!.. Нищета одна круглая... Только и осталось, что заколотить избы да дером драть отсюда, — одно разоренье!

Так и не добилась от них Тамара никакого

толку.

По первоначально у пропойских крестьян относительно ее сказалось такое же предубеждение, как и в Горелове, в первое время. До сих пор к ним только «ссылали» учителей за пьянство и другие «художества», так что мужики привыкли уже относиться к ним, как к шелопаям, вздорщикам или сутягам, а тут вдруг прислали «барышню». Неужто и эта из таковских же? И по ее наружности, и по манере держать себя, они видели в ней лицо совершенно другого, чуждого им мира, да к тому же еще еврейку. Слухи о ее происхождении успели уже и сюда проникнуть какими-то судьбами. Поэтому крестьяне держали себя как-то поодаль от нее, сдержанно и недоверчиво, даже детей своих посылали в школу весьма неохотно. — «Вы-де — барышня, и к тому же будете из жидов, Бог вас там знает, как и чему еще учите!» У нее поневоле опускались от этого руки, и порою просто отчаяние брало. Начинай, значит, и здесь опять сначала и старайся заслуживать себе их доверие, сломить их предубеждение против себя, а легко ли это; особенно, как вгля-

дишься в окружающую жизнь!..

Скука страшная, круглое одиночество, читать нечего, — кроме трепанных учебников, книг и газет никаких. Что делается в Божьем мире, — ничего не знаешь, и вести о том получить не от кого, даже слова сказать не с кем, кроме как со своею хозяйкой бобылкой. Во всей ближайшей округе нет человека, с которым можно бы было поговорить по-человечески, мыслью своею поделиться, душу свою облегчить.

Явился к ней как-то, по окончании утренних занятий в школе, местный урядник, из бабьегонских мещан, случившийся проездом в Пропойске. — Здравствуйте! — говорит ей и пытливо оглядывается вокруг по верхам, углам и полкам, точно бы осматривает, или ищет чего-то.

— Здравствуйте, — отвечает она ему. — Что прикажете?

— А вот, собственно, зашел к вам посмотреть, как это у вас тово... чем вы занимаетесь, и прочее...

А сам все продолжает осматриваться.

— Мои занятия известны, учу в школе.

— Так-с; иначе ж, я должен подзирать за вами.

— То есть, как это подзирать? зачем? — в недоумении оглядела его Тамара.

— А затем, что... известно, как насчет пропаганды и прокламаций.

— Я этим не занимаюсь, — улыбнулась она. — Вы напрасно так думаете.

— Мало ли что!.. Хоша и не занимаетесь, а все же я могу у вас и обыск сделать.

— Если вам это нужно, — пожалуйста, я не имею ничего против.

— То-то вот, сами знаете, какие ноне времена.

— Совершенно понимаю, и потому несколько не буду на вас в претензии. Мои вещи все налицо, вот они. Только, ведь... по закону, кажется, при этом свидетели нужны?

Урядник, вместо ответа на последний вопрос, преспокойно уселся на лавку и, не торопясь достал из кармана пачку папирос и спички.

— Папироску позвольте выкурить?

— Курите.

Выкурил молча одну, — зажигает другую.

Тамара ждет, что будет дальше, — ничего, сидит и курит.

— Послушайте, однако, — решила, наконец, она заметить. — Если вам нужно сделать обыск, так делайте; а то ведь, согласитесь, это... довольно стеснительно.

Тот молчит и курит, сосредоточенно пыхтя и глядя на тлеющий пепел папироски. Так прошло с минуту. Он ни гу-гу, и она ни слова, только вопросительно глядит на него во все глаза, с возрастающим недоумением.

— Послушайте, что же вам надо, наконец? Чего вы здесь сидите?

— Я-то?.. А для подозрительности. Ведь сказано вам, подзирать должен я.

— И долго это будет продолжаться?

— Сколько потребуемцы, — это уж начальство знает.

— Но в чем же я виновата? За что все это, объясните, пожалуйста?..

— Не можем знать, — про то начальство знает.

— Да что ж это, послал вас кто сюда, что ли?

— Это уж не ваше дело.

Тамара, как пойманный в клетку зверек, начинает нервно ходить по комнате, похрустывая от внутренней ажитации пальцами потираемых рук.

Прошло минут с десять. Урядник стал, наконец, кряхтеть и поеживаться.

— Чтой-то, сиверко ноне как, — заговорил он наконец. — Индо нутро все прозябло... Вот, кабы рюмочку кто поднес — спасибо сказал бы.

Тамара остановилась на секунду, поглядела на него с удивлением, но не сказала ничего и опять заходила по комнате.

— Хозяюшка!., а, хозяйюшка! — обратился он к выглядывавшей из-за двери бабе-бобылке. — Слышь-ка, нет ли у тебя рюмашки?., ась?

— Чево-о? — отозвалась та, — каку те, сударь, рюмашку?

— Очистительной, значит, нутро всполоснуть.

— Чтой ты, Христос с тобой! — совестливо попеняла она ему — мы дома не держим, да нам и непошто. — Мы не пьюция.

— А послать бы малость... нетто нельзя?..

Сороковушечку? Ась?.

— И, батюшка, где мне взять!.. Я человек не капитальный, мое дело бобылье, — где уж!..

— А может, госпожа вот, — подмигнул он на Тамару, — не соблаговолит ли начальству на сороковку пожертвовать?.. Поднесли бы, право... не согрешили бы.

— Вы хотите выпить? — спросила его прямо Тамара.

— Ежели милость ваша будет, оно точно-что... желательно бы.

— Извольте, я вам дам, — согласилась она, — но с тем, чтобы вы сейчас же ушли отсюда и больше не возвращались. На таком условии угодно?

— Покорнейше благодарим, — любезно ухмыльнулся урядник, — чувствительно-с!.. И мы завсягды к вам, ежели что такое, со всем нашим уважением, — будьте, значит, покойны-с.

— Хорошо, но только скажите мне откровенно, кто и зачем послал вас ко мне?

— Секрет-с, не могу выразить, — полусмущенно улыбаясь, потупил взоры урядник.

— Однако?.. Я никому не скажу, но мне бы хотелось знать, кому я обязана таким вниманием? и за что собственно?

— Начальство-с... Бумажка, значит, такая, секретная, получена у нас в становой фатере, от начальства вашего, от инспекции, что подозревать, значит, за вами, насчет благонадежности-с.

Для Тамары стало теперь совершенно ясно, что и этою новою каверзой она обязана г-ну Охрименке и, вероятно, не без нравственного участия в ней Агрономского. Ей стало больно и досадно до злости. Мало того, что сослали ее в эту «Сибирь», в труппу, но еще и глумятся, издеваются над нею, лишают ее спокойствия даже и здесь... По какому, наконец, праву отравляют ей жизнь? За что? — за то, что не отдалась Агрономскому? или за то, что не украла в Украинске материнские брильянты для Охрименки на «общее дело»? И эти люди действуют, прикрываясь правительством, и душат ее от имени его же! Господи, да что ж это такое на свете делается?! Что за время настало?! Ведь это жить нельзя!.. И уйти ей от них некуда, — потому тут единственный ку-

сок ее хлеба... Некуда, — разве в одну только могилу.

Получив на водку, убогатворенный урядник удалился, но спустя около недели появился опять у Тамары.

— Вы зачем?.. Что скажете?

— Да все насчет же подозрительности, — подзирать приказано.

— Опять?!

— Всенепременно-с. Приказано наведываться кажинный раз, что бываю в Пропоиском, и доносить. — Что делать, служба-с? И каждый раз урядник получал от нее на «сороковку», а случались эти его наведки почти каждую неделю, так что «сороковки» стали, наконец, ложиться на ее восьмирублевый месячный бюджет весьма чувствительным бременем. Но избавиться от них не было возможности, или, иначе, приходилось выносить у себя в комнате его упорно молчаливое и продолжительное присутствие и дышать воздухом, отравленным его табачищем, луком и сивушным перегаром. — «Какое, однако, мелкое мщение!» думалось при этом девушке, невольно вспоминая об Агрономском и

Охрименке.

Одиночество ее становилось, между тем, все тяжелее. Хоть бы душу с кем отвести, вылить всю накопившуюся в ней горечь и злобу пред живым человеком, — все же, казалось ей, легче бы стало от этого. Хоть побранить бы этих негодяев, рассказать добрым людям, каковы они, — и то уже было бы утешением. А может быть, нашлись бы добрые души, которые приняли бы в ней участие, дали бы какой-нибудь практический совет, как ей избавиться от этой каторги, помогли бы ей своим содействием. Но никого такого нет поблизости, — не даром же это «медвежий угол». К приходскому священнику разве? — и то правда, — почему бы нет? Может быть, и в нем она встретит такую же отзывчивость как некогда в отце Макарие и в отце Никандре. И вот, в одно из воскресений порядила она себе подводу и поехала к обедне. Но и тут постигло ее, с первого же шага, некоторое разочарование. Священник человек еще молодой, но служит не так истово, как отец Никандр, и уж совсем не так благоговейно и умирительно, как отец Макарий, а как-то ordinarily, точно бы

торопится сбыть поскорей свою повинность. Представясь ему после обедни, на паперти, в качестве учительницы Пропойской школы, она встретила с его стороны взгляд, исполненный какого-то недоверчивого удивления и любопытства.

— Из Пропойской? — как-то озадаченно проговорил он. — Вот как!.. Не ожидал!

— Отчего же не ожидали, батюшка?.. Я, напротив, очень желала познакомиться с вами и с вашим семейством.

— Благодарю покорно, — приподнял он с поклоном свою шляпу, — но все же странно-с... что из Пропойской... Да, да, — не ожидал... Гм!., скажите пожалуйста!

— То есть, что же вам странно, батюшка? — в недоумении спросила Тамара, начиная уже несколько смущаться всеми этими словами.

— Мне-то?.. Да то и странно, что в Пропойск могли назначить особу вашего пола... Не ожидал... За что ж это вас так-то?

Тамара объяснила, что сделано это по распоряжению нового инспектора.

— А, так?.. Ну, это другое дело!.. А то я поду-

мал-было, извините, тово... Потому у нас ни разу еще не случилось, чтобы дамский пол по учебному сословию в Пропойск посылали. Значит, поднять желают школу? — Что ж, это хорошо, не мешает.

И как-то помявшись, точно бы раздумывая в нерешительности, сделать ли, не сделать ли ему чего-то, он наконец решился — была-не-была — и пригласил Тамару зайти к себе, но сделал это словно бы только приличия ради, а не от сердца. — Может быть, зайти ко мне пожелаете?.. Что ж, милости прошу, — с супругой познакомитесь...

Зашла и познакомилась. Но «супруга» ей не понравилась: стриженная, желтая, и все папироски, одну за другою, палит наотмашь, сидя с поджатой под себя ногою. А главное, держала она себя с гостьей больно уж натянуто, точно бы настороже, недоброжелательно как-то оглядывая искоса ее прическу и безукоризненно сшитое, ловко сидящее на ней платье, и глядела на нее все время с таким подозрительным выражением, которое чуть не говорило: и на кои черт тебя принесла сюда нелегкая? чего тебе от нас надо?

Невольнo чувствуя это и желая оправдать перед нею свой визит, Тамара заговорила с батюшкой, что ученики ее нуждаются в преподавании им закона Божия и что поэтому она нарочно приехала, между прочим, и затем, чтоб условиться с ним, по каким дням и в какие часы предполагает он посещать ее школу. Но за м^лжа своего ответила ей супруга, а сам батюшка только улыбуался, потирая себе руки/с каким-то не то смущенным, не то извиняющимся видом, да переминался с ноги на ногу, все время не присев даже ни разу. Очевидно, в этом доме царицей была сама «матушка», и грозною притом царицей.

— Школу? — как-то нараспев и подфыркивая переспросила она. — Да позвольте, с чего же это станет он убиваться, когда земство всего по тридцати копеек за годовой час предлагает! Было б из-за чего время и труд свой тратить!

Опешенная таким ответом, Тамара даже смешалась на минуту и скромно пояснила, что сочла себя вправе спросить об этом на основании того, что батюшка числится в Пропойской школе преподавателем закона Бо-

жия.

— Ну да, еще бы! Не было ему печали за семь верст ездить киселя хлебать! Так я и позволила!.. Пускай платят — ну, хоть по шести-десяти копеек за час, тогда будем ездить, а так — благодарю покорно.

— Да, но кто ж тогда будет учить их слову Божию?

— Кто хочет, нам-то что!.. Желают учиться, пускай и платят за это, пусть от себя доплачивают половину.

Тамара заметила, что это очень затруднительно, так как крестьяне пропойские очень бедны, обременены недоимками, разорены разными земскими предприятиями, и платить им решительно не из чего.

— А в кабак ходить есть на что?

— Да, но вот потому-то именно и надо бы, мне кажется, подумать об их нравственном и религиозном просвещении, — ведь это же прямая обязанность их пастырей.

— Пастырей? — полупрезрительно подфырнула «матушка». — Полноте, пожалуйста! Неужели в наше время можно серьезно говорить о таких глупостях, да еще аргументиро-

вать ими?! Какие же мы пастыри?.. Позвольте вас спросить, разве правительство позволяет «пастырям» свободное слово с кафедры? Разве у нас можно объяснять социально-демократическое значение личности Христа и его пропаганды, так, как понимает их современная наука, в лице Страуса, Ренана и прочих авторитетов;.. Пастыри!.. Чиновники по духовным требам, — с этим, если угодно, я согласна. А пастырство, апостольство, миссионерство по указке самодержавия, — извините, я нахожу, что у людей мыслящих вся эта метафизика давно уже отжила и сдана в архив. Почитайте-ка Бокля, Писарева, Ткачева, Зайцева, и вы увидите, что русский народ гораздо умнее и практичнее, чем думают, и он уже настолько понимает, что не делает никакого различия между «пастырем» и становым, например.

Тамара подняла на нее большие удивленные глаза.

— Да, разумеется, — продолжала завзятая попадья. — Становой функционирует в сфере своих обязанностей так же, как мой муж функционирует в сфере своих («функциони-

рует» — эго словечко какое! — с невольною улыбкой про себя подумалось Тамаре). Вся разница между ними разве в том, что функции господина станового оплачены правительством гораздо лучше, чем функция моего мужа, — вот и только!

После этого Тамара увидела, что делать ей тут нечего и потому поспешила сократить свой первый визит, о котором решила себе, что он же будет и последним.

Видит она, однако, что дети ни о заповедях, ни о литургии, ни о священной истории понятия не имеют, даже необходимых молитв, по большей части, не знают, или же путают их и коверкают глова до невозможности. А между тем, от родителей и здесь, как в Горелове, приходится ей, то и дело, выслушивать сетования на это и желания, чтобы детей учили цервее всего закону Божию, а не побаскам, и чтобы на дом уроки чтения задавались им более из книг церковно-славянских, чем какие-нибудь «пустые сказки», под именем которых крестьяне разумеют все вообще статьи не духовного содержания в учебниках. В то же время и некоторые из мальчи-

ков заявляют ей, что им отцы не велят учить дома стихов и басен, а заставляют учить псалтырь, и что если они и выучивают светские стихи, то это втайне от родителей. И сами родители, наконец, выражают ей свой ропот: что ж это за учение, если детей даже молитвам не учат! Им-де такого учения, как у вас в школе, не надо; лучше-де совсем не посылать ребят в школу, чем так-то!

Что тут ей делать? Ведь они правы, эти крестьянские отцы и матери. Неужели же оставлять и дальше их несчастных детей расти вне понятия о законе Божиим, не научить их молитвам и заповедям? — подумала она, да и решила себе по голосу собственной совести, что так нельзя, что если некому преподавать им закон Божий, так она сама будет учить ему — и благословясь приступила к делу. Дело пошло было на лад, и родители, и дети были довольны; но тут приезжает вдруг ревизовать свои кабаки Апрономский и, как земский член училищного совета, счел себя обязанным обревизовать заодно и школу. Явился он совершенно неожиданно и, к удивлению Тамары, такую лисою патрикеевной,

таким приветливым и мягким, как бывало, в первое время в Горелове, словно бы между ним и ею никогда не существовало никаких неприятностей. Он осведомился даже, хорошо ли она устроилась на новом месте и каково ей тут живется, не нужно ли чего, — скажите, мол, откровенно, я от души готов, чем могу, посодействовать. Но Тамара, зная уже по опыту, каково может быть «содействие» г-на Агрономского, холодно и кратко поблагодарила его, прибавив, что ей ничего не нужно.

— Будто уж так всем довольны?! — удивленно спросил он с лисьей улыбочкой.

— Я ни на что и никому не жаловалась, — безразлично проговорила девушка.

— Да, но все же... Впрочем, как знаете! — саркастически извиняющимся образом пожал он плечами, с легким полупоклоном. — Я, со своей стороны, счел только долгом спросить и... готов был служить; но... конечно... если не желаете, — это уж ваше дело... Как угодно-с.

— Благодарю вас покорно, — еще раз повторила она тем же холодным тоном. — Ну-с, а чем же теперь изволите вы заниматься с

детками? Могу я послушать? — спросил он с отменно галантным видом: дескать, сам — я не смею, но если позволите, — и получил в ответ, что занимаются они законом Божиим.

— Очень хорошо-с. А кто же преподает им закон Божий?

— Я сама, — ответила Тамара.

— Вы сами? — удивился он. — То есть, как же это?

— По краткому катихизису и по руководству протоиерея Соколова.

— Нет, я не про то, — пояснил он свою мысль, — я спрашиваю, почему именно вы сами?

— Потому что некому больше.

— Да, но с чьего же это разрешения?

— Ни с чьего, — надо же кому-нибудь учить.

— Хм!.. Конечно, но... мне кажется, это вы тово-с... не совсем осторожно, оез разрешения нельзя, — разве вам не известно?

— Да, но если нет законоучителя?..

— А, это уже на наше дело входить в обсуждение высших распоряжений. Впрочем, лично я ничего не имею против, пожалуйста,

не думайте, — поспешил он оговориться, как бы умывая руки, — мое дело сторона, я только так... полюбопытствовал, не больше.

«Ну, наверное надо ждать теперь какой-нибудь новой каверзы» — подумала себе Тамара по отъезде Агрономского. И действительно, прошло не более десяти-двенадцати, дней, как от Охрименки пришел к ней формальный запрос, на бланке и за надлежащим №9, — на каком-де основании и с чьего разрешения она позволяет себе вторгаться в сферу преподавания таких предметов, которые, по существующему положению, учительницам сельских школ не предоставлены? Поставляя это строго на вид г-же учительнице Пропойской школы, инспектор в той же своей бумаге внушительно предлагал ей «воздержаться на будущее время как от чтения ученикам, так и от объяснения им предметов, превышающих степень ее компетенции, тем более, что преподавание таковых законов предоставляет исключительно лишь священно и церковно-служителям».

«Вот и каверза»! — с горькой усмешкой подумала Тамара. «Значит, не смей больше

учить,! — пускай несчастные дети растут, как зверята, без понятия о Боге, без религиозного воспитания... Не смей даже читать им священную историю!.. Дело!»! — О чем бумага-то? — спросил ее сельский староста, передав пакет, присланный через волостное правление.

— Чтоб не учить больше закону Божию, — ответила ему девушка.

— Ну?! — недоверчиво воскликнул он. — Шутишь, подичай! Как не учить? почему так?

— А так. Не приказано, и все тут.

— Кто не приказывает?

— Инспектор.

— Врё?

— Не веришь, — читай сам.

И она передала старосте бумагу. Тот недоверчиво повертел ее в руках и, отдалив против света на достаточное расстояние от глаз, стал наморщась разбирать про себя ее строки.

— Не явственно! — проговорил он, наконец, потрянув головой и очевидно не поняв канцелярского смысла мудреных слов. — Про закон чево-то говорятся, точно-что, а что — Бог яво ведает, — не разберешь!

— А то и говорится, — объяснила ему Тамара, — что сельские учительницы, по закону, не имеют права учить ребят закону Божию.

Староста с недоверием уставился на нее удивленными глазами.

— Да нешто есть такой закон?

— Значит, есть, когда в бумаге пишут.

— Чудно... яй-Богу, чудно!.. Попа убрали, церковь заколотили, закону не учи, — да что ж это, в сам-дсле, на смех, что ли?!

Тамара только плечами пожала, — не знаю, мол.

— Да не-ет, слышь, это что-нибудь не так... а?.. Ты мне толком скажи-ка?

— Так, по крайней мерс, инспектор объясняет, — заметила она. — Ну, и требует, — что ж тут поделаешь!

— Ишпехтырь?.. по закону?.. Н-да-а! — в сомнительном раздумьи опять мотнул он головою. — Это выходит по пословице по нашей — по мужицкой, значит — закон что дышло: куда повернул, туда и вышло.

— Видно, что так, — согласилась с ним Тамара, которой при этом пришло на мысль, что и в самом деле, для таких господ, как

Охрименко с Агрономским, закон всегда что дышло, которое они умеют, когда им нужно, поворачивать в свою сторону. Но, как бы то ни было, а преподавание закона Божия пришлось ей прекратить, сколько ни роптали на это крестьяне. Нравственной поддержки, какая прежде являлась ей в лице отца Макария, здесь у нее не было, а восьмирублевое жалованье служило единственным источником для существования. Лишиться места, — и что же тогда?.. Куда?

XXII. В ЖЕЛТОГОРСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Однажды утром, в ноябре месяце, в метель и стужу, с трудом пробираясь из своей избы в школу по глубоким сугробам снега, переметшим всю улицу, Тамара простудилась не на шутку. Она и до этого раза чувствовала себя уже не совсем здоровой, насморк да кашель, но все думала: пройдет! А тут вдруг ее и совсем прихватило. Еще во время урока почувствовала она лихорадочное недомогание, потягу и тяжесть в голове, ко сну все клонило; однако же, кое-как перемогала себя до конца занятий. Домой пришлось возвращаться по тем же сугробам и по такой же погоде. «Я-то что, — думалось ей, — а вот бедные дети — им каково, в плохой одежонке!» — И ей казалось, что если дети терпят и выносят такую непогоду и все-таки бредут в школу, так ей-то и подавно надо. Ведь завтра, несмотря ни на какую погоду они все-таки придут и будут ждать ее, — значит, нежиться ей не приходится, а надо дома выпить чего-нибудь теп-

лого, потогонного, чтобы согреться, да укутаться получше, и — даст Бог, назавтра все кончится. Но к вечеру сделалось ей так плохо, что и совсем слегла. Страшная головная боль и ломота во всех членах не позволили ей на следующее утро встать с постели. Как ни сожестно, а пришлось послать отказ в школу, чтобы дети не ждали ее понапрасну. Чувствуя, что с нею начинается что-то серьезно нехорошее, она сознавала полное свое бессилие бороться в своей домашней обстановке против болезни, как и полное отсутствие способов и средств для лечения. Что с ней такое, — она и сама не знает. Никогда еще так скверно не бывало. И хозяйка тоже не знает; головой только жалостливо качает да в баньке испариться советует, а то предлагает знахарку позвать, — знахарка-дс на воду пошепчет да четверговой соли в нее намешает, даст испить, и все как рукой снимет. Пришли две соседки, позванные бобылкой на совет, но и эти только соболезнуют; одна советует зажечь кудель в горшке да на живот его поставить, чтобы все нутро в него втянуло, другая рекомендует ту же баньку, но с тем чтобы по-

парившись вываляться нагишом в чистом снеге, на дворе, и опять, значит, в баньку. Слушает их Тамара и ценит в душе это доброе, простое участие, но советам последовать не решается, — где уж ей!.. Может быть, средства и хороши, да не по ее натуре. А болезнь, между тем, разыгрывается своим порядком и все больше забирает над нею свою силу. Что тут делать? К кому и куда обратиться за настоящею помощью? Вокруг, кроме этих баб, — никого из близких, кто бы мог и захотел принять в ней разумное участие. Уведомить разве отца Макария, который взял с нее слово писать сейчас же, если с ней что случится. И в самом деле, это одно, что остается. Поэтому, дорожа временем, пока она еще в памяти, девушка собрала все свои силы, чтобы написать карандашом на листке бумаги несколько слов отцу Макарию о своей беспомощной болезни, прося его и отца Никандра, если возможно, прислать ей доктора. Хозяйка, по ее просьбе, сбегала за старостой. Добрый человек — спасибо — не замедлил явиться, и Тамара попросила его отправить ее записку с нарочным в Горелово, к «батюшкам». Старо-

ста вскоре привел к ней охочего мужика, который согласился за рубль да за две сороковки водки «на дорожку» сейчас же отвезти письмо по назначению. К вечеру стало ей еще хуже: та же ломота и, вдобавок, сильный жар, доводивший ее по временам до беспамятства и бреда.

Получив записку Тамары, вся семья отца Макария всполошилась. — Скорей, скорей, не запоздать бы! — «Матушка» Анна Макарьевна собрала ей в узелок чаю, сахару, булок домашних, бутылку густого клюквенного морса для питья, склянку уксуса для примочки, и еще, и еще чего-то; старик отец Макарий присоединил к этому несколько медикаментов из своей домашней аптечки, а отец Никандр сейчас же снарядил свои сани, приладил к ним взятую с почты кибитку с цыновочным козырем и фартуками для защиты от ветра и с меховою полостью ради тепла, велел батраку запрягать пару своих лошадей и сам немедленно собрался в дорогу, решив заехать по пути за доктором. На следующий день утром он был уже в Пропойске и привез с собою врача. Этот последний, осмотрев боль-

ную, нашел у нее, по-видимому, начало тифа и высказал батюшке, что оставаться ей в такой обстановке немыслимо, а надо сейчас же везти ее в земскую больницу. — Куда же, однако? в какую? в Бабьегонск — далеко; к нему, в приемный покой, — но там нет такого помещения, там только одна комната для амбулаторных; а ближе всего, по мнению доктора, в Желтого рек, — тридцать верст не велико расстояние, а зато там какая ни на есть, да все-таки больница земская, есть постоянный врач, есть уход и средства, и все такое, в чем может встретиться надобность; и больная, наконец, имеет право лечь в эту больницу, как служащая в земстве. Отец Никандр предложил было отвезти ее к себе в Горелово, но Тамара постеснялась, зная, что у батюшки нет лишней комнаты, и присутствие больной крайне стеснило бы всю их семью, да и доктор к тому же нашел, что Горелово тоже не ближний конец, и врача там нет, ни аптеки поблизости, — все равно врачу пришлось бы ездить туда, а этого невозможно делать часто: и без того в участке масса больных, каждый день он в разъездах, — поспевай только из од-

ной деревни в другую! — «Нет, уж как хотите, а самое удобное будет в Желтогорск. Одеть по-теплее, закутать хорошенько, — у вас к тому же удобная кибитка, чуть не целый возок, — я дам записку к тамошнему врачу, чтобы принял, и везите сегодня же. выкормите вот лошадок, и с Богом!»— Так они и порешили, тем более, что сама Тамара нашла, что, действительно, ей лучше всего было бы лечь в Желтогорскую больницу: у нее там знакомая фельдшерица, — Любушка Кучаева, с которой она и на войне вместе в «сестрах» была, и в Бабьегонск вместе на службу приехала, — там, по всей вероятности, ей будет недурно.

Оказав больной предварительную помощь, доктор уехал на очередной обывательской подводе восвояси, а отец Никандр, дав отдохнуть лошадям, повез укутанную в два овчинных тулупа Тамару в Желтогорск, — заштатный городишко Бабьегонского уезда.

* * *

Задумало как-то земство устроить в Желтогорске больницу. Для этого оно, прежде всего прочего, завело необходимый штатный персонал будущей больницы, в лице врача, аку-

шерки, фельдшерицы, фельдшера, провизора и смотрителя, причем трое последних, определенных по протекции Агрономского, оказались, по обыкновению, из жидков. Тем временем управа, прикинув предварительно на глаз, что все устройство больницы, вместе с постройкой «хозяйственным способом», обойдется земству не свыше полутора тысяч рублей, уполномочила своих членов, Ермолая Касьянова Передернина и г. Семиокова, заняться специально этим делом, в качестве «строителей и наблюдающих за постройкой». Эти двое сейчас приглядели старый помещицкий дом, сторговали его на снос, перенесли весь разобранный строительный матерьял на чужую землю, принадлежавшую, в качестве пустопорожного места какому-то желтогорскому обывателю, и, не стесняясь этим обстоятельством, начали строить. Земское собрание, умиляясь такою дешевизной «хозяйственного способа», сейчас же разрешило кредит на затраченную уже сумму, утвердило Передернина с Семиоковым в качестве уполномоченных строителей и наблюдателей и, в заключение, благодарило управу. Таким обра-

зом, в один прекрасный день, на вновь отстроенном из старого материала здании, появилась свеженькая, блестящая вывеска: «Желтогорская Земская Больница», за что собрание опять выразило управе и ее «уполномоченным» свою признательность. Сейчас же, конечно, отпраздновали открытие, с кулебякой и шампанским, послали об этом событии хвалебные телеграммы и корреспонденции в либеральные газеты обеих столиц и расписали всю эту операцию в земском своем «отчете», как некий высокий подвиг на пользу страждущего человечества. Но не прошло и трех месяцев, как оказалось, что хваленая постройка никуда не годится и надо ее перестраивать, а перестройку меньше как за три тысячи рублей не сделаешь. Экстренно созванное по этому поводу земское собрание очень удивилось, но, вслед за своими вожаками, согласилось на отпуск просимых управою денег. Больницу кое-что подправили, где перестроили, где достроили, новою краскою подмазали, — блестит! И земское собрание опять выражает свою признательность управе и ее «уполномоченным». А на следующий год

опять та же история: здание-де не проконопачено, — продувает, надо стены обить тесом снаружи и отштукатурить изнутри, сделать железные скрепления в стропилах и т. д., и на все на это требуется опять не менее трех тысяч рублей; да кроме того, надо выстроить флигель под квартиры для «штатного персонала служащих», которым иначе жить негде, — и все это под страхом, что владелец пустопорожнего места попросит в один прекрасный день снести с его земли больницу, или заломит за место такую ценищу, что у земцев, лишь при одной мысли об этом, уже заранее начинают затылки чесаться. Тем не менее, собрание решило, что сколь ни дико такое положение, но земству не остается ничего другого, как достраивать и ремонтировать свой «санаториум». Поэтому опять убухали три тысячи, не считая того, во что обошелся отдельный флигель, опять разослали в «сочувственные» газеты блестящие корреспонденции и, конечно, опять «единогласно» благодарили Ермолая Касьянова с Семиоковым. Но прошел год, и управа докладывала очередному собранию, что больница хотя и обши-

та тесом, однако же холод в ней чрез это не устранен, и «вопрос» об этой постройке остается-де «по-прежнему открытым»; больница построена-де из старого материала и потому, уже по ветхости самого здания, не могла быть удобною для лечебного заведения: объем комнат мал и неудобен, окна все худы, и редкое можно отворить летом без того, чтобы не вывалилась рама; баня выстроена отдельно от здания, и больные могут пользоваться ею только летом, так как зимою в ней вода на полу мерзнет, — словом, недостатков в больнице масса, а достоинство одно: отличная вентиляция — через стены, и в довершение всего, управа не имеет-де возможности принять какие-либо серьезные меры для приобретения находящейся под больницею чужой земли.

Собрание выражает надежду, что управа постарается изыскать эту возможность и опять разрешает ей отпустить «уполномоченным» три тысячи рублей на необходимый ремонт здания. Проходит еще год, и управа опять докладывает собранию, что «немало было потрачено ею сил. энергии и благих по-

желаний» (главное, «благих пожеланий!») на ремонт этой, постройки, и тем не менее, по толки ее грозят обрушением, в крыше течь во множестве мест, «стены имеют движение», печи расстроены, холод изрядный, а потому необходим-де новый ремонт, и перестройка больницы обойдется приблизительно до трех с половиною тысяч. Покорное большинство баранов земского собрания и на сей раз утвердило представление управы. Таким образом, тянулась эта земско-управская «сказка про белого бычка» в течение многих лет, к особому удовольствию Ермолая Касьянова и Пьеро Семиокова. неукоснительно получавших к тому же каждый раз от собрания «выражение признательности и благодарности». Но вот, после долгих лет, чужая земля под больницей была наконец приобретена, чуть не за десятерную цену, в собственность земства, и по этому поводу управа предложила собранию переделать больницу заново, на что-де потребуется кредит, в размере, приблизительно, 4.300 рублей. Собрание опять согласилось и заранее уже благодарило «уполномоченных» за их «готовность» и на сей раз

послужить своим трудом и опытностью на пользу земского дела. А на следующий год желтогорский земский врач в отчете своем докладывал собранию, что лечебница, переведенная в новое помещение, стала в эту зиму, как и нужно было ожидать, еще хуже, нежели была прежде: воздух в ней, несмотря на устроенную вентиляцию, до невозможности плох, потому что стены этого старого, перестроенного здания давно уже успели впитать в себя всевозможные больничные запахи, а с ними и миазмы, благодаря чему, конечно, и появились знакомые уже по прежней лечебнице — рожи, пиемия и случаи заражения тифом в самой больнице. Многие больные только поэтому не могли-де быть принимаемы, другие же болезни затягивались в своем лечении, и вообще, лечебница настолько-де плоха, что существование в ней еще одну зиму становится решительно невозможным. Как только пойдут, бывало, дожди, ветра и холода, в больнице начинается борьба с этими врагами. Везде дует, любой паз стены до того дурно проконопачен, что свободно выпускает палец и отклоняет пламя свечи или

дым папиросы; больные тщетно ищут такого места, где бы не дуло, и не находя покидают лечебницу, — «но мы-де усердно топим, и холод не так чувствителен»; ветер же хотя и свободно гуляет по всем палатам, — «но это способствует вентиляции здания и пока еще терпеть можно»; больные не вылезают из-под собственных шуб и полушубков, которые врач поневоле должен им оставлять «против правил». Когда же к холоду и ветру присовокупляется еще новый враг — продолжительный или проливной дождь, то в палатах нужно ставить ванны и тазы для сбора дождевой воды, льющейся сквозь потолки; кровати сдвигаются со своих мест, чтобы не мочило лежащих на них больных, и врач, совершая свои визитации, должен искусно лавировать между сдвинутыми койками и капелью. Оказывается, что крыша никуда не годна и требует капитальной перестройки. Однажды, после обеда, когда больные отдыхали, вдруг загремели стены и потолок, и сверху посыпалась-земля, песок и мусор. Больные, кто только мог, вскочили и бросились вон, остальные же лежали и ждали себе конца: но, к счастью,

дело на этот раз ограничилось тем, что из средней палаты выперло три бревна в угловую, а в угловой три же соответственные бревна — на улицу. Две недели, пока управа не исправила повреждений, врач с опаской ходил по стенке, а больные кучились на сдвинутых койках по углам, в местах относительно более безопасных. Но вот, наступила зима, и в больнице стало возможно с успехом морозить волков; температура в палатах падала до нуля и ниже, в аптеке стыли масла, а в приемной врача из-за лютого холода нельзя было заниматься приемом больных. Кроме того, все печи растрескались от усиленной топки, и потому каждый раз, пока не разгорятся дрова, во все печные щели начинало дымить, и в палатах свету Божьего не было видно. Больничного хозяйства не было, существовал, правда, подрядчик, но без контракта и без всякого даже условия, который поэтому и поставлял припасы — какие и когда ему угодно, выводя, вместе со смотрителем и провизором, за все, про все «аптекаарские цены», а больным есть было почти нечего, погреться негде и нечем, ходить не в чем, так как халаты от

ветхости обратились в дырявые лохмотья, а носильное и постельное белье до того обветшало, что годилось разве на корпию. И за все эти удобства, за содержание в больнице, взималось земством по 57 копеек в сутки с человека, а управа на медицинскую часть в уезде выводила по 20 000 рублей в год в своих отчетах и сметах[6].

В таком-то «образцовом» состоянии находилась эта больница, когда отец Никандр привез в нее Тамару.

С помощью фельдшера и кухонного мужика, внесли больную в приемный покой и дали знать во флигель доктору. Тут сейчас же прибежала и Любушка Кучаева, чуть только узнала, что это учительницу из Пропойска привезли. Она приняла в ней живейшее участие, но не скрыла от священника, что приходит в ужас при мысли, каково это будет Тамаре лежать в таком невозможном помещении, откуда больные просто бегут, чуть лишь есть к тому малейшая возможность, — и вкратце рассказала ему, что это за прелесть их пресловутая Желтогорская лечебница. У отца Никандра и руки опустились. — Что ж теперь делать,

как быть с больною?! Но тут вскоре явился врач, которому он передал письмо от его брата и соседа по земско-медицинскому участку.

— Ну, батюшка, принять-то мы примем, — согласился врач, прочитав записку, но выразил непритворное удивление, как это его коллега решился направить больную к ним в Желтого рек. — Да и вы-то сами разве не знаете, что это за больница?!

Отец Никандр даже сконфузился. Знать-то он знал отчасти, слыхав от других, что не особенно хорошо, но чтоб уж так плохо, как сам теперь видит, — этого он, признаться сказать, и думать не смел; привез же больную потому, что тут всего ближе от Пропойска. — Куда-ж было девать ее! Думал, что как никак, а все же больница, учреждение...

— Да, «учреждение»!.. Мы вот образцовые земские колонии для умалишенных, — это сделайте ваше одолжение, это мы охотно устраиваем, и не иначе, как по Френсису Скотту, по шотландской системе, — для самих себя, должно быть, — а тут простое, самонужнейшее дело, для мужика, — живет и так,

мол, — ну его!

Отец Никандр соглашался, что все это очень горько и прискорбно, но тем не менее, что ж теперь делать с больною? Он уже готов был везти ее к себе в Горелово, — пусть уж лучше у него в семье лежит, хоть помещение не Бог-весть какое, да ничего, как-нибудь потеснимся.

Но тут энергично вступилась Любушка Куцаева:

— Что вы! Как можно! Только-что приехали, да опять чуть не сто верст везти тифозную! Да это оез смерти смерть!.. Ни за что!.. Этого, как хотите, а и я не могу позволить, — она моя товарка, и я уж сама о ней позабочусь!

Доктор, однако, выразил сомнение, что вряд ли ее заботы приведут к чему путному, если температура в женской палате стоит на точке замерзания, а при ветре, и на два ниже нуля бывает.

— В палату?.. Да что вы, Господь с вами! С ума я сошла, что ли! — отмахивалась от его слов Любушка. — К себе положу, в свою комнату, — у нас во флигеле, слава Богу, не проду-

вает.

Врач согласился, что это дело другое, и решил перенести одну из больничных коек с принадлежностями в комнату фельдшерицы, где и была сейчас же уложена Тамара. Теперь отец Никавдр мог уехать домой со спокойным духом, зная, что оставляет ее на надежные руки и в наиболее сносных условиях. При отъезде, он вызвал Любушку в сени и передал ей под секретом десять рублей из своих собственных денег, — все, что мог уделить от себя, при скудости собственных достатков, на нужды больной, — неравно что понадобится. — Только не говорите, что от меня... Не надо.

Любушка устроила Тамару довольно удобно. Стену и пол перед ее постелью затянули и войлочными кошмами и заслонили кровать от дверей ширмами, чтобы не дуло; провизор отпустил из аптеки дезинфицирующих средств для постоянного оздоровления воздуха в комнате, и, наконец, Любушка, не будучи в состоянии, по обязанностям своей службы, безотлучно проводить все время подле Тамары, наняла для ухода за нею в часы своего от-

сутствия особую сиделку «с воли», на что и пригодилась часть денег, оставленных отцом Никандром. Словом, для удобства больной, Любушка, по крайности стеснив самое себя, сделала все, что лишь было в силе ее возможности.

Братски заботливый уход, своевременная медицинская помощь, сносные условия помещения, а главное, молодые силы своей собственной здоровой природы помогли Тамаре перенести тяжелую болезнь благополучно. Только волосы ее стали падать, — надо было поэтому расстаться с ними, с этою чудною кошою, которую она всегда так холила и которую — увы! — пришлось совсем обрезать.

— Ну вот, теперь мы вас в наше «согласие» постригли, — шутила с нею по этому поводу Любушка. — Тоже стриженной барышней ходить будете, как и мы, грешные.

Скучно было больничное питание для поправляющейся Тамары, но добрые люди и тут помогли ей. Сначала на остатки денег, данных отцом Никандром, а потом и на свои собственные маленькие сбережения, Любушка ежедневно покупала ей то курицу для бульо-

на, то свежих яиц, то вина бутылку, не говоря уже о белом хлебе, чае и т. д. Узнав об этом стороною, пожелал и доктор помочь от себя чем можно и стал присылать каждый день от своего стола по порции супа да по котлетке.

«Нет, есть же добрые люди на свете!»— думалось в порыве благодарного чувства Тамаре, которую в душе огорчало одно, что, со своей стороны, она ничем не может отблагодарить их, кроме доброго слова.

Здоровье и силы ее стали восстанавливаться довольно быстро, и она уже подумывала о том, как бы поскорее вернуться к себе домой и вновь приступить к занятиям в школе. Но от этого всячески отговаривала ее Любушка. — Опять к занятиям, опять в ту же школу?! Да ведь это значит идти на риск сейчас же простудиться снова и заболеть чем-нибудь еще хуже тифа! Крупозное воспаление легких получить желаете, а то чахотку?

Доктор также решительно советовал ей отдохнуть, будучи того мнения, что до весны нечего и думать о занятиях, в особенности в таких условиях помещения, какие существуют в Пропойске. Она все это отлично и сама

понимала; но что же однако ей делать и на что рассчитывать? Ведь нельзя же, во-первых, бесконечно стеснять собою Любушку. — Но Любушка об этом и слышать не хочет, уверяя и божась, что это ее не только ни чуточку не стесняет, но напротив, ей даже веселее вдвоем: войну напоминает, Богот, Филиппополь, Сан-Стефано, — там они тоже все вместе жили. Вот бы еще сестру Степаниду, так и совсем бы коммуна их боготская образовалась!

— Хорошо, — соглашается Тамара, — но ведь пребывание на больничном содержании чего-нибудь да стоит; ведь здесь не даровое же пользование, и земство ни в каком случае не сложит с нее поденную плату за лечение.

Но Любушка доказывает ей, что лежит она не в больнице, а у нее, — значит, как бы на частной квартире, и земству нет до этого никакого дела.

— Что ж из того?! — возражает Тамара. — Положим, лежит она не в самом помещении больницы; однако же, пользуется вот и постелью больничною, — занимает, стало быть, чью-нибудь койку, — и помощью врачебною, советами, лекарствами, даже столом, отча-

сти, — ведь за все за это ей, во всяком случае, придется платить те же 57 копеек в сутки, а это, в сложности составит для нее сумму совсем непосильную. И ее серьезно тревожит, — как и чем будешь потом расплачиваться с земством. Но доктор утешает, что ей окажут некоторое снисхождение, — вы-де можете просить управу о скидке с вас известной части с этой платы, так как не пользовались ни пищею, ни уходом больничным. Уход же Любушки и его докторские визиты, — это уже их частное дело, их личная добрая воля. А ей надо только в управу прошение, и тогда управа представит его на рассмотрение очередного земского собрания, а собрание, по всей вероятности, разрешит вопрос в благоприятном смысле.

— Хорошо, пусть даже и так, — продолжает спорить Тамара, — пусть даже скинут ей наполовину, чего однако и ожидать нельзя, но все же и тогда ей не из чего будет заплатить в больницу сразу всю сумму, которая, между тем, с каждым днем ее дальнейшего пребывания здесь, будет расти все больше и больше. Но доктор с Любушкой и на этот счет

успокаивали ее, уверяя, что земство охотно согласится рассрочить взнос этой суммы по частям, ежемесячными маленькими вычетами из ее жалованья. Доктор был так добр, что брался даже лично походатайствовать об этом у председателя и членов управы, представить им все уважительные резоны и проч. — Не истуканы же они какие, и не звери, — войдут, поди-чай, в положение и согласятся!

Все это несколько успокоило Тамару, хотя перспектива вычетов из восьмирублевого жалованья представлялась ей, во всяком случае, очень тяжелою. И без того уже, этого жалованья не хватает на удовлетворение самых необходимых потребностей, так как нередко она бывает вынуждена отказывать себе то в горячей пище, то в лишней чашке чая, то в фунте пшеничного ситника, и сидит целыми вечерами со своею бобылкой при свете лучины, а то и совсем впотьмах, за неимением ни сальной свечи, ни керосина. А если теперь пойдут еще ежемесячные вычеты, что же ей остается из жалованья? — Едва-едва на хлеб насущный, да и на тот-то не всегда хватит, ес-

ли взять в расчет, что нужно еще и одеться, и обуться, а вот от чая, ситника и тому подобной роскоши надолго придется и совсем отказаться. Но это не особенно еще пугало Тамару, — были бы только силы да здоровье! Перспектива долгих лишений, правда, неприятна, но ведь только неприятна, а не невыносима, вынести можно, конечно, и не это еще, — было бы из-за чего выносить-то! Но вот вопрос, — из-за чего?.. И стоит ли?.. Что впереди-то хорошего? Не обманула ли ее жизнь со всех сторон? Или сама она не обманулась ли в жизни?

Из-за чего все это она сделала с собою?

Вопрос этот, полный горечи и разъедающего сомнения, еще в первый раз в жизни предстал ей в такой ясности и цинической наготе.

«...Из-за чего?..

...От одного берега сама отбилась; от другого ее, то и дело, отталкивают, пристать не дают. И в самом деле, что дала ей жизнь, кроме ряда горьких разочарований и нравственных тычков, после того рокового ее шага, в Украинске, в пасхальную ночь, когда она впервые

бросилась Каржолу на шею и вскоре затем ушла с ним в монастырь к матери Серафиме?

...Из-за чего?.. И что ж теперь впереди, в будущем?..»

Но все-таки среди ее сомнений и колебаний, среди этого горького и несколько озлобленного раздумья над самой собою и своею судьбой, которую сама же она себе устроила, ей как будто мелькала еще в смутной дали этого будущего какая-то надежда на что-то лучшее, на что-то, может быть, даже совсем хорошее, светлое. На что именно, — этого и сама она не знала; но это «хорошее» представлялось ей в образе тех хороших людей, с которыми, среди всяких невзгод и жизненных разочарований, все-таки сталкивала ее порою судьба и с которыми, может быть, та же судьба опять сведет ее когда-нибудь в будущем... Вот они проходят перед нею, эти образы, в нити ее воспоминаний: мать Серафима, сестра Степанида, вот Любушка Кучаева — она тоже добрая, ужасно добрая, славная такая! — отец Макарий с его семьею, даже старик сторож Ефимыч... крестьянские матки, солдаты на войне, Атурин... Да, и Атурин! — Атурин, с ко-

горым, по-видимому, все у нее кончено, а тем не менее, образ его все-таки рисуется ей впереди, как луч какой-то смутной надежды, — глупой, детской, ни на чем не основанной, но... все-таки это надежда, какая-то внутренне инстинктивная, ей самой непонятная, но живая... Наконец, еще один образ, — ее дед, старик Бендавид, который когда-то так много и глубоко любил ее, свою единственную внучку... Неужели она никогда никого из них не увидит?.. Неужели так и заглохнуть ей, одинокой и забытой всеми, в этом Пропойске?.. Нет, должно же быть впереди что-нибудь лучшее! Должно! Иначе это было бы несправедливо. Если Бог Израилев мстит до седьмого колена, то бог христианский прощает и говорит: «придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Она христианка, она верует в Бога и потому хочет верить, что все переносимое ею бремя есть не более как временное испытание, — может быть даже спасительное для нее же самой и потому необходимое. Пускай жизнь противоречит этому ее убеждению, но она хочет, хочет и хочет верить, что это так, — верить на-

перекор всему, какова бы ни была окружающая ее действительность. Да, это все преходящее, временное, так только покуда... А жизнь — жизнь еще впереди. Иначе, где смысл жизни? И зачем тогда жить, если не верить?

«Жить?.. и жизнь?» — смутно шепчет ей, в то же время, как будто другой какой-то внутренний, предостерегающий голос. — «Глупая, да разве это о здешней жизни сказано!» — Нет, нет, и о здешней! о здешней тоже! подымается в ней против этого шепота громкий голос ее молодости, который заглушает собою все, потому что молодость эта жаждет еще жизни.

И вот, несмотря на гнет наплывавших на нее порою сомнений и злобы, она все-таки успокаивалась на время душою и мирилась с настоящею своею «покудашнею» жизнью, потому что хотела жить, а хотела потому, что верила еще в жизнь и в добро, и в людей, и в Бога.

— Здоровье ее, между тем, достаточно уже поправилось, и надо было поэтому подумать в самом деле о скорейшем возвращении в

Пропойск. На дворе стоял уже январь вначале, — значит, через несколько дней ребяташки опять соберутся после праздников в школу, а времени для их учения и так уже пропущено много.

Но не успела еще Тамара собраться в дорогу, как получила накануне своего предполагаемого отъезда пакет за печатью уездной земской управы.

Инстинктивно уже ожидая себе с этой стороны мало хорошего, она с невольным волнением в душе вскрыла конверт и принялась за чтение форменной бумаги.

Управа извещала ее, что вследствие ее продолжительной, болезни, г-н участковый инспектор народных училищ, принимая во внимание интересы учеников Пропойской сельской школы, слишком много страдающие от продолжительного отсутствия учительницы, вошел в уездный училищный совет с представлением о немедленном замещении должности этой другим лицом, из имеющихся кандидатов. А потому, поставляя ее в известность о состоявшемся, в утвердительном смысле, решении о сем училищного совета, управа

предлагает ей явиться в присутствие оной, за получением окончательного расчета по день ее увольнения, причем присовокупляет, что в случае ее согласия, управа может иметь ее в виду для определения на должность сельской учительницы впоследствии, на одну из могущих открыться со временем вакансий.

Бумага эта жестоко поразила Тамару. Она усомнилась даже — так ли поняла ее смысл, не ошиблась ли, читая наскоро глазами, — самой себе не поверила, и потому перечла еще раз. — Нет, так; все совершенно ясно. Такого конца она не ожидала. Не то чтобы он никогда не приходил ей в голову, или чтоб она не предвидела его возможности, — нет, имея дело с подобными людьми, надо было всегда ожидать, что рано ли поздно ли они ее выживут, или что сама предпочтешь уйти от них при первом подходящем случае. Но не ожидала она такого конца именно в настоящую минуту: он захватил ее врасплох, совершенно неприготовленною, и ниспроверг все ее предположения и расчеты. Тамара не сомневалась, что если на сей раз относительно ее ничуть не постеснялись даже протекцией Агри-

пины Петровны Миропольцевой, то это потому, что для них явилась возможность спрятаться за спину инспектора и свалить все на него: «Это не мы-де, это инспектор, правительство». — Такова обычная уловка г-д Агрономских.

Итак, значит, конец. Она вышвырнута на улицу и остается не при чем, — без места, без крова, без хлеба и даже без надежды на что-либо определенное в будущем. Она очень хорошо понимает, что обещание «иметь ее в виду» — не более как фраза или, так сказать, золотая пилюля, которою управа думала сдобрить ей горечь ее внезапного увольнения. Она знает, что новое место в земстве может быть добыто ею лишь ценою унижения пред Агрономским, и хорошо еще, если только этим... Нет, Бог с ними совсем! Она и сама ни за что не вернется к ним больше на службу. Довольно!

Но что же ей делать теперь? Что будет с нею дальше? Чем жить и как жить?..

Вот она когда пришла, роковая-то минута!

И Тамара точно бы застыла в своем тяжелом раздумьи, как пришибленная, не видя

пред собой никакого исхода.

В этом положении застала ее вернувшаяся из больницы Любушка.

— Что с вами, душечка?! — в недоумении окинула она подругу пытливым взглядом. — На вас лица нет... Расстроены... Что случилось?

Тамара, вместо слов, подала ей полученную бумагу. Та пробежала ее глазами и, видимо, пораженная, опустила руки.

— Какая мерзость, однако!.. Не могли подождать каких-нибудь двух месяцев! — тихо проговорила возмущенная Любушка. — Что же вы думаете делать? — быстро спросила она Тамару, после минутного раздумья.

Та только плечами пожала на это. Что могла она ответить!

— Надо, однако же, что-нибудь предпринять, — энергично продолжала Любушка. — Пишите предводителю, пишите директору училищ, жалуйтесь, просите, требуйте, наконец, — ведь нельзя же прогнать человека только за то, что он каких-нибудь пять-шесть недель был болен!

— Ах, болезнь — это только один предлог

для них! — горько усмехнулась Тамара. — Тут не в болезни дело.

— Как не в болезни? Так в чем же?

— Совсем другое!.. Надо было податливо отвечать на ухаживания господина Агрономского, понимаете? — пояснила она с гадливо-презрительною миной.

— Ах, вот оно что! — домекнулась та. — Какие они у нас, однако, честненькие, чисто-плотненькие!..

— И вообще, — продолжала Тамара, — я им не ко двору, — значит, нужно было, так или иначе, меня выжить.

— По-моему, все-таки пишите! Пишите предводителю, директору, или кому там, — настойчиво советовала Любушка. — Пусть знают, по крайней мере, истину... За что же так-то?! Помилуйте!.. Ведь если порядочные люди, они примут в вас участие, защитят или, может быть, дадут место в другом участке, в другом уезде, — наконец, мало ли где!.. Неужели некому вступиться?!

— Кому же? Дело земское! — усмехнулась Тамара. — Станут они из-за какой-то там учительницы ссориться с Агрономским!.. Да и Бог

с ними, — махнула она рукой. — Будет с меня!.. Не хочу я больше!

— Но, милая, как же быть тогда?

— Не знаю.

— Пишите, в таком случае, родным, — ведь у вас есть родные?

— У меня никого нет.

— Как?! Так-таки решительно никого?

— Никого. Впрочем, — как бы нехотя призналась она, — есть один... дед мой.

— Ах да! — вспомнила Любушка. — На войне еще, помнится. говорили — из докторов кто-то, — что у вас дед очень богатый, и сами вы, будто бы, миллионная наследница... Мы еще не верили, — с какой стати, думаем, миллионерша пойдет вдруг в сестры!

— Все это так, — подтвердила Тамара, — у деда, действительно. большое состояние.

— Ну, вот! — радостно подхватила та, словно бы находку какую сделала. — Чего же лучше!.. Пишите, значит, к дедушке.

— Это невозможно, — решительно заявила Тамара.

— Почему невозможно — удивилась Любушка. — К родному деду-то?

Девушка объяснила ей, что с тех пор, как она приняла христианство, у нее с еврейством все порвано и кончено навсегда.

— Ну да, с еврейством — это понятно; но не с дедом же!

— Если с еврейством, то и с дедом, и со всеми, со всем их миром, — таков уж у них закон, нельзя иначе.

— Полноте, дорогая моя! По человечеству не так, не должно быть так, не может!.. Ведь он же родной вам? Кровь-то в нем говорит ведь?!. Скажите, любил он вас?

— Очень.

— Ну, вот видите!.. Значит, тем более вы неправы. Уж если любил, то и любит, продолжает любить, поверьте, — потому нельзя иначе, по естеству нельзя. Может быть, он только виду чужим не показывает, а сердце в нем по вас, — почем вы знаете? — может оно и теперь болит...

— Вы думаете? — раздумчиво спросила Тамара, которой в глубине души было отрадно слушать эти слова и доводы Любушки; но она все еще как бы не смела, или не решалась поверить им окончательно, — точно бы ей нуж-

но и приятно было, чтобы ее еще и еще убеждали в том, в чем она сама убеждена в душе, да только самой себе признаться в этом не смеет, и хочет, чтобы другой, дружеский голос укрепил в ней это убеждение. — Нет, в самом деле, вы думаете?

— А вы сомневаетесь? — спросила ее, в свой черед, Любушка.

— Как вам сказать... По крайней мере, я знаю только одно, что он ничего для меня сделать не может.

— Это почему же?.. Разве вы к нему уже обращались?

— Ни разу.

— Так откуда ж у вас такая уверенность? Почему вы это «знаете»?.. А я думаю, напротив, что вы ровно ничего тут не знаете, а что это в вас одно только предубеждение.

— Нет, знаю, — оспорила ее Тамара. — Таков закон еврейский.

— Закон? Оставьте, пожалуйста!.. И что вы мне про закон, когда я вам про кровь говорю! Родная кровь, — вот что! Поймите вы это!.. Какие там у них законы ни будь, а кровь все-таки скажется, ей не запретишь!

Тамара призадумалась над ее словами.

«И в самом деле, почему бы не обратиться к деду? Что мешает? — гордость? самолюбие? сознание, что пришлось-таки в конце концов смириться и просить о помощи?.. Но что ж такое?! — не у чужого просить!.. И наконец, если бы он не захотел помочь ей из своих средств, пусть поможет из ее собственных, из того наследства, что оставлено ей покойным отцом, — это-то ведь уж ее личное достояние. Хотя оно, по всей вероятности, и под запретом, но ведь хранится-то у него же на руках, — одних процентов за это время сколько уже накопилось!.. Пусть пришлет что-нибудь хоть из процентов... Ведь ей же не на прихоти, а на хлеб насущный. Она не требует многого. Каких-нибудь триста, четыреста рублей, чтобы перебиться только, пока не придет себе нового места или каких-либо занятий. Что ему стоит такая ничтожная сумма!.. И неужели он не поймет ее горькой, крайней нужды? Неужели в нем действительно окаменело к ней сердце, только потому, что кагал велел окаменеть ему?.. И оно не тронется ее положением?.. Как! каменное сердце?! У этого

доброто, великодушного человека, который всю жизнь свою помогал и словом, и делом другим, не только родным, но и совсем посторонним людям?! — Нет, этого быть не может!.. Сколь ни виновата она перед ним, но все же не чужая она ему... Любушка права: тут дело родного сердца, дело кровное.

Ведь любит же она сама этого дедушку, и как еще любит! — тем горячее и мучительней, чем больше сознает, какой удар был нанесен ему ею. Он такой разумный, такой отзывчивый, — он должен понять это, и он поймет, поймет наверно...

...Да, Любушка права, тысячу раз права: надо писать к деду». — другого выхода нет.

Потому что если не это, то что ж ей остается больше? Улица, или могила: отдаться Агрономскому, или петлю на шею.

...Да, надо писать. Надо изложить ему все эти мысли, рассказать все, все как есть, все, что было с нею, — совсем откровенно, просто, искренно, — пускай все знает, пусть примет ее задушевную исповедь, весь крик, всю боль ее сердца, и если это его не тронет, — ну, тогда будь что будет!.. Но пока этого не сделано,

надежда для нее еще не потеряна.

«Дедушка, дорогой мой, милый! — мысленно обращалась она к нему. — Прости меня и приходи, приходи ко мне, к своей «Фейгеле-Тамаре», — помнишь, как ты всегда, бывало, называл меня, лаская!»

И горячо помолясь наедине Богу, чтоб осветил и просветил ее благою мыслью, и благословил ее начинание, если оно ему угодно, Тамара тотчас же принялась за письмо, и написала его сразу, горячо и искренно, от сердца, полного любви и горя, не скрыв ничего от деда относительно своего прошлого и настоящего положения, и умоляла помочь ей, потому что она погибает, — помочь материально, хоть чем-нибудь, чтоб она могла кое-как пережить столь трудное для нее время. Не скрыла она и того, что это ее последняя надежда, после которой, если он ее отвергнет, ей ничего не остается, кроме позора или смерти. Письмо было написано по-еврейски, на наиболее понятном старику современном жаргоне, и это сделала для того, чтобы при чтении его рабби Соломону не было надобности прибегать к посторонней помощи. «Пусть сам про-

читает, — кроме его, никто не должен знать, что там написано».

На следующее утро Любушка, по просьбе Тамары, для пущей верности, сама снесла и сдала письмо это, заказным, на почту.

* * *

В городе Украинске, как и во всех вообще городах и местечках Западной России, в так называемой «черте европейской оседлости», испокон века существует своя особая, еврейская почта, окрещенная еще во времена польского владычества названием «почты пантофлевой», каковое остается за нею к по настоящее время. Благодаря этой своей почте, еврейство узнаёт все вообще коммерческие, политические и иные новости гораздо раньше местных христианских населений и даже раньше правительственных органов. Способы сообщения почты пантофлевой весьма разнообразны: от телеграфа и телефона до пешедральных перебежек, особых нарочных из одной придорожной корчмы в другую, от одного еврейского жилья или местечка к следующему и т. д. На каждом таком этапе оповещенная новость разносится уже своими мест-

ными средствами и путями далее, по всей округе, облетая таким образом весь еврейский мир в самое короткое время, с замечательною быстротою и точностью. А так как в прежние времена евреи в Польше и Западном крае почти не носили другой обуви, кроме туфель (по-польски *pantofli*), то отсюда и название их почты — «пантофлевою». Изобретательности еврейской и уменью приспособиться в этом отношении ко всевозможным средствам сообщения нет меры и предела. (Едет, например, становой, а то и сам исправник, в то или другое местечко по секретному делу, касающемуся тамошних евреев, и думает ошеломить их внезапностью своего налета, а там уже знают о цели его приезда. Какими судьбами? — А очень просто: он сам же привез об этом публикацию, потому что из пункта его отправления, почтосодержатель-еврей, либо же кто-нибудь из всезнающих и всепроникающих жидочков написал мелом надлежащее извещение по-еврейски на спинке перекладной телеги, или даже его собственного экипажа.) Подобным же образом, все биржевые цены на хлебных и иных рынках, все ко-

лебания денежных курсов и акций, все важные для еврейства политические и внутренние известия, равно как и все, имеющие общее для евреев значение, постановления, решения и «херимы» местных кагалов вкратце пишутся в пунктах отправления каким-нибудь ловким еврейчиком на наружных стенках товарных вагонов готового к отходу поезда, — и пишутся, конечно, по-еврейски, никому непонятным, кроме самих евреев, алфавитом и языком, и это тем легче, что в числе железнодорожных служащих и агентов на южных и западных дорогах у нас имеется множество евреев. Подобные надписи ни в ком даже и подозрений никаких не возбуждают, потому что евреи обыкновенно объясняют их, как номенклатуру отправляемого товара, число его мест, его вес и адрес получателя, якобы неумеющего читать по-русски, чтоб ему легче-де было отыскать вагоны со своим грузом. Поезд идет себе по пути, а еврейские факторы, приказчики и «почтальоны пантофлёвы», всегда кишачие на каждой станции, читают во время его остановок эти еврейские иероглифы и, если нужно, то преспокойно, с са-

мым невинным видом, списывают их в свои записные книжки, не возбуждая опять-таки ни в ком никаких подозрений, — и вот, какая-либо важная новость живо распространяется по всему краю, будучи разносима для евреев во все стороны пантофлевыми вестовщиками, нарочными и почтальонами, влечение чего существующие цены на те или другие продукты вдруг начинают как бы ни с того ни с сего падать или подыматься, смотря по тому, что выгоднее для евреев, а христианское население, не понимающее причины такого капризного явления, только кряхтит да в затылке у себя почесывает, просчитываясь на своих насущных расчетах. Зато еврейские гешефты преуспевают.

Точно так же, в каждом городе и местечке Западного и Южного края непременно имеется свой, уполномоченный местным кагалом, фактор или почтальон-мишурис, обязанность которого состоит в том, чтобы в дни прихода почты являться в почтовую контору к разбору корреспонденции и там получать все, кроме денежных, письма, адресованные как местным, так и проживающим в ближайшей

округе евреям. Благодаря этому, евреи, между прочим, сейчас же знают до точности, кто именно из их христианских клиентов и должников получил по почте деньги и какую сумму. Разноска еврейских писем по назначению лежит уже на обязанности этих пантофлевых почтальонов-мишурисов, которые, прежде передачи их получателям, доставляют все письма в свой кагал, где, в случае надобности, то или другое письмо подвергается специально-еврейской перлюстрации. Не выдаются на руки мишурисам только денежные да заказные письма, но и то не везде: по крайней мере, в прежнее, весьма еще впрочем недавнее, время сплошь и рядом бывало, что заказные выдавались катальному почтальону-мишурису под его расписку, по формальному, раз навсегда, уполномочию еврейского общества. Для казенных почтальонов это было большим облегчением, а для мишурисов — прямая выгода, так как за каждое доставленное письмо они получают с адресата известный «бакшос» — несколько грошей, в виде благодарности за свой труд, что и дает им средства к существованию. Для кагала же такой почто-

вый порядок крайне важен, ибо дает ему в руки возможность втайне следить за самою интимною корреспонденцией всех членов своей общины и узнавать их сокровеннейшие тайны, в каждом случае, когда это почему-либо понадобится.

Таким образом, в куче разных еврейских писем, попало в катальную канцелярию города Украинска и письмо Тамары к Соломону Бендаvidу. Один из шамешей, разбиравших почту, обратил на него внимание и посмотрел на оттиск почтового штампа, чтобы узнать, откуда оно прислано. На оттиске этом значилась печать Желтогорской почтовой конторы и название губернии. — От кого бы это могло быть? — заинтересовался шамеш. — Из внутренней России... почерк как будто женский... заказное... Странно!.. Кто бы это мог корреспондировать с достопочтеннейшим рабби Соломоном из Желтогорска?.. Любопытное дело, тем более, что, сколько помнится, Бендаvid раньше не получал оттуда никаких писем.

И шамеш понес показать письмо очередному тубу, находившемуся в присутствии. —

Как, мол вы полагаете, не вскрыть ли?

— Зачем? — удивился туб.

Тот сообщил ему свои любопытные соображения, но туб не согласился с его мнением. — Что ж тут особенного, что письмо из центральной России? Мало-ль откуда может коммерческий человек получать письма, а тем более человек, известный своею благотворительностью!.. Женский почерк? — Ну что ж, может быть и женский!.. Может быть, какая-нибудь просьба о пособии от бедной еврейской вдовы, или сироты-девицы, — разве мало наших рассеяно теперь по всей России?..

— Да, но все-таки подозрительно.

— Оставьте пожалуйста! В чем вы можете подозревать такого человека, как досточтимейший реб Соломон?.. Смешно и подумать!

— Конечно, так, — почтительно согласился шамеш. — А все же, с вашего позволения, рабби, смею думать, что лучше бы вскрыть... Ну, хоть из любопытства... Как вы полагаете?

— Полагаю, что это будет очень неделикатно с нашей стороны по отношению к такому уважаемому и высокопоставленному члену общины.

— Но если я постараюсь сделать это так осторожно, так искусно, что и следов никаких не останется?

— Убирайтесь, любезнейший, с вашим бабьим любопытством! — оборвал наконец его туб и кликнул к себе почтальона-мишуриса, которому приказал отнести письмо сейчас же, вне очереди, к Бендаvidу и доставить к себе расписку его в получении.

Таким образом, письмо Тамары было получено ее дедом без кагальной перлюстрации. Он вскрыл его, не обратив внимания на почерк и потому не зная, кто ему пишет, и не подозревая в письме ничего особенного. Но с первых же строк, лицо его вдруг побледнело, брови тревожно сдвинулись и похолодевшие руки задрожали. В первую минуту он даже испугался, узнав, что это от внучки. «Боже мой! зачем это?.. Что ей надо!.. Зачем она к нему обращается, чего хочет от него, — она, отчужденная, отлученная раз навсегда от семьи, от еврейства?.. Что может быть у них общего? Ведь она умерла для него, для дома, для всех... и вдруг теперь это письмо, этот ее голос, точно бы голос из-за могилы... Должен ли

он его слушать? Имеет ли право на это?.. Не совершает ли он этим хет годул — великий грех пред Израилем... Не лучше ли бросить это письмо не читая, разорвать его, уничтожить, сжечь, чтоб и следов не оставалось...»

И перепугавшийся старик, наедине в своем кабинете, тревожно оглядываясь по сторонам, как бы в опасении, чтоб его не застали или не подглядели за преступным чтением «такого» письма, поспешил запрятать его на письменном столе, под разными своими бумагами.

Он сознавал, что раньше чем прийти к какому-либо решению, ему необходимо успокоиться — прежде всего успокоиться, а потом, далее — там уже будет видно, что ему делать и как поступить. Он налил себе воды из графина и сделал несколько глотков, ходя по комнате. Чувство, овладевшее им, было какое-то смешанное: тут был и страх пред неизвестным еще содержанием письма, и смутный страх за себя перед кагалом, точно бы он совершил пред этим учреждением какое-то преступление уже тем, что получил такое письмо от отверженной отступницы и позво-

лил себе вскрыть его и начать чтение... Что подумают, что скажут, если неравно узнают об этом?!.. Но к этому страху примешивалась и невольная радость, что внучка его — единственная близкая, и кровная его отрасль — еще жива и вспомнила наконец о нем, о своем деде, и начинает свое письмо такими теплыми, ласковыми словами. Бедное дитя!.. Он считал ее безвозвратно погибшей, бессердечной, искоренившей его из своего легкомысленного сердца, а она между тем взывает к нему «милый, добрый, дорогой мой дедушка!» Она, значит, по-прежнему любит его... А он?.. Разве он не любит ее... Правда, ему запретили питать к ней это чувство, но разве сердце его, в самой заповедной глубине своих тайников, послушалось этих запрещений... Разве возможно сердцу человеческому не любить, не сострадать, не болеть о своей крови?.. А ведь она родная, наследственная кровь его, — кровь Бендавидов... Но о чем она пишет?.. Верно уж не даром и не по пустякам, если после стольких лет молчания решилась наконец обратиться к нему...

Примечания

Щадя чувство скромности читателя, автор не может себе позволить привести данную загадку, которую желающие проверить автора могут найти на стр. 46 «Первой учебной книжки» г. Паульсона. Неприличный смысл этой загадки известен всему русскому простонародью.

[^^^]

Мотив заимствован автором из книги «Что читать народу», т. II, стр. 71.

[^^^]

3

Основным мотивом для всей этой сцены автору послужило изложенное относительно Пушкинского «Пророка» в книге «Что читать народу», на стр. 666, том 1.

[^^^]

Мотив заимствован автором из книги «Что читать народу». Т. 1, стр. 792.

[^^^]

Подразделение географии на родиноведение, отечествоведение, народоведение и т. д., находится в издании Ф.Ф. Пуцыковича для народных и других элементарных училищ, одобренном ученым комитетом минист. народн. просвет, Спб., 1890 г., изд. 12-е.

[^^^]

Весь этот рассказ лишь в самой незначительной доле составляет плод фантазии автора, и то лишь насколько это требовалось самой фабулой романа. Изложенные здесь факты заимствованы автором из целого ряда печатных, за несколько последовательных лет, отчетов и протоколов очередных и экстренных земских собраний одного либеральнейшего уезда в одной из центральных великорусских губерний, и могут быть удостоверены точными ссылками на года и страницы этих земских изданий, если бы нашлись люди, сомневающиеся в возможности подобных фактов.

[^^^]